АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1982

СОДЕРЖАНИЕ

К 1500-ЛЕТИЮ ГОРОДА КИЕВА

Филин Ф. П. (Москва). О лексике древнерусского языка 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И. (Москва). Slavo-Avestica 18
Андреев Н. Д., Суник О. П. (Ленинград). О проблеме родства алтайских языков и методах ее решения 26
Панфилов В. З. (Москва). Отрицание и его роль в конституировании структуры простого предложения и суждения 36
Биренбаум Я. Г. (Магнитогорск). К теории сложного предложения . . . 50
Юдакин А. П. (Москва). Лексико-грамматические закономерности эволюции активного причастия 59
Кожин А. Н. (Москва). О предмете стилистики 68
Асфандияров И. У. (Ташкент). Русские лексические заимствования в узбекском языке 75

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Федоров А. И. (Новосибирск). Русский язык в Сибири 81
Минаева Л. В. (Москва), Феденев В. Б. (Петропавловск). «Паронимия» в языке и речи 90
Сибагатов Р. Г. (Уфа). Атрибутивные и предикативные конструкции в плане содержания 96
Солодуб Ю. П. (Москва). К вопросу о совпадении фразеологических оборотов в различных языках 106
Татубаев С. С. (Алма-Ата). Певческая речь как особый способ функционирования языка 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Кручинина И. Н., Лопатин В. В. (Москва). Заметки о пражской «Русской грамматике» 122

Рецензии

Ярцева В. Н. (Москва). Русская грамматика 135
Горшков А. И. (Москва). *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв. (Нормативный аспект) 139
Мокиенко В. М. (Ленинград). *Федоров А. И.* Сибирская диалектная фразеология 142
Морозова С. Е. (Москва). *Булахов М. Г.* Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность 145
Варбот Ж. Ж. (Москва). *Eckert R.* Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen 148
Стрекалова З. Н. (Москва). *Petrus Stratorius.* Polonicae grammatices institutio 151
Щур Г. С. (Москва). *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1982 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

К 1500-ЛЕТИЮ ГОРОДА КИЕВА

Ф. П. ФИЛИН

О ЛЕКСИКЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

По нашим предварительным подсчетам, которые постоянно должны уточняться, в праславянском языке ко времени его распада было около 22 000 слов, при этом имеется в виду совокупность словарного состава всех реально существовавших праславянских диалектов. В каждом диалекте или группах диалектов их было значительно меньше. В древнем восточнославянском (прарусском и раннем древнерусском) языке после распада праславянского единства оказалось что-то около 17 000 слов, включая большое количество локализмов, распространенных только в отдельных восточнославянских областях. Каждый говорящий на восточнославянском языке обладал безусловно меньшим запасом лексики (вместе с так называемым пассивным ее запасом, всегда имевшимся в языках и диалектах). Не менее богатыми в словарном отношении были и языки южных и западных славян. Полных расхождений в лексике восточных славян по отношению к лексике языков их родственников было около 30% всего реконструируемого праславянского словарного фонда, к чему следует прибавить свыше 20% указанного фонда, составляющего частные (диалектные) схождения и, следовательно, расхождения между разными диалектными зонами, не совпадавшими с границами позднее оформившихся трех славянских этносов. К этому надо прибавить расхождения в значениях слов, не поддающихся учету [1].

Когда возник на древнеболгарской основе письменный старославянский язык, в X в. перенесенный в Древнюю Русь, у восточных славян существовал свой особый бесписьменный язык со сложным диалектным членением. Отношения между старославянским и древнерусским языками характеризовались как близкородственные, но различия между ними были не междиалектные, как нередко считают лингвисты, обычно не занимающиеся проблемами исторической лексикологии, а межъязыковые. В Древней Руси столкнулись два самостоятельных близкородственных языка. Результатом этого события огромного исторического значения было образование нового старославянского языка, обычно называемого древнецерковнославянским (старославянским) языком русского извода (или редакции), и собственно древнерусского письменного языка. Между обоими языками возникло сложное взаимодействие, постоянно образовывались переходные и смешанные типы, что и составило историю письменной речевой культуры восточных славян до тех пор, пока церковнославянский язык не был оттеснен новыми, народными в своей основе, литературными языками в узкую сферу религиозных обрядов и исповеданий (подробно об этом см. [2]).

О лексике письменной речевой культуры Древней Руси в XIX — XX в. написано множество разного рода и качества работ, имеются кое-какие наблюдения о словах, по разным причинам не попавших в письменность того времени и даже позже оставшихся за пределами литературных языков, но свести в единую цельную картину эти огромные материалы (имеются в виду не словари, а лексикологические исследования) пока никто не пробовал. И достаточно ли накопленных наблюдений для подготовки исторической лексикологии русского языка? Конечно, нет. Словарный состав — огромное число «атомов» (каждое слово имеет свое

особое место в языке и особую историю), семантические связи между которыми вряд ли когда-нибудь будут объяснены до конца. Словарный состав — необозримая открытая система, наиболее изменяющаяся и в то же время сохраняющая в себе напластования разных эпох, начиная с древнейших, т. е. очень устойчивая (о последнем нередко забывают). Чтобы подготовить историческую лексикологию русского языка наподобие исторической фонетики, потребуются гигантские усилия поколений ученых. И все же уже теперь можно и нужно начинать обобщающую работу (не очерки истории отдельных слов и их тематических групп, как это представлено в известной книге П. Я. Черных [3], и не весьма условные подсчеты лексем разных эпох и беглый обзор новообразований и заимствований, что мы находим в полезном труде В. Р. Кипарского [4]), в которой была бы разработана историко-лексикологическая проблематика и описаны хотя бы некоторые важнейшие тенденции в длительном и непрерывном развитии словарного состава русского языка.

С чего начинать? С реконструкции словарного состава языка восточных славян донисьменной эпохи, когда устная речь в ее диалектных разновидностях была единственным средством общения. Если возможна реконструкция более древнего праславянского лексического фонда, то должно быть возможным описание прарусского (древнерусского) словарного состава. Источники — «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» (ЭССЯ), «Słownik prasłowiański» (SP), все другие этимологические словари отдельных славянских языков (особенно восточнославянских), исторические и диалектные словари (в первую очередь сводные), толковые словари современных литературных языков. Сравнительный анализ указанных источников (пусть даже незавершенных) позволит очертить круг прарусской лексики, далеко не тождественной с праславянским лексическим фондом: в ней будут отсутствовать многие слова, реконструированные в общеславянских этимологических словарях, и в то же время будут определены слова общеславянского распространения и происхождения, выявятся новообразования и заимствования (общевосточнославянские и диалектные), древние диалектные связи с другими славянскими языками, по своему распространению не совпадающие с исторически известными этноязыковыми границами, реликтовые вокализмы и диалектизмы прарусской и раннедревнерусской эпох. Конечно, предварительно следовало бы составить «Этимологический словарь восточнославянских языков. Прарусский и древнерусский лексический фонд», но когда он будет подготовлен, неизвестно. Однако и теперь можно дать характеристику некоторых существенных его особенностей. По данным словаря О. Н. Трубачева, в нем имелось около 21% слов праславянского происхождения и общеславянского распространения. Такие слова, как *бѣлъ(и)*, *бѣсѣда*, *бѣжати*, *бити*, *вода*, *метати* (*мести*), *рѣка* и т. п. (их было свыше 4 000) с многочисленными производными того же происхождения и распространения, которые составляли словарную основу, объединявшую все славянские языки и диалекты раннего периода. Как правило, эти слова имели жизненно важные значения, относящиеся к природе и раннеславянскому обществу. Сохраняют они свою актуальность и в наше время. Эта лексика — богатейший материал для исследования жизненного уклада славянского этноязыкового единства (как, впрочем, и другие группы слов).

К общеславянским словам, не имевшим изоглосс, примыкают и такие лексические единицы, которые распространены во всех трех славянских группировках, но не во всех языках и диалектах. Это слова с «белыми пятнами» на славянской языковой территории, т. е. имеющие своеобразные изоглоссы, которые можно назвать «прерывистыми». Ср., например, *чекати* «ждать, ожидать», известное не всем диалектам (в частности, в русском языке слово известно только на его юго-западной диалектной окраине; по-видимому, в древнерусской северо-восточной зоне оно отсутствовало как в этой форме, так и в более ранней без тематического *-а-*: **čekti*). Между тем, слово это древнее — О. Н. Трубачев воз-

водит его к и.-е. *kek- «гнуться, сгибаться, подстерегать» [5]. Правда, в SP предполагается, что это слово «трудно оторвать» от *чаяти* «ждать, ожидать, надеяться» [6]. Если это так, что *чаяти* известно не всем западнославянским языкам и диалектам. По своей семантике слова действительно близки, однако семантическое сближение их (этимологически они разные) произошло в праславянскую эпоху. Примеров слов с древними «прерывистыми» изоглоссами можно было бы привести много (по моим подсчетам их в праславянском лексическом фонде было что-то около 28%). Вероятно, какая-то часть этих слов в праславянском была общеславянской (в более позднее время территория распространения их по разным причинам сузилась, на ней появились «белые пятна»), однако, не исключено, что какая-то часть их представляет собой архаические лингвогеографические реликты. Но и в том и другом случае отсутствие таких слов на части восточнославянской территории имело место в прарусское или раннедревнерусское время. Слово *чекати* с его производными было непонятным в диалектах, из которых впоследствии сложился русский язык (литературный и местные говоры).

О других типах лексических изоглосс мною уже писалось [1]. Подчеркну только, что исследование их в полном объеме, вероятно, никогда не будет закончено. Многое останется дискуссионным из-за трудностей лингвогеографических реконструкций. Здесь же мне хотелось бы обратить внимание на диалектные слова, существовавшие в дописьменную эпоху, но так и не нашедшие своего отражения в письменных источниках вплоть до современных литературных языков. Причин тому много. Не всегда слово, имеющее даже жизненное значение, появляется в ранней письменности. Типичный пример тому — название березы (Betula alba). Дерево это, несомненно, играло важную роль в жизни праславян и позже у восточных славян (шло на топливо, кора его использовалась для разных изделий, сок был напитком и т. п.). Слово *береза* — одно из немногих ботанических названий, имевших общеиндоевропейское распространение в праиндоевропейском языке. Возникло оно тысячи лет тому назад, но в славянской письменности сначала появляются его производные *березозолъ*, *брѣзьнъ* «апрель», собственные названия *Березьно* «поток близ Новгорода», *Березыи* — город в Черниговском княжестве (XII в.) и др., само же слово попадает в письменность только в XIV в. Слово *рокотати* в древнерусской письменности стоит в полном одиночестве — оно встречается единственный раз в «Слове о полку Игореве» (Сл. о п. Иг.) (живые струны «сами княземъ славу *рокотаху*») [7]. Обычные в русском литературном языке *рокот*, *рокотать*, в такой форме и значениях не встречающиеся вне вост.-слав. языков (укр. *рокіт*, *рокотати*, белорусск. *ракатаць*, *рокат*), этимологически связаны с праслав. **rekti*, первоначально звукоподражательным словом. Происхождение **rok-otъ*, несомненно, древнее, но если бы Сл. о п. Иг. до нас не дошло, в письменности оно появилось бы только в XVIII в.

Огромное количество древних лексических диалектизмов и вовсе не попало в литературные языки. Ср. в реконструкциях О. Н. Трубачева: **aglъjь*/**jaglъjь* (русск. диал. *яглая земля* «тучная черная почва, чернозем»), **ajьčьna* (укр. *яэшня*, белорусск. *ячня*, а в русском только диал. *яешня*, *яишня* «яичница»; без суффикса *-ica* зафиксировано только у восточных славян), **astrъ* (укр. диал. *ястер* «ястреб»), **badylьe* (укр. *бадилля* «стебли, былинка, ботва», белорусск. *бадыльё* «сухие стебли от соломы», русск. диал. *бадыль* «сухой стебель», *будыльё*), **baxarь* (русск. диал. *бахарь*, *бахар*, *бахорь*, *бахирь* и другие формы и производные слова «говорун, краснобай»), **bajunъ* (русск. диал. *баюн* и др. «говорун, рассказчик»), **barъ* (русск. диал. *бар* «болотистое место, глубокое место в море, где останавливается пароход», укр. диал. *бар* «мокрое место между холмами») и т. д. и т. п. К тому же надо учесть, что далеко не все еще собрано в словарях и словарных картотеках [см. особенно сводный «Словарь русских народных говоров» (СРНГ)]; многие слова подверглись деэтимологизации, причем особое внимание нужно обратить на приставочные слова, в которых скрываются исходные формы, без приставок не сохра-

нившиеся. Много материала такого рода содержится и в SP. Из сотен тысяч (так!) лексико-семантических диалектизмов, имеющихся в современных говорах и не попавших в письменность, какая-то часть подобных слов (хотя приблизительный удельный вес ее в общем составе лексики надо было бы еще определить) возникла в древнее время (в прарусскую и древнерусскую эпоху). Конечно, изоглоссы узколокальных диалектизмов раннего происхождения изменялись и вряд ли удастся реконструировать их исходные ареалы (во всяком случае, для большинства локализмов), но для нас принципиально важно другое — установить раннее происхождение узколокальных диалектизмов. По своим значениям такие локализмы различны (они отнюдь не только обозначения чисто местных явлений природы и жизненного уклада; что местного заключено, скажем, в слове **basъkъjь* — русск. диал. *баской* «красивый, хороший», укр. *баский* «резвый, ретивый, рьяный» — особенно о коне?). О. Н. Трубачев считает, что **basъkъjь* имеет древнюю индоевропейскую этимологию [8]. Предстоит еще ответить на вопрос, почему многие лексические диалектизмы не попали в сферу письменности. Конечно, сыграла свою роль случайность, но вероятно также и то, что с самого начала развития письменной речи стали складываться свои нормы, пусть некодифицированные и неустойчивые. Что-то принималось, а что-то отбрасывалось. Если не прямое, то косвенное воздействие оказывал древнецерковнославянский язык русского извода.

Что же стало происходить в лексике, когда в Древней Руси столкнулись две родственные языковые стихии? Древнеболгарский дописьменный язык, как и древнерусский, тоже унаследовал от праславянского значительную часть общеславянских слов, но в нем образовались и свои специфические особенности (праславянские юго-восточные локализмы, новообразования и местные заимствования), он имел общеболгарский словарный состав, и, несомненно, большое количество диалектизмов. Было бы очень важно иметь словарь, в котором была бы представлена реконструкция древнеболгарского лексического фонда, а также словарь древнеболгарского языка времен письменности. Но уже и теперь можно сказать, что лексика старославянского языка в своей общеславянской части совпадала с лексикой древнерусского языка, а в своих специфических особенностях оба языка расходились. На древнеболгарском языке письменность возникла раньше, чем на древнерусском. В старославянском языке произошла серьезная перестройка, поставившая его над народным древнеболгарским языком: многие слои лексики получают новые семантические осмысления, связанные с христианской религией и средиземноморской цивилизацией, заметным потоком в него вливаются грецизмы. С конца X в. (после повеления Владимира I отдавать детей «нарочитой чади» на «книжное учение») русские книжные люди воспринимают болгаро-греческое культурное наследство и начинают обогащать и видоизменять его применительно к историческим условиям Древней Руси, не отказываясь от своих исконных восточнославянских традиций, которые не противоречили духу времени. Так начинается история древнецерковнославянского языка русского извода, связанного прежде всего с обслуживанием нужд церкви. Получает мощный импульс собственно русская культура, возникает феодальное государство со своими общегосударственными и местными потребностями, что создало почву для формирования древнерусского (в основе своей народного) литературного языка. Так возникло оригинальное двуязычие (прежде всего в сфере письменности с использованием общего кирилловского алфавита), которое и определило историю речевой культуры на Руси на много веков вперед.

Какое проявление нашел этот весьма сложный процесс в лексике? У обоих языков оказался исконный для них общеславянский словарный фонд, частотность которого несомненно была высокой. К какому же языку относить эти общие слова? Все зависит от контекста в широком и узком смысле этого слова, от особенностей значений и употреблений. В памятниках религиозно-нравоучительной литературы такие слова входили в состав древнецерковнославянского языка русского извода, а в пись-

менности светской (светскость эта во время господства религиозной идеологии часто была относительной) в древнерусский литературный язык. Слово *ветъхый* в обоих языках означало «старый, прежний» и «ветхий, изношенный». Контексты употребления далеко не всегда одинаковы. Ср.: «никто же пивъ *ветхое*, абие хощеть новаго» [9] (здесь значение «питие» употребляется не в прямом, а в религиозно-иносказательном смысле), *ветъхъ* — одно из названий бога-отца, древнего и безначального (Григорий Назиянзин, XI в.), *ветъхый* завѣтъ, законъ, *ветъхое* писание — дохристианская часть библии и т.п., «дѣлаша мост вьсь цересъ волхово, по сторонѣ *ветхого*, новъ вьсь» (Новг. I лет., 1147 г.), «оже пошибаеть мужескоу женоу любо дчьрь, то князю м̄ гривенъ *ветхъми* кунами» (Новг. гр. 1199 г.) и многие другие примеры такого же рода. Или ср. семантически емкий глагол *вести*, *водити*: «иди, душю свою веди» (Кирилл Туровский, ~XII в.), «оустьны безоумля *ведоуть* въ злая» (Изборник 1073 г.), «доухомъ божиемь *водимы* суть» (там же) и «*водити* ротѣ» (приводить к клятве, заставлять поклясться), «томь же лѣтѣ *ведоша* Ляховицю Мюрому за Давыдовича Всеволода» (Ипатьевская лет., 1124 г.— отдали замуж), «*ведут* мя галичане на княжение» (там же, 1188 г.— зовут, приглашают быть князем), «*водити* жену» (привести жену, жениться). Можно сказать, вся общая лексика пронизана своеобразиями значений, употреблений, выступает в разных устойчивых словосочетаниях. Слова одни и те же, а функционирование их в контексте неодинаково. Сравнительный текстуальный анализ общих слов в древнецерковнославянском и древнерусском литературном языках может показать значительные своеобразия этих языков. Для сравнения особенно важно привлечь собственно старославянские тексты. Безусловно, обнаружится много тождественных словоупотреблений, но будут найдены и индикаторы, которые позволят отличать язык древнерусских текстов от языка старославянских (древнецерковнославянских). В этом отношении вся работа еще впереди. На первых порах нужно сравнить хотя бы несколько старославянских произведений с разными текстами, написанными (не переписанными) в Древней Руси. Например, можно было бы сравнить часть Синайской псалтыри со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона (Сл. Илар.), отлично владевшего старославянским языком (что русского внес Иларион, чего он не принял), Супрасльскую рукопись с «Повестью временных лет» (Пов. вр. лет), Енинский апостол со «Словом о полку Игореве», а часть Зографского евангелия с «Русской Правдой» (Русск. Пр.~XII в.). Безусловно, во всех этих памятниках найдутся общие слова, но что они в них значат и как употребляются?

Обычно языковеды, сравнивая старославянскую и древнерусскую письменности, опирались на их графические, фонетические особенности, что конечно, необходимо. Много внимания уделялось исследованию фонетических явлений, которые на восточнославянской почве подвергались лексикализации и вступали между собой в сложные семантико-стилистические отношения (это прежде всего полногласие и неполногласие), несколько меньше — суффиксам со значениями отвлеченности и некоторым префиксальным отличиям, словосложению (оценка автором этих явлений дана в книге [2]) и еще меньше — калькированию. Все это также очень важно, но явно недостаточно. За исключением частных исследований, в стороне оставалась лексика в полном ее объеме, которая во всех языках составляет ядро информации (конечно, грамматически организованное). Уже из того, что еще в праславянском языке региональных слов (широкого и узкого распространения) было больше, чем общеславянских, следует, что должны быть значительные расхождения между старославянским и древнерусским языками в самом их словарном составе. После распада праславянского языка расхождения эти увеличились, поскольку процесс дифференциации в то время преобладал над взаимовлиянием и соответственно схождением.

Для того, чтобы доказать это положение, нам нужны основательные словари старославянского и древнерусского языков с постоянной ориентацией на ЭССЯ и SP. Работа над указанными словарями далека еще от

своего завершения. Основательный для своего времени словарь Миклошича [10] явно устарел и для целей сравнения лексики обоих языков малопригоден, так как автор объединил в своем труде древнейшие ст.-слав. памятники с памятниками всех изводов позднейшими, включил в него и русские летописи, судебники (например, Судебник царя Иоанна Васильевича XVI в. по изданию А. Х. Востокова), и иные деловые документы, к ст.-слав. языку отношения не имеющие. Кроме того, ряд важных старославянских памятников во времена Миклошича ученым не был известен. Все же и теперь для тех, кто хорошо знает старую славянскую письменность и может не ошибиться, эта прославленная работа Миклошича небесполезна для разного рода справок и уточнений.

Вторая половина XIX в. и весь XX в. прошли под знаком усиленных разысканий палеославистов, достигших значительных успехов во многих отношениях, в том числе и лингвистических. Написано немало хороших грамматик старославянского языка, составлены словники к ряду произведений, сделано множество лексикологических наблюдений. Однако главный вопрос, какие памятники IX—X вв. входили в состав старославянского языка, каков был его реальный словарный состав, остается нерешенным. Можно согласиться со словами Р. М. Цейтлин: «Знаменательно, что все попытки реконструкции текстов первоначальных славянских книг обычно признаются в целом (не частностях!) неудачными, хотя принадлежат маститым ученым, общепризнанным знатокам древнеславянской письменности....» [11, с. 11]. Иначе говоря, остается неясным, где кончается собственно старославянский язык (язык Кирилла и Мефодия, их ближайших учеников и последователей), и где начинается язык его изводов, возникших в различных славянских странах и областях. Нам приходится довольствоваться тем, что сейчас есть. В нашем распоряжении имеются два словаря: Л. Садник и Р. Айцетмюллера [12] и незавершенный еще публикацией пражский словарь [13]. Первый краткий словарь, как видно из его заглавия, скорее предназначен для учебных целей, хотя полезен и для исследователей. Это словник с краткими и далеко не полными определениями значений слов без иллюстраций, зато в одной книге помещен обратный словарь и краткий этимологический справочник. В выборе ст.-слав. памятников авторы ориентируются, как они сообщают, на установки пражского словаря (в то время еще не публиковавшегося) и на «Историю старославянского языка» Вай-Вейка (М., 1957). Ссылка на пражский словарь оказалась более чем неточной. В основу словаря положено 20 старославянских памятников, часто приводимых в пособиях по этому языку (включая и краткую надпись царя Самуила 993 г.), исключены Остромирово евангелие 1056—1057 гг. (Остр.) и другие произведения, переписанные в Древней Руси, что для нас очень важно при сопоставлении лексики др.-болг. и др.-русск. языков. Словник к указанным памятникам составлен тщательно, и ему вполне можно доверять. До лексем на *Кр-* (почему нами взята эта точка отсчета, об этом будет сказано ниже) словарь содержит около 2730 нарицательных слов.

Совсем иным является пражский словарь, составление которого началось в 1954 г. Во Введении к нему сказано, что это словарь «среднего объема» и включает в себя всю старославянскую письменность древнейшей эпохи (времен Кирилла и Мефодия и их учеников), причем и самых поздних списков, включая и так называемое чешскоцерковнославянские тексты и другие памятники, переписанные в разных славянских странах в XI—XVI вв. [например, Житие св. Венцеслава в списке XV—XVI вв., вторая легенда о Житии св. Венцеслава (Вацлава) в списках XVI в., Житие св. Людмилы в списках XIII—XIV вв. и т. д.]. Всего расписано в картотеке 83 памятника. Такое расширительное определение ст.-слав. языка вызывает много затруднений. Во-первых, мы не всегда уверены, что использованные памятники были действительно написаны в IX—XX вв. Во-вторых, словарный состав документов, дошедших до нас в поздних списках древнецерковнославянского языка разных изводов, конечно же, подвергался изменениям и содержит в себе поздние напластования

разного и еще не объясненного происхождения, что не может не вызывать трудностей при сравнении др.-болг. и др.-русск. языков. Мы, несомненно, можем ожидать, что, например, в Московском синодальным апостоле № 18 русской редакции XV в. встретятся слова не древнеболгарского, а русского происхождения. В-третьих, не всегда ясно, почему одни памятники берутся, а другие оставляются без внимания (например, взято Остромирово евангелие и нет Путятиной минеи XI в., переписанной на Руси едва ли не раньше названного евангелия; служебные минеи как литературный жанр, несомненно, уже существовали в старославянском языке раннего периода). Все это снижает уровень лексических расхождений между ст.-слав. и др.-русск. языками, который мы пытаемся определить. И все же мы не должны принижать огромную научную значимость капитального труда пражских палеославистов. Другого словаря, равного ему, пока нет, и неизвестно, когда он будет. Делая поправки по словарю Л. Садник и Р. Айцетмюллера и высказывая разного рода собственные соображения, мы его берем за основу наших сравнений. Всего в первых пятнадцати выпусках словаря (*А* — включая часть *К*) я насчитал около 3000 слов (собственные имена и производные от них, не имеющие особых значений, мною не учитывались). Словарные статьи имеют развернутые толкования и богато иллюстрируются цитатами. Другой словарь, который станет базой наших лексико-сравнительных изысканий, это «Словарь русского языка XI—XVII вв.» (СлРЯ XI—XVII вв.) [14]. Поскольку речь идет о древнерусском языке раннего периода, для наших целей был бы более подходящим «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.» под ред. Р. И. Аванесова, но публикация его задерживается, а с неопубликованными рукописями при наших попытках подготовить обобщающий очерк иметь дело затруднительно. К тому же различия в словнике указанных словарей, когда речь идет о ранней письменности, незначительны.

В основу СлРЯ XI—XVII вв. положена картотека из полутора миллионов карточек — цитат, извлеченных почти из более чем 1900 памятников древнерусской письменности самого разнообразного характера, включая и многие произведения церковной литературы, написанные и переписанные на Руси (впрочем, принцип отбора богослужебной литературы оказался очень неясным: например, служебные минеи конца XI в. оказались в составе источников, так же, как и некоторые евангелия — евангелие Фомы по сп. XIV в., евангелие от Марка в издании Г. А. Воскресенского, псалтырь с толкованиями Феодорита, сп. XV в., а других евангелий и псалтырей нет; впрочем, что сделано, то сделано). К XI—XIV вв. относится 120 памятников, из которых мы будем привлекать данные только XI—XIII вв. В первых семи выпусках (кончая словом *крагуярь*) описано 25 397 лексем, подавляющая часть которых засвидетельствована в письменности XIV—XVII вв. По-видимому, в памятниках древнерусской письменности XI—XIII вв. по данным Картотеки ДРС, конечно, далекой от полноты, было около 3000 слов (до *Кр-*), что по объему в общем, соответствует словнику пражского словаря на те же буквы, и это позволяет нам делать нужные сопоставления. Конечно, цифры эти относительны, поскольку подлежат уточнению. Кроме того, нам неизвестен весь действительный словарный состав ст.-слав. и др.-русск. письменных языков, так как большинство письменных раннеславянских памятников до нас не дошло. Мы вынуждены исходить из того, что сохранилось.

Ст.-слав. язык, переписанный в Древнюю Русь, влил в др.-русск. литературный язык большое количество слов, относящихся к христианской религии, церковному быту, морали, философии, многим сторонам культуры, способствовал возникновению отвлеченных понятий. Большую часть этих слов составляла славянская лексика, переосмысленная в старославянском языке, значительную часть составляли грецизмы. Нам еще предстоит дать должную лингвистическую оценку этому богатству, в частности, установить основные тематические группы, лексико-семантические группы, новые для др.-русск. языка слова, всякого рода переосмысления уже имевшихся исконных слов, тенденции в развитии словопроизводства,

собственно русские новообразования, толчком для возникновения которых послужила старославянская лексико-семантическая система, проследить судьбу грецизмов и других заимствований и т. д. и т. п. Проблематика здесь неисчерпаема. Для примера возьмем древнепраславянское *bog, в далекое дохристианское время связанное с представлениями о богатстве, счастливой доле и т. п. (семантическая история слова является очень сложной, что вызывает всякого рода этимологические затруднения), а также с языческими верованиями в мифические существа — божества. Наследием тех далеких времен являются слова *богатый*, *богач*; *богатство*, *убогий* (первоначально «бедный») и др., древнеславянские собственные имена *Богумил*, *Богухвал*, *Богуслав*, название языческого бога *Стрибог* и т. п. Понятие единого верховного божества еще не установилось, вернее, оно дробилось (боги были разные), а главное божество персонифицировалось в одном из богов (ср. Зевс у греков-язычников). С утверждением христианской религии у славян слово *богъ* переосмысляется: оно означает не множество всякого рода богов, а высшее триединое существо, которое управляет всем миром. Впервые слово *богъ* начинает входить во множество сложносоставных слов: *богородица* (= θεοτόκος), *богоотьць*, *богомати*, *богоблаженый* (= θεομακάριστος) и т. п. В словаре Л. Садник и Р. Айцетмюллера отмечено 45 слов с *бого-*, в пражском словаре — 74, у Срезневского — 125, а в СлРЯ XI—XVII вв.— 88 (меньшее количество слов с *бого-* в СлРЯ XI—XVII вв.— результат первичных неправильных установок подготовить «научно-популярный», а не академический словарь, каким он на самом деле и является). Эти сложносоставные слова легко создавались по мере надобности, могли быть широко распространенными, а могли быть и редкими и даже единичными. Такие слова, как *богоборие* (Супр.), *боговесельнъ(ый)* (там же) и др., вовсе отсутствуют в древнерусской письменности (по данным Срезневского и СлРЯ XI—XVII вв.; кстати, в последнем пропущено 37 слов, имеющихся у Срезневского!). И наоборот, в ст.-слав. памятниках нет таких слов, которые имеются в др.-русск. памятниках XI—XIII вв.: *богобойный богобоязненный* (Кир. Тур. ~XII в., Ипат. лет., 1187 г.), *богобоичивый*, «то же» (Хроника Георгия Амартола ~XI в.), *богоглагольникъ*, *богоглагольный* (там же) и др. Часть таких расхождений, вероятно, случайна, а часть отличала ст.-слав. и др.-русск. языки. И это в такой подвижной в своих границах лексике!

Коль скоро мы перешли к этому вопросу, приведем здесь ряд ст.-слав. примеров, не засвидетельствованных в др.-русск. памятниках или же ограниченных в своем употреблении исключительно в богослужебной литературе, т. е. таких слов, которые были чуждыми др.-русск. языку и остались таковыми: *абие*, *абье* «тотчас» [по Трубачеву, «исключительно ст.-слав. (др.-болг.) слово», в этимологическом отношении неясное; употребляется только в древнерусских евангельских и иных церковных текстах]; *аблань* «яблоня» (Песнь песней) («главным образом южнославянская форма» к *abolnь, также диал. н.-луж. *jaboln*); *адовьскъ(ыи)*, *адовьское жилиште* (Супр.), *агнидие*, собир. «черные тополи», Populi nigre [Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского (Шестоднев Ио. экз.)] (Трубачев — «собственно вост.-слав. соответствия нам неизвестны»); *агньць* «ягненок» (Трубачев — «распространенное в основном в ю.-слав. языках именное производное с суфф. уменьшительности *-ьсь*... Праслав. словообразовательная инновация». В русской язык попало из церковнославянского источника с ярко выраженным архаическим, а через него и ироническим употреблением); *акридъ*, *акридь* «саранча» (Зогр., Остр. евангелия и др.; только в церковных текстах; попало в русский литературный язык в позднее время как редкий архаизм; из греч. ἀκρίς, -ίδος); *акрогоничьнъ(ый)* «краеугольный (камень)» (греч. ἀκρογωνιαῖος); *акрогонией*, *акрогонии* «то же»; *акротомъ* «скала, утес» (в др.-русск. только в церковных текстах, а также у Георгия Амартола, что отмечено Срезневским; но нет в СлРЯ XI—XVII вв.); *алгуи*, *алоинъ* «алоэ» (есть и в Остр., греч. ἀλόη); *анагностьство* «степень, чин, служба анагноста (-чтеца)» (греч. ἀναγνώστης) и другие производные от *анагность*; *ангелозрачьнъ* «ангельский»; *апостольствоеати* (Синайский евхологий); *арма* «колесница» (греч. ἅρμα); *ару*, *яру*

«если бы» (Супр., Златоструй ~ XII в.; этимологически темное слово); *асикритъ*, *асинкритъ* «секретарь»; *астирь* «звезда» (греч. ἀστήρ); *ашоуть*, *ашють* «напрасно, даром, тщетно» (если верно замечает Трубачев, что это почти исключительно древний чешский диалектизм, то в ст.-слав. язык слово это вошло в Моравии); *балии* «колдун, знахарь, врач» и производные от него (Зогр., Остр. и другие ст.-слав. памятники, на Руси исключительно в книжной сфере; образовано от праслав. **bal-* или **badl-* «говорить, заговаривать»); *бедрьнъ(ыи)* «щедрый, богатый» (Син. евх.; кажется, восходит к праиндоевроп. **bhed-r-*, т. е. является древним образованием); *безаконение*, *безаконьние*, «беззаконие» (Супр.); *безбоязние* (Супр.), *бездарьствьнъ(ыи)* «неблагодарный» (Супр.); *безоковати* «быть бесстыдным» (Супр.) и другие чисто церковные (*безочьствие* «бесчестие», *безочьство*, *безочьствовати*); *безратии* «мирный»; *берьшь* «стих»; *беспосагая* «незамужняя» (девица)»; *васнь* «может быть, вероятно» (Супр.); *вравия* «награда, приз»; *възмазь*, *възмазьство* «осквернение, распутство» (Фрейзингенские листки); *възывало* «название, наименование»; *въпыснути* «подняться (о тесте, квасе)» (есть и в Остр.); *въловьнъ(ыи)* «спокойный, медленный» (Супр.); *вънадрити* «увидеть, узреть» (Слепченский апостол и др.); *вънѣрити* «унизить» (Синайская псалтырь); *въскраи* «близ, возле, около» (в др.-русск. письменности встречается только в некоторых церковных памятниках); *въскраинии* «ближний, близкий»; *въяхати* «поплыть» (Мариинское и Ассеманиево ев.); *вязѣти* «крыться (в чем-либо), находиться» («Похвальное слово Клементия» болг. и серб. редакций); *газа* «сокровище» (только однажды встретилось в русском апостоле XVI в; греч. γάζα); *гоить* «колдун, обманщик» (др.-болг. рукописи); *гонажати* «освобождать, избавлять» (Супр.; изредка встречается в др.-русск. церковных произведениях); *гребище* «могила» (только в Зогр.); *грьмъ* «кустарник»; *дивия* «безрассудство» (Супр.); *дика* «украшение; слава, честь»; *доводитель* «вождь, проводник» (Син. евх.); *дож(е)да* «пока не» (Фрейз. лл.); *дожи и до* «до самого»; *држгъ* «дубина, палка» (Син. евх.); *дымъ* «чума, моровая язва» (Беседы Григория Великого); *ече* «если» (Фрейз. лл.); *жерав(ъи)* «раскаленный»; *жище* «жилище» (Супр.); *жладьба* «ущерб, убыток» (там же); *жласти* и *жлѣсти* «возмещать ущерб, убыток, долг» (там же); *закленути* (из **zaklepnǫti*), *заклопити* «запереть»; *заповѣяти* «гнать» (Слепч. ап.); *засѣдьнакъ* «лукавый человек» (Мар.); *заскопие* «коварство» (Супр.); *иго оубо* «потому, итак» (Беседы Гр. Вел.); *испьрѣние* «оправдание, извинение» (там же); *испрѣти* «оправдать, извинить» (там же); *калежь* «чаша»; *клячати* «становиться на колени» (Супр.); *корабьчий* «корабельщик» (там же) и т.п. и т.п.

Выше мы привели только некоторые примеры лексических особенностей ст.-слав. языка, вовсе не свойственных др.-русск. языку в его письменной и устной разновидностях. Мы сознательно включаем сюда и чисто книжные слова, поскольку расхождения между старославянским и древнерусским языком были и в книжной лексике. Отчасти это грецизмы, но в основном исконно славянские диалектные слова (ср., например, *абие*) и новообразования, возникшие в старославянском языке. Тематически и семантически эти особенности разнообразны. Это не только и не столько обозначения явлений южнославянской и средиземноморской природы и быта, которые не были известны восточным славянам, сколько, главным образом, наименования понятий, имевших свои эквиваленты в языке восточных славян. Ср.: *агньць*, *акридъ* (*акридь*, *акрида*) — в др.-русск. языке *прузи*, *ашоуть* = *напрасьно*, *васнь*, *ече* и др. Такие слова не связаны с какой-либо территорией (в нашем случае южнославянской или восточнославянской). Это — языковые отличия, корневые и производные. Сравнивая словари, я их насчитал на буквы *А* — *Кр-* — свыше 400 слов, т.е. около 13% зафиксированной в пражском словаре лексики. Конечно, эти подсчеты подлежат уточнению.

Гораздо больше слов, общих старославянскому и церковнославянскому языку древнерусского извода, откуда они только частично проникали в собственно древнерусский язык. В точности подсчитать их очень трудно. Мы не знаем, сколько слов было во всех памятниках старославянского языка, так как очень многие из них не сохранились даже в поздних

списках. Часто невозможно сказать, было ли слово в старославянском языке или же оно возникло в церковнославянском языке Древней Руси. Ср. *бааникъ* «волшебник, колдун» в Хр. Амарт. ~XI в. (его нет в ст.-слав. памятниках, но совершенно очевидно, что образовано оно от *баати*; *баяньникъ* в собственно древнерусской письменности не встретилось) и *балиискии* «колдовской» у новгородского попа Упыря (1047 г.) — от *балии*; *безбоязние* (Супр.) и *безбоязньство* в Ефремовской кормчей ~ ~ XII в; *безбрачьныи* (Ефр. корм.) и *безбрачьствие* (Хр. Амарт.); *бездарьствьнъ(ыи)* «неблагодарный» и *бездарьный* в одном из поучений русского списка XV в.; *безмѣрьнъ(ыи)* (Супр.) и *безмѣрьствие* (Александрия ~ XII в.); *безнадеждьнъ(ыи)* (Супр.) и *безнадежьникъ* (Сл. Илар). и т. д. и т. п. Таких примеров очень много. Мы не знаем, возникли ли такие однокоренные слова в ст.-слав. языке или позже под пером древнерусских книжников, но ясно, что они не могли образоваться в живом языке восточных славян. Для реконструкции старославянского лексического фонда памятники церковнославянского языка древнерусского извода являются ценнейшим источником, так как русская церковнославянская литература богаче всех других инославянских литератур этого рода, вместе взятых. Очень актуален вопрос о составлении особого словаря церковнославянского языка восточнославянского извода (русского и украинско-белорусского изводов для более позднего времени). Такой словарь был бы незаменимым пособием для исследования языковой ситуации в Древней Руси, затем в XV—XVII ст. При его помощи многое можно было бы распутать в противоречивом клубке в языке обширнейшей восточнославянской письменности.

Сколько же церковнославянских слов не совсем или вовсе не было понятно неграмотному или малограмотному древнерусскому населению? Вероятно, я не очень ошибусь, если скажу, что такие слова составляли уже с самого начала распространения письменности добрую половину лексики старославянского — церковнославянского языка. Вопрос этот имеет принципиальное значение для выяснения двуязычия в Древней Руси. Язык богослужения для восточных славян был и понятен (не то что латынь для германцев) и в то же время во многом непонятен, и не только из-за сложной специфики системы религиозных понятий (как в наше время малопонятен для непосвященных язык какой-либо специальности), но и потому, что он был хотя близкородственный, но чужой как по своему происхождению, так и в функционировании. Его отстраненность от живого древнерусского языка усиливалась наличием в нем заметного пласта грецизмов. По подсчетам Р. М. Цейтлин, на 9616 слов семнадцати обследованных ею древнеболгарских памятников приходится 1778 слов, заимствованных из греческого, что составляет около 18,5% всего словарного состава [11, с. 27]. Правда, не все грецизмы старославянского языка перешли в церковнославянский язык древнерусского извода (примеры см. в приведенном выше списке слов). Однако переводы греческого продолжались и в Древней Руси, начиная с XI в., т.е. накапливались новые грецизмы. См., например, значительное количество их в списке слов, приложенном к изданию «Хроники Георгия Амартола», опубликованном В. М. Истриным [15]. Лишь немногие из греческих заимствований попадали в собственно древнерусский литературный язык, основная масса их не выходила за сферу высокой книжности (ср. *кимвалъ* = κύμβαλος; *лагиде* ся же ся речеть заяци = λαγίδαι и т.п.). О грецизмах в древнерусской письменности писалось много, но немало остается и невыясненного. Нужно установить подвижность их состава, сферы применения, что нового появилось на Руси, каково было их проникновение в общий язык, воздействие на семантику славянских слов, также калькирование и т.п., т.е. попытаться дать общее представление их истории в языковой культуре Древней Руси. Но уже и теперь представляется очевидным, что роль их была иной, чем в более позднее время, когда происходит вычленение наук и их языков, в которых грецизмы (наряду с латинизмами) представлены очень широко.

Особым предметом исследования является отражение в древнерус-

ской письменности понятий христианской религии. Какая-то часть (конечно, меньшая) слов этой обширной тематической группы вместе с укреплением позиций христианства получает широкое распространение среди всех слоев населения: *цьркы* (*цьрковь*), *монастырь*, *попъ*, *игуменъ*, *мнихъ* (*монахъ*), *цѣловати крьстъ* «давать клятву», *съборъ* (*соборъ*), *крьщение*, *обѣдня*, *заутреня*, *постъ* и т. п. Что вошло в повседневный обиход неграмотных слоев населения, с точностью установить не удастся. Сведения же о степени употребления терминов христианской религии получить можно из разного рода деловых документов, летописей и иных памятников собственно древнерусского литературного языка, а также из всякого рода малограмотных надписей и писем [(например, берестяных); ср., например, в Грамоте в.к. Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю ~1130 г. (явно русской по своему языку)]: *святому Георгиеви* (название новгородского монастыря), *богъ и святая богородица*, *и ты*, *игоумене и вы братиѣ* (монахи), *молите бога за мя*, *въ монастыри* (есть еще повторения этих слов и словосочетаний). Но тут мы имеем дело с княжеской грамотой и с грамотным писцом (вероятно, духовным лицом). В новгородских берестяных грамотах, написанных простыми людьми, христианские термины и выражения встречаются гораздо реже и в иных контекстах. В грамотах и надписях №№ 1—27 не встретилось ни одного примера религиозного содержания и только в грамоте № 28 находим: «*во имя отца и сына и святого д(уха)*». Это завещание новгородки Фетинии на случай ее смерти. То же выражение встречается в грамоте № 42 в завещании некоего Бъбжи. Далее идет опять большой перерыв — только в грамоте № 87 пишется: «от Дрочкѣ от *папа* (=попа) пъкланяние ко Демеяну и къ Мине и къ Ваноукоу». Все найденные грамоты, письма и надписи на бересте (число их подходит к 600) исключительно бедны христианской терминологией. Это, конечно, не означает, что новгородское население было безбожным — тематика писем не наталкивала на христианские размышления. Все обычно посещали церковные службы, исполняли нужные тогда обряды, что-то активно усваивали из религиозной терминологии, но основная ее масса, переполненная грецизмами и старославянизмами, оставалась в распоряжении только грамотного духовенства и высокообразованных начетчиков, не выходила за пределы церковной письменности (и, соответственно, устной речи названной прослойки населения), т.е. оставалась в пределах церковнославянского языка древнерусского извода.

Приведу некоторые примеры: *агиасма* «святая вода» (греч. ἁγίασμα), *адаръ* «название одного из иудейских месяцев» (Изб. 1073 г.; греч. ἀδάρ), *адонаи* «господь» (там же; греч. ἀδωναί), *азма азматьская* «Песнь песней» (Шестоднев. Ио. экз.; греч. ἆσμα ἀσμάτων; у него же *паримия* Соломоня, *еклисиастъ* и пр.), *алъкание* «пост» (в Древней Руси только в церковной письменности), *алъкати* «поститься» («то же»), *аналава*, *аналавъ* «четвероугольный плат с изображением знаков страдания Христа, который монахи носили на груди или плечах под одеждой», он же *парамандъ* (греч. ἀνάλαβος, Кир. Тур. и др.), *багряница* «багряница, порфира» (только в церковных текстах, начиная с XI в.), *благословестити* «благословить» и многие другие образования с *благо-* религиозного значения (исключение: *благословити*, получившее широкое распространение), *богатодательное съмѣрение* (Житие Феодосия), многие сложные слова с *бого-*, *бытииская заповѣдь*, *бытииские книги* «относящиеся к ветхозаветной книге Бытия» (Ефр. корм. и др.), *недѣля ваи* «вербное воскресение перед страстной неделей», греч. βαΐον), *власфимисати*, *власфимляти* «хулить, говорить антибожественное» (греч. βλασφημεῖν), *власфимия* «хула, безбожие» (греч. βλασφημία, Остр. и др.) и т. д. и т. п. Таких слов в церковнославянском языке древнерусского извода наберется многие сотни, если не тысячи. Во всей своей совокупности они были малопонятны или вовсе непонятны не только широким слоям населения, но и малопросвещенному духовенству. Это была специальная терминология, представляющая собой священный жаргон, но этот жаргон являлся неотъемлемой частью церковнославянского языка, он усиливал двуязычие в сфере письменной речи.

Еще предстоит раскрыть удельный вес и историю христианской терминологии у восточных (и не только у них) славян.

С христианским мировоззрением связаны начатки научных (философских, исторических, естественных) знаний, которые смешивались с религиозными представлениями, нормы морали и поведения. Конечно, с этими лексико-тематическими группами дело обстоит сложнее, чем с богослужебным жаргоном, так как в них наряду с господством церковнославянизмов, несомненно, имелись и исконные восточнославянизмы, в которых сохранялись традиции дохристианской Руси.

Наряду с общим очерком лексики древнеболгарского происхождения в церковнославянском языке древнерусского извода, включая описания ее тематических групп, важно также исследование неболгарских элементов, проникших в старославянский язык раннего кирилло-мефодианского времени. Правда, написано по этой проблеме очень много, но итогов, которые были бы приняты всеми палеославистами, пока еще мало. Однако ясно, что кирилло-мефодиевский вопрос, включая в него интересующую нас лингвистическую сторону, не исчерпан и должен продолжать разрабатываться (см. краткий обзор мнений и литературы в [16]). Важны и иные проблемы: изучение лексико-семантических особенностей различных жанров церковной литературы (евангелий, псалтырей, миней, триодей и т.п.), отдельных произведений (из них особенно надо выделить Жития Кирилла и Мефодия, «Сказание о письменех» черноризца Храбра и иные памятники, важные в историко-культурном отношении), различного рода групп слов и единичных слов, специфических для старославянского и церковнославянского языка древнерусской редакции. Очень интересны лексические разночтения и варианты словесных обозначений одних и тех же понятий. Много таких разночтений и вариантов обнаружено Л. П. Жуковской и ее помощниками в очень важном Мстиславовом евангелии начала XII в., подготовленном к печати, но до сих пор не опубликованном. С одной стороны, эти варианты отражают лексические особенности более древних евангельских источников, а с другой стороны, они свидетельствуют о высокой степени владения церковнославянским языком древнерусского книжного духовенства. Весьма вероятно также отражение в них и восточнославянской языковой стихии. Чтобы составить себе общее представление о литературном двуязычии в Древней Руси и о сложном взаимоотношении близкородственных литературных языков, надо, конечно, продолжить работы и по традиционной проблематике: образованию новых сложносоставных слов, слов с суффиксами отвлеченного значения, функционированию полногласия и неполногласия и др.

Выше мы говорили о лексических явлениях, свойственных только старославянскому языку и языку церковнославянскому древнерусского извода и в основном чуждых исконному восточнославянскому словарному составу. Но это только одна сторона проблемы. Другая не менее (если не более) важная сторона — выявление слов и их значений, которые имелись в древнерусском языке и отсутствовали в старославянском (церковнославянском). Наличие и отсутствие чего-либо в двух сравниваемых языках — две стороны одного и того же факта — различия между языками.

Вопрос о лексических восточнославянизмах возник прежде всего для определения, переведено ли (или переписано) то или иное произведение на Руси или же в Болгарии или Сербии, т. е. в данном случае ставились историко-текстологические, а не языковедческие задачи. Нередко в таких случаях между учеными возникали острые разногласия, поскольку фактическая опора оказывалась зыбкой (ср., например, нападки на утверждение В. М. Истрина, согласно которому Хроника Георгия Амартола была переведена в Древней Руси, а не в других славянских странах). Из опытов этого рода выдающееся место занимают труды А. И. Соболевского [17—19]. А. И. Соболевского без преувеличения можно назвать лучшим знатоком славянорусской письменности, всю жизнь систематически работавшим над рукописями. Отличное знание древней литературы позволило ему «отсеять плевела от зерен» в словарях Миклошича и Востокова, умело использовать славянские этимологические словари и иные этимологи-

ческие исследования. И результат, в общем, получился отличный. Сравнение его наблюдений с пражским словарем старославянского языка и современными этимологическими трудами показало, что ошибок в установлении лексико-семантических особенностей, присущих древнерусскому, а не старославянскому (церковнославянскому) языку, было сделано немного. Сам А. И. Соболевский не придал собранным им материалам должного значения. Следуя в общем русле представлений своего времени, он пишет, что язык древнерусской письменности был несколько обрусевшим древнеболгарским (церковнославянским) языком, язык южнославянских и древнерусских переводов был одним и тем же, только лишь с некоторыми древнерусскими вкраплениями, которые и позволяют считать, что тот или иной памятник переводился с греческого на Руси, а не у южных славян [18, с. 162—165]. А. И. Соболевский обследовал 25 переводных памятников домонгольского времени (Житие Андрея Юродивого по списку XIV—XV вв. и русским спискам Пролога XIII—XIV вв., Пандекты Никона Черногорца по спискам XII—XIII вв. и др.). И что же получилось? Только в упомянутых памятниках, по моим подсчетам, оказалось 246 русских лексических вкраплений, не свойственных старославянскому (церковнославянскому) языку, а если к этому прибавить другие наблюдения А. И. Соболевского, то их получится свыше 300. Но это еще не все. А. И. Соболевский в своих списках русизмов пользуется пометами «и др.», «и т. д.», «и т. п.», т. е. считает эти списки открытыми, неполными. И это в церковной переводной литературе! Как увидим ниже, количество русизмов было гораздо большим. По А. И. Соболевскому, словарные русизмы состояли из трех групп: 1) слова исконнославянские, в древнерусском языке получившие особые значения или вовсе отсутствовавшие в старославянской письменности, 2) слова, заимствованные только в древнерусском языке и 3) названия городов, народов и т.п., хорошо известные в Древней Руси и мало или вовсе не известные южным славянам (последняя группа слов нами совсем не учитывается, поскольку она мало характерна для языковых различий — многие местные названия остаются неизвестными и для носителей данного языка, отдаленных от их местожительства, хотя и находящихся на территории распространения этого языка; вряд ли, например, все восточные славяне подозревали о существовании р. *Рѣсь* южнее Киева или об. оз. *Нево*; эта лексическая группа не входит в словарные списки А. И. Соболевского).

Говоря о восточнославянизмах древнерусской письменности XI—XIII вв., мы выделим сначала слова, которых нет в старославянском языке, но которые имеются в южнославянских языках, в том числе и в болгарском. В большинстве своем это слова, которые случайно (или по причинам стилистическим) не вошли в словарный состав старославянского языка, а может, были в нем в не дошедших до нас рукописях. Приведем здесь некоторые типичные примеры. *Баранъ* (*боранъ*) «самец овцы» с праславянскими производными (по О. Н. Трубачеву) *баранина* (*боранина*), ст-укр. *баранича* «выделенная овечья шкура», **baranovъ* (*jь*) — н.-луж. *baranowy* «бараний», *бараний* и др. широко распространены почти во всех славянских языках. Нет его вовсе в словенском языке. Под вопросом стоит болгарский язык, в котором слово представлено как редкий диалектизм: *бъранкъ* «овца; легкомысленный человек», *баранки* «овцы» (О. Н. Трубачев). Может быть, этот диалектизм свидетельствует о широком употреблении слова в древнеболгарском народном языке, а, может быть, это позднее заимствование из других славянских языков. Поскольку первое предположение решительно исключить нельзя, мы включаем объективности ради эту лексему в данную группу слов. В ст.-слав. письменности *баранъ* и производные не обнаружены. В ранних др.-русск. памятниках *баранъ* известно только в деловой письменности (Русск. Пр. и др.), в летописных записях и некоторых других оригинальных произведениях. В церковнославянской литературе, как и в старославянской, обычно *овьнъ* в том же значении, имеющееся также и в оригинальных древнерусских памятниках (например, в Русск. Пр.). Искон-

ное праслав. *ovьnъ столкнулось с праславянским заимствованием *baranъ. Между этими словами началась длительная конкуренция. В ст.-слав. (церк.-слав.) языке решительную победу одержало *овьнъ*, а у восточных славян — *баранъ*. От последнего образовалось много производных, а также переносных значений (только в СРНГ отмечено 6 омонимических образований и 33 их значения, не считая большого количества производных), а *овьнъ* стало архаизмом и названием одного из 12 созвездий Зодиака. Скорее всего слово *баранъ* мы должны считать особенностью собственно древнерусской лексики, а *овьнъ* преимущественно старославянизмом.

Батя «отец» (Ипат. лет., 1161 г.), в более позднее время производные *батька*, *батюшка* и др. Слово по своему происхожению является древним праславянским и широко известно в славянских языках в разных формах и генетически взаимосвязанных значениях, в том числе и в болгарском языке (*бате* «старший брат», диал. *бать* «отец; кум; старший брат» и др.). Почему это слово отсутствует в старославянской и церковнославянской письменности, неизвестно. Не исключено, что оно имело простонародный стилистический оттенок, не подходящий для церковной книжности.

Бебръ и *бобръ*. Эти слова со своими производными нередки в др.-русск. оригинальных произведениях (деловой литературе, летописных записях и др.), но отсутствуют в старославянском и церковнославянском языке древнерусского извода, хотя по своему происхождению и распространению являются древними праславянскими и общеславянскими. Ср. болг. *бéбер* «бобр», сербск.-ц.-слав. *бебръ*, словенск. *bêber*, польск. *bóbr* и т. д. По-видимому, ограниченность тематики религиозных текстов была причиной того, что слово не попало в словарный состав ст.-слав. языка. В хозяйственном отношении бобровые шкуры, несомненно, имели ценность в жизни древних славян.

Блъха «блоха (в русском переводе «Александрии» ~XII в. и в более поздних памятниках). Слово праславянское и общеславянское (ср. болг. *блъхá*, серб.-хорв. *бу̏ха* и пр.), исторические его истоки восходят к праиндоевропейской эпохе, но в ст.-слав. языке, по данным словарей, его не оказалось. То же самое случилось со словами *бокъ*, *бълванъ*, *бобъ*, *боръ* («сосновый лес, сосна» и др. значения), *бродъ*, *бродити(ся)*, *брюхо* (правда, болг. *брюк*, *брюка*, *брука* «нарыв, прыщ» не поддается убедительному соотнесению с *брюхо* из-за наличия в нем *к* вместо *х*, да и семантически оно значительно расходится с *брюхо*, поэтому не исключено, что слова *брюхо* в ст.-слав. языке не было потому, что оно отсутствовало в древнеболгарской речи), *будити* (в ст.-слав. имеются производные *възбоудити*, *оубоудити*), *быкъ*, *вити*, *въшь* «вошь», *гълка* «шум», *гълчати* «сильно кричать, вопить», *гороховый* (слово общеславянское, но в ст.-слав. языке нет ни *граховыи*, ни *грахъ*!), *дълбити*, *дума*, *думати*, *жеравь* «журавль», *жеравие* «мясо журавля», *зобати* «есть, кормиться», *ивие* «ивы» (у Даниила Заточника, исходное *ива* только в поздних памятниках) и др. Таких слов на буквы *А* — *К* я насчитал что-то около 100, а всего их было вероятно, не более 300. По своим значениям они относятся к разным сферам понятий, к разным частям речи. При установлении лексических различий между древнеболгарским (старославянским) и древнерусским языками они не должны идти в счет, за исключением разве что отдельных спорных примеров вроде *баранъ* и *брюхо*, хотя, конечно, мы должны иметь в виду, что за тысячелетие существования славянской письменности на славянской территории происходили всякого рода передвижения изоглосс. Стало быть, в принципе и тут остаются еще не решенные проблемы. Но поскольку слов этой группы немного, не они решают поставленную нами задачу. А задача решается тем, каков был удельный вес специфически восточнославянской лексики, отсутствовавшей в древнеболгарском (старославянском) языке.

(*Окончание следует*)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Проблемы исторической лексикологии русского языка (Древний период). — ВЯ, 1981, № 5.
2. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
3. *Черных П. Я.* Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956.
4. *Kiparsky V.* Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.
5. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 4. М., 1977, с. 36.
6. Słownik prasłowiański. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1976, t. 2, s. 109.
7. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Сост. Виноградова В. Л. Вып. 5. Л., 1978, с. 52—53.
8. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974, с. 162—163.
9. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958, т. I, с. 250.
10. *Miklosich Fr.* Lexicon palaeslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865.
11. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977.
12. *Sadnik L.* und *Aitzetmüller R.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.
13. Slovník jazyka staroslověnského. Вып. 1, Praha, 1958 и сл.
14. Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975, вып. 1; М., 1980, вып. 7.
15. *Истрин В. М.* Книги временные и образные Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920, т. I; Пг., 1922, т. II; Л., 1930, т. III.
16. *Можаева И. Е.* Cyrillo-Methodiana на современном этапе.— Советское славяноведение, 1981, № 3, с. 80—85.
17. *Соболевский А. И.* Лингвистические и археологические наблюдения. Варшава, 1910.
18. *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.
19. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Изд. подг. Алексеев А. А. Л., 1980, с. 134—147.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АБАЕВ В. И.

SLAVO-AVESTICA

Авеста как текст

Филологию в широком понимании можно определить как науку, занимающуюся истолкованием текста. Под текстом мы разумеем любой документ, изложенный средствами человеческого языка и содержащий ту или иную информацию. Тексты могут быть эпиграфические, литературные, фольклорные, мифологические, религиозные, исторические... В истолковании текста следует различать пять аспектов:

1) лингвистический (язык, диалект; лексика, грамматика);

2) филологический в узком смысле (жанр, форма, композиция, выразительные средства, поэтика...);

3) текстологический (история текста, критика текста);

4) идейно-содержательный (содержание текста, его назначение, социальная информативная функция, отраженное в нем мировоззрение);

5) реальный или исторический (текст как свидетельство о реалиях конкретной исторической действительности) [1].

Каждый из этих аспектов нельзя рассматривать изолированно. Они многообразно переплетаются и взаимодействуют. И если даже в центре внимания исследователя находится один какой-нибудь из пяти аспектов, он постоянно должен держать в поле зрения четыре остальных. И не только держать в поле зрения, но разбираться в них. Такое истолкование текста, которое не только учитывает отдельные его аспекты, но также их взаимозависимость и взаимодействие, мы называем комплексно-экзегетическим методом.

К числу памятников, которые особенно настоятельно требуют комплексно-экзегетического подхода — с постоянным учетом всех указанных пяти аспектов — относится Авеста — свод культовых текстов зороастрийской религии. Любую частную проблему приходится здесь рассматривать в общем комплексе авестийской проблематики. А эта проблематика очень сложна [2]. Авеста как текст относится к труднейшим объектам всей индоевропейской филологической науки. После двух веков интенсивного изучения она все еще ставит перед наукой ряд трудных вопросов как лингвистического и филологического, так и мировоззренческого и исторического порядка.

Начать с того, что до сих пор нет ясности, каков диалектный статус авестийского языка. Одни относят его к восточным, другие к северо-западным иранским наречиям. Географические упоминания Авесты указывают, как правило, на Восточный Иран. Но чисто лингвистические характеристики — лексические, грамматические — носят двойственный характер и говорят о взаимодействии и перекрестных отложениях разных диалектных норм. Древнеиранская речь выступает в авестийских текстах в форме, которую можно назвать „трансдиалектной“, совершенно так, как древнеиндийская речь в некоторых буддийских и джайнистских

---

[1] Мы не включаем сюда графическую передачу текста. Текст остается текстом и тогда, когда он зафиксирован не в письменных знаках, а, скажем, на магнитной ленте.

[2] Некоторым ее аспектам посвящены наши статьи [1—3].

текстах. Особняком стоит диалект той части Авесты, авторство которой приписывается самому Зороастру, так называемых «Гат» («Песнопений»).

Особенности языка Авесты во многом связаны со сложной историей самого текста Авесты. Древнейшее мифологическое ядро Авесты перекликается с Ригведой и, стало быть, восходит ко времени индоиранской общности, т. е. к III тыс. до н. э. Между тем дошедшие до нас рукописи Авесты не старее XIII в. н. э.[3]. Что происходило между этими двумя столь отдаленными друг от друга датами? Какая среда была носителем устной традиции текста? Когда, где, в какой среде действовал сам религиозный реформатор? Когда и где началась и продолжалась фиксация текста в письме? Через какие этапы прошли редактирование и кодификация текста? На эти и другие вопросы, связанные с историей авестийских текстов, мы точных ответов не имеем[4].

По содержанию тексты Авесты делятся на мифологические, литургические и ритуальные. Всего труднее дать жанровую характеристику Гатам самого Зороастры. Их называют то проповедями, то гимнами, но оба эти наименования применимы к ним с большой натяжкой. Мы определили бы Гаты как тирады. Весьма эмоциональные, полные воодушевления, эти тирады в свое время обладали, надо полагать, большой заражающей силой. Но сейчас они кажутся нам зачастую крайне туманными, чтобы не сказать — заумными. Все же в них распознается определенная мировоззренческая концепция и определенная практическая программа. Зороастр верит в существование двух изначальных потенций, светлой и темной. Борьба между ними составляет все содержание бытия. Задача человека — содействовать победе светлого начала.

Практическая программа Зороастра — насаждение мирного оседлого скотоводства под защитой сильной и справедливой власти (*xšaϑra-*).

Всякий прогресс в понимании как Авесты в целом, так и отдельных отрезков текста, обусловлен в конечном счете лучшей, более правильной интерпретацией ее языкового материала: лексики и грамматических форм. В начале нашего века авестологическая наука располагала двумя фундаментальными трудами итогового значения. Это, во-первых, «Древнеиранский словарь» Бартоломэ [6], во-вторых, французский перевод всей Авесты с обширным филологическим и реальным комментарием, выполненный Дармстетером [7]. Эти книги — чудо трудолюбия и эрудиции. Об их непреходящем значении говорит то, что оба труда были переизданы в новейшее время фотомеханическим способом (AiW в 1961, ZA в 1960 г.) и по сей день остаются настольными книгами каждого ираниста.

Но наука не стоит на месте, и даже классические труды рано или поздно устаревают. За последние десятилетия в обиход науки вошел обширный новый иранский материал, прежде всего согдийский, сакский (хотанский), хорезмийский. Тем самым расширилась база сравнительного изучения авестийской лексики и грамматики. Наряду с этим продолжалась работа по критике текста, заново издавались, переводились и комментировались отдельные части Авесты, по-новому осмыслялись многие трудные пассажи, особенно в Гатах. Настало время для суммирования всего, что сделано в истолковании Авесты. Авеста нуждается в новом словаре и новом комментированном переводе. Словарь авестийского языка запланирован и уже реализуется проф. Шлератом. Пока вышли два подготовительных выпуска [8].

Узколингвистический подход к истолкованию текста Авесты не может дать богатых результатов. Наше понимание Авесты и отдельных частей ее текста будет тем глубже и совершеннее, чем полнее и последовательнее будет применяться комплексно-экзегетический метод, т. е. лингвистический разбор во всех случаях будет сочетаться с филологическим, текстологическим, идеологическим и реальным (историческим).

---

[3] О датировании рукописей Авесты см. [4].
[4] О Зороастре см. последний — весьма ценный — труд [5].

О славо-авестийских изоглоссах

Славо-иранские языковые связи обширны и многообразны. Их лингвистический и историко-культурный интерес очевиден как с позиции славистики, так и иранистики. В деле их выявления уже достигнуто немало. Но последнее слово здесь, видимо, еще не сказано [см., например, 9, 10].

Особого внимания заслуживают сепаратные встречи отдельных славянских языков с отдельными иранскими. Такие встречи представляют большой интерес с точки зрения истории этих языков и с точки зрения ареального распределения лингвистических единиц в разные периоды, начиная с той отдаленной эпохи, когда эти языковые общности, славянская и иранская, только еще формировались.

Многочисленные и яркие схождения имеются у славянских языков, в частности, русского, с языками скифо-сарматской группы [11, с. 12—24, 41—52, 54, 68] [5].

Разительным фактом является полное материальное и функциональное тождество предлога-послелога *radi* в славянском и древнеперсидском. С этим последним языком связывает славян и такая важная изоглосса, как др.-перс. *baga-* — слав. *bogъ*.

Наши наблюдения — пока предварительные — дают право говорить о существовании специфических славо-авестийских лексических схождений. При этом показательно, что речь идет обычно о словах, которые либо на славянской почве, либо на иранской, либо и там, и тут, казались изолированными и не имели однозначной, общепринятой этимологии.

Авест. *bərəg-* — слав. **bergti*

Полное формальное тождество и несомненная семантическая близость этих двух лексем ускользнули, как кажется, и от иранистов, и от славистов.

Авест. *bərəg-* разные авторы переводят по-разному, одни — «ритуал», другие — «желание» и т. п. Для производной глагольной основы *bərəjaya-* дают перевод «приветствовать», «почитать», «славить» и пр. Документируются еще некоторые производные: *bərəxδa-* (по AiW «ценимый, дорогой»), от него сравн. степень *bərəxδotara-*; далее *bərəγmya-* (по AiW «приятный»), *bərəǰya-* (по AiW «кого следует приветствовать»), *bərəǰyąstəma-* превосх. степень от незасвидетельствованного причастия наст. вр. *bərəǰyant-*.

Общепринятой этимологии для базы **bərəg-* нет [12, p. 350—353][6]. Если судить по AiW, то между *bərəg-* и *bərəǰaya-* нет никакой семантической связи. Что общего между «religiöser Brauch» и «willkommen heissen»? Совершенно очевидно, что приемлемо только такое этимологическое решение, которое позволило бы объединить в одно семантическое гнездо *bərəg-* и *bərəjaya-*. Такое решение возможно. Почти во всех контекстах для глагола подходит значение «чтить, хранить, беречь, блюсти», для имени — «попечение, защита, соблюдение, обереженье» (лат. *cura* в таких выражениях, как *cura deorum*).

Приведем некоторые типичные сочетания. В текстах Ясна 35.1; 15.1: ... *bərəjā* (инстр. пад.) *daēnaya* «попечением о религии», «cura religionis».

В тексте Вендидад 7.52 говорится об умершем правоверном, что в загробном мире ему уже не придется быть объектом борьбы между добрым и злым духом, потому что «я, Ахурамазда, возьму его под защиту (*bərəǰaēm*)».

В тексте Яшт 10.90 читаем:

bərəǰayat̰ Ahurō Mazdā̊, bərəǰayən aməšā̊ spənta yeŋhā̊ kəhrpo huraδoayā̊ «оберегал Ахурамазда, оберегали Амиаспанды (светлые духи) его (божества Haoma) стройное тело» [7].

---

[5] Приведенный в этой книге материал уже нуждается в существенных дополнениях.

[6] Имеющиеся этимологические опыты перечислены в книге Ж. Келленса [12].

[7] Имеется в виду персонифицированный священный напиток Хом (haoma).

Сочетание *haomam bərəǰaya-* «чтить, беречь Хом» перекликается непосредственно с названием скифского племени (в древнеперсидской передаче) *hauma-varga-* (< *hauma-barga-*) «чтущие Хом». Сюда же предполагаемое скиф. **gauvarga-* «чтущие Скот» (в греческой адаптированной передаче γεωργοί) [13].

С авест. *bərəg*, *bərəǰ-* этимологически связано сак. *bulj-* «чтить, славить», *orga*, *aurgga* (< **ā-barga-*) «почитание» [14].

Сакские факты, а также скифские этнонимы *hauma-varga-* и **gauvarga-* выводят авест. *bərəg-* из изоляции и позволяют выставить иранскую базу **barg-* (и.-е. **bherg-*) со значением «чтить, беречь» и т. п. В Авесте к этому гнезду относятся еще *bərəxδa-* «чтимый», «*veneratus*», *bərəγmya-* «оберегаемый, находящийся под защитой» (о жилищах), *bərəǰya-* «достойный почитания» (имя божества). В древнеиндийском — вед. *bhárgas* «eine Ehrfurcht gebietende Erscheinung» [15].

Переходим к слав. **bergti* «беречь». Обычно сопоставляется с германской группой: гот. *bairgan*, нем. *bergen* «прятать» и пр. Тут возникают некоторые, пусть преодолимые, но все-таки трудности. Они троякого порядка: фонетические, ареальные, семантические.

1. Германская группа возводится к базе **bhergh-* [16], что по сатемной норме в славянском должно было дать **berz-*, а не **berg-*. Ср. по этой же норме осет. *bærz-* в *æm-bærz-yn* «покрывать» [17, I, с. 137—138]. Приходится допустить, что здесь в славянский вторглась кентумная норма, что, впрочем, наблюдается и в некоторых других случаях (явление перекрестных изоглосс).

2. Если бы слав. **bergti* относилось к славо-германским изоглоссам, оно с максимальной активностью выступало бы в западнославянских языках и затухало бы к востоку. В действительности имеем диаметрально противоположную картину: в западнославянских слово вовсе отсутствует, а в восточных весьма активно [8]. Такое распределение более характерно для славо-иранских, чем для славо-германских изоглосс.

3. Значения «беречь» и «прятать» не так близки, как может показаться с первого взгляда. В глаголе «беречь» присутствует морально-оценочный момент, которого полностью лишен глагол «прятать». Беречь можно только ценное и дорогое, а прятать можно что угодно [9]. Но именно этот морально-оценочный (скажем даже — религиозно-оценочный) момент ярко выступает в семантике иран. **barg-*.

В данной связи нельзя обойти молчанием также литов. *gẽrbti* «чтить, почитать». Если верно, что мы имеем здесь метатезу из **bergti* [18, I, с. 190], то и литовское слово как нельзя лучше вписывается в наш этимологический ансамбль. Читатель мог заметить, что в семантическом кругу, который мы разбираем, наблюдается скольжение между значениями «чтить» и «беречь». В иранском преобладает первое, в славянском — второе. Литовский примыкает к иранскому и вместе с ним сохраняет, как нам представляется, более древнюю семантику. Это никого не удивит. Известно, как много архаичного и в лексике, и в семантике хранит литовский язык.

Нашу мысль можно резюмировать в следующих словах: если даже вост.-слав. **bergti* стоит в каком-то отдаленном родстве с германской группой, ближайшей родней для него как формально, так и по семантике следует признать иран. **barg-*, а также литов. *gẽrbti* (если из **bergti*).

Авест. *skarəna-* «круглый» — русск. *шар*

Одной из помех на пути к полному выявлению славо-иранских изоглосс бывает слишком жесткое применение принципа так называемого «звукового закона», унаследованное еще от времен младограмматиков. Теперь мы знаем, что звуковые законы нарушаются не только под действи-

---

[8] На западнославянской почве известно лишь отглагольное имя **borgъ*: польск. *bróg*, н.-луж. *brog* «стог» и пр. [18, 2, с. 202].

[9] Попробуйте в стихе «Пусть он землю бережет родную» вместо «беречь» подставить «прятать», или сделать то же самое в выражении «Береги честь смолоду», и вы почувствуете, как далеки друг от друга эти глаголы.

ем аналогии, но и в целых разрядах лексики, таких, как экспрессивные слова, идеофоны (звуковая символика), слова «детской» речи, попадающие в язык взрослых, и др..

Иногда видимое «нарушение» звуковых законов объясняется явлением, которое мы называем перекрестными изоглоссами. Сущность этого явления сводится в двух словах к следующему. Если в группе родственных языков один или несколько из них характеризуются определенной фонетической особенностью, специфической для них, проходящей через весь или почти весь их материал, то мы вправе ожидать, что и в любом другом языке этой группы могут наблюдаться отдельные, единичные случаи этой же фонетической особенности. Иными словами, то, что в одном языке проявляется как «закон», в другом — как «исключение» [19]. Вот примеры. По тому, как ведут себя палатализованные заднеязычные, и.-е. языки делятся на две группы: kentum и satəm. Но в балтийских и славянских языках, которые относятся к группе satəm, мы находим отдельные «вкрапления» по норме kentum, например, *svekrъ* (вместо ожидаемого **svesrъ*). Переход *l* → *r* (ротацизм) характерен для индоиранской группы и.-е. языков. Но по крайней мере в одном случае славянский отдает дань тому же ротацизму: в слове *rysь* «lynx» (вместо ожидаемого **lysь*). Одни и те же фонетические тенденции могут быть заложены во всех языках данной группы. Но в одних они реализуются последовательно, сплошняком, в других — лишь частично, в единичных случаях.

Группа *sk* перед *a*, *o*, *u*, как правило, сохраняется и в германском, и в славянском. Но в некоторых германских языках имело место развитие *sk* → *š* (*sch*), например, и.-е. **pisk-*, нем. *Fisch* и т. п. Такая тенденция могла существовать и на славянской почве. И, если мы не ошибаемся, она реализовалась по крайне мере в двух случаях: в словах *шар* и *шарить*.

Русск. *шар*, болг. *шар* не имеет надежной этимологии [20, S. 374]. Возведение к **skaro-* выводит его из изоляции. Ср. авест. *skarəna-* «круглый» [10]. Если исходить из и.-е. базы **sk*^{w}*har-*, то сюда же греч. σφαῖρα «шар».

Русск. *шарить* сближается с осет. *skaryn* «шарить» [17, III, с. 117 и сл.]. Предполагать заимствование из нем. *scharren* нет необходимости.

Развитие *sk* → *š* в славянском подтверждается и некоторыми другими (не-иранскими) этимологиями. Так, слав. *šętati*, русск. *шатать*, *шататься* правомерно сближается с литов. *skàsti* «прыгать», *skatýtis* «шататься, бродить» [20, III, S. 379]. Русск. *Польша* — непосредственно из *Polska*, а не из местн. пад. *w Polszcze* [20, II, S. 401].

Авест. *fravi-* — ст.-слав. *pravъ* «правый»

Авест. *frašna-* — ст.-слав. *prašta* «праща»

К сожалению, значение авестийских слов не выявляется в тексте с достаточной точностью, и поэтому приведенные сопоставления хромают на одну ногу. Авест. *fravi-* встречается дважды как определение к *gaēϑa-* «мир» (Ясна 57.15; Яшт 10.103). О божествах Срауша и Митра говорится, что они являются «хранителями и стражами» (*harətar-*, *aiwyāxštar-*): *vispayå fravoiš gaēϑāya* «всего . . . . . мира». Бартоломэ переводит (под вопросом) «Gedeihen» [6, S. 991], Гершевич — «promotion», Дармстетер — «mobile» («le monde mobile») [7, I, p. 363]. В других случаях в аналогичных контекстах вместо *fravoiš gaēϑāya* мы находим *ašahe gaēϑānąm* «мира Правды», например, Ясна 57.17, Яшт 19.48—50: *ϑrāϑrāi ašahe gaēϑānąm* «для охраны мира Правды». Естественно думать, что сочетание *fravi-gaēϑa-* по значению близко к *ašahe gaēϑā-* и означает нечто вроде «праведный мир» («хранитель и страж всего праведного мира»). И если так, то сопоставление авест. *fravi-* — ст.-слав. *pravъ* само собой напрашивается.

Авест *frašna-* является названием какого-то оружия, изготовляемого целиком или частично из серебра (*ərəzata-*) (Яшт 10.112). Звуковая и се-

---

[10] О краткости корневого *a* в авестийском см. выше.

мантическая близость к ст.-слав. *prašta* вряд ли случайны. Но это — все, что можно пока сказать[11].

Авест. *spa-* «кидать, метать»[12]

Быть может, следует возводить к арийск. **śva-*, **śav-* и сближать со ст.-слав. *sovati*, русск. *совать*, др.-русск. *sovati* «метать (копье)», чеш. *souvati* «двигать» и пр., литов. *šáuti* «совать (хлеб в печь)» и пр. [20, II, S. 687].

Авест. *Vayu* — укр. *Вій*

В другом месте мы пытались показать, что известный в Ригведе и Авесте бог ветра *Vāyu-* не является исключительным достоянием индоиранского мира. Он оставил след также в латинском, балтийском и славянском [22; 11, с. 112]. Ср. лат. *Vēdius* «пастушеский Аполлон» < *Vējus-dius* «бог *Vējus*», *Vēdiovis* бог мести (инфернальное божество) < *Vējus-diovis*, др.-прусск. *Wéjopatis* «владыка Ветер», укр. *Вій* (< общеслав. **Vějъ*), демон смерти в известной повести Н. В. Гоголя, основанной на украинском фольклоре[13].

В чем же, в таком случае, заключается специфичность параллели авест. *Vayu-* — укр. *Вій*? В том, что и там, и тут бог Ветра выступает как бог Смерти. Эта функция в ведийском *Vāyu-* не распознается.

Будучи олицетворением такой, зачастую разрушительной, стихии, как ветер, *Vayu* потенциально нес в себе черты деструктивного божества, кога войны и демона смерти. Шведский иранист С. Викандер в монографии, посвященной авестийскому *Vayu*, показал это с полной убедительностью. (О *Vayu* как боге смерти см. [24, S. 33, 76, 79, 95, 96 и сл.]).

Особенно ярко зловещая природа *Vayu* раскрыта в авестийском тексте «Aogmadaēča» 77—81. Содержание этого текста сводится к следующему. Человек может успешно пройти через все опасности и испытания: встречу с драконом, медведем, страшным разбойником, даже целым враждебным конным войском. Роковым для него бывает только встреча с неумолимым *Vayu*. Тут ему нет спасенья.

В статье «Образ Вия в повести Н. В. Гоголя», опубликованной в 1958 г. в сборнике «Русский фольклор» (Т. III), я высказал мысль, что заключительная сцена «Вия» есть не что иное, как украинский фольклорный вариант этой же темы. Семинарист Хома Брут, вынужденный ночью сторожить труп убитой им панночки-ведьмы, успешно отбивается заклинаниями от «несметной силы чудовищ». Но стоит появиться Вию, как он падает замертво.

Комментируя текст Яшт 15.52—54, где описывается внешность *Vayu*, Викандер замечает: «Nun wird... Vayu § 52 ff als Todesdämon geschildert der die Menschen bindet und wegschleppt. § 54 wird er in mensohlicher Gestalt, aber auch sehr drastisch dargestellt: mit breiten Huften, mit breiter Brust, *anāxrviδa*-augig». Так же «drastisch» рисуется Вий у Гоголя: «...приземистый, дюжий, косолапый человек... длинные веки опущены были до самой земли». Последняя деталь в облике Вия побуждает остановиться на прилагательном *anāxrviδa*, которое в Авесте относится к глазам *Vayu*. Это слово считается неясным [6, S. 122]. Быть может, из **an-ākravida-*, где **ākra-* — производное от *ākā-* «manifestus», «видимый» [6, S. 309]. В этом случае *an-āxrviδa-dōiθra-* могло бы означать «с невидимыми глазами», что напоминало бы опущенные до земли веки Вия.

---

[11] По мнению О. Н. Трубачева (в письме), славянское и иранское слова могут заключать одну и ту же основу **prask*-звукоподражательной природы.

[12] Об этом глаголе см. [6, 1615—1616; 12, p. 235, 236].

[13] «Вій есть колоссальное создание простонародного воображения. Вся повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал» [23]. Эти слова Гоголя дали нам право по-новому прочитать повесть «Вий» как украинский фольклорный текст, подлежащий истолкованию в рамках сравнительной индоевропейской мифологии.

Одним из важных результатов исследования Викандера является вывод о тесных связях мифологического цикла *Vayu* с северноиранским, скифо-сакским миром, конкретно с племенем упоминаемого в Авесте скифа Фрианы. Викандер отмечает «...viele Übereinstimmungen zwischen den. Vayu-Abschnitten des Awesta und den nordiranischen Dialekten, besonders dem Skythischen» [24, S. 89]. Но если так, то мы вправе ожидать встречи с *Vayu* на скифской и на осетинской почве. Эти ожидания оправдываются.

Один из скифских богов звался Οἰτόσυρος. Геродот отождествляет его с греческим Аполлоном. Форма Οἰτόσυρος не поддается удовлетворительной этимологии. Но если исправить на Οἰγόσυρος (буквы Т и Г в маюскульном написании легко смешивались, ср. два варианта имени скифской «Афродиты», Ἀρτιμπασα и Ἀργιμπασα), то это имя без натяжки раскрывается в «*Wayuka-sura-* «могучий *Wayuka*» [14]. Тем самым сопоставление укр. *Вій* — иран. *Vayu* приобретает еще большую убедительность, так как оно включается в обширный список славо-скифских изоглосс.

В заключение — небольшой экскурс несколько в сторону от нашей основной темы. Дважды в ходе нашего изложения *Vayu* оказывался двойником греческого Аполлона: лат. *Vēdius* (*-Vējus-dius*), глоссируется Ἀπόλλων νόμιος «пастушеский Аполлон» [26]; скиф. Οἰγόσυρος (*-Wayuka-sura*) Геродот IV 59, отождествляется с греческим Аполлоном.

Случайно ли это?

Разумеется, в Аполлоне классического периода трудно найти что-либо общее с грозным иранским богом ветра. В нашем привычном представлении Аполлон — бог лучезарный и прекрасный (перед глазами встает образ Бельведерского изваяния), покровитель муз («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»). Дело, однако, в том, что Аполлон не всегда был таким. Этот бог едва ли не самый многоликий в истории греческой мифологии. Многолик и индоиранский *Vayu*. В разные периоды и в разной среде они приобретали самые различные, то благие, то устрашающие функции и манифестации. И в этой сложной истории двух мифологических образов есть моменты, когда они сближаются, и Аполлон поразительно напоминает иранского *Vayu*. Его образ «включает архаические и хтонические черты догреческого и малоазийского развития; отсюда разнообразие его функций — как губительных, так и благодетельных, сочетание в нем мрачных и светлых сторон». Подобно *Vayu* «образ Аполлона соединяет небо, землю и преисподнюю». В нем выступают «черты темных, стихийных сил», так же, как в *Vayu*. «На поздней ступени архаики он — демон смерти... Своим появлением на Олимпе он внушает ужас олимпийским богам» [27].

Эти и другие сходные черты позволяют думать, что в своем генезисе образы *Vayu* и Аполлона были весьма близки. Правда, аполлоновский цикл греческой мифологии, насколько можно судить, не содержит прямых указаний на связь этого бога со стихией ветра. Но, может быть, мы просто недостаточно знаем предысторию его образа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абаев В. И.* Миф и история в Гатах Зороастра.— Историко-филологические исследования. Сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада. М., 1974.
2. *Абаев В. И.* Скифский быт и реформа Зороастра.— АО, 1956, № 24.
3. *Абаев В. И.* Зороастр и скифы.— Acta Iranica 6. Monumentum Nyberg, III. Téhéran-Liège, 1975.
4. *Bailey H. W.* Zoroastrian problems in the ninth-century books. Oxford, 1943, p. 168 и сл.
5. *Gnoli Ch.* Zoroaster's time and homeland. A study on the origins of Mazdeism and related problems. Naples, 1980.
6. *Bartholomae Chr.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (сокращенно AiW).
7. *Darmesteter J.* Le Zend-Avesta. Traduction nouvelle avec commentaire historique et philologique. I—III. Paris, 1892—1893 (сокращенно ZA).
8. *Schlerath B.* Awesta-Wörterbuch. Vorarbeiten, I—II. Wiesbaden, 1968.

[14] Раннее озвончение глухих смычных, в частности $k \rightarrow g$, одна из характерных особенностей скифо-сарматских наречий [см. 25].

9. *Gołąb Z.* The initial *x-* in common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-Iranian contacts. VII Międzynarodowy Kongres slawistów w Warszawie 1973. Streszczenia referatów i kommunikatów. Warszawa, 1973, s. 30—32.
10. *Pohl H. D.* Onomastica Slavoiranica.— Osterreichische Namenforschung, 1979, № 2, S. 10—29.
11. *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965.
12. *Kellens J.* Les noms-racines de l'Avesta. Wiesbaden, 1974.
13. *Абаев В. И.* Геродотовские *Skythai geōrgoi*.— ВЯ, 1981, № 2.
14. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979, p. 298—299, 47.
15. *Geldner K.* Studien zum Awesta. Hf. 1. Strassburg — London, 1882, S. 35—36.
16. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologishes Wörterbuch. Bern, 1959, S. 145.
17. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958; Т. II, Л., 1973; Т. III, Л., 1979.
18. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 1. М., 1974; Вып. 2. М., 1975.
19. *Абаев В. И.* О перекрестных изоглоссах.— В кн.: Этимология 1966. М., 1968.
20. *Vasmer M.* Russisches etymologisches Wörterbuch. V. I—III. Heidelberg, 1950—1958.
21. *Горяев Н. В.* Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896, с. 418.
22. Mélanges Benveniste. Paris, 1975, p. 3—5.
23. *Гоголь Н. В.* Избранные произведения. М., 1948, с. 149.
24. *Wikander S.* Vayu. Uppsala-Leipzig, 1941.
25. Основы иранского языкознания. Т. I, М., 1979, с. 330.
26. *Ernout—Meillet.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1939, p. 1078.
27. *Лосев А. Ф.* Аполлон.— Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. I. М., 1980, с. 92—95.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

АНДРЕЕВ Н. Д., СУНИК О. П.

О ПРОБЛЕМЕ РОДСТВА АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ И МЕТОДАХ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Материальная и типологическая общность алтайских языков, выявленная языковедами-алтаистами, относится ко всем сторонам структуры этих языков — фонетике, морфологии, синтаксису и лексике.

Известны два подхода к решению проблемы происхождения алтайской общности: 1) сравнительно-исторический, исходящий из генетического родства данной семьи языков; 2) историко-типологический, не признающий родства этих языков или считающий его недоказанным. Подходы эти не исключают, а во многих случаях дополняют друг друга.

Иногда первое из указанных направлений называют традиционной, или ортодоксальной, алтаистикой, представленной известными трудами Б. Я. Владимирцова, З. Гомбоца, Г. И. Рамстедта, Н. Н. Поппе, М. Рясянена, К. Менгеса и ряда других компаративистов [подробнее см. 1—2]. Второе направление называется при этом неоалтаистическим, и основоположником его признается В. Л. Котвич [3, с. 5 и сл.], поставивший в своем посмертно изданном труде под сомнение существование общего алтайского языка. Семью алтайских языков он считал основанной не на генетических связях, а на типологических сходствах [4, с. 351—353].

Не отрицая крупных достижений ортодоксальной алтаистики, Г. Д. Санжеев подчеркивал, что применение сравнительно-исторического метода в алтаистике «показало и доказало возможность его применения и тогда, когда при его помощи изучаются явления в языках, которые не являются изначально родственными» [3, с. 17].

Разногласия между ортодоксальными алтаистами и неоалтаистами при этом признаются м н и м ы м и: общие элементы алтайских языков можно считать либо достоянием алтайского праязыка, либо «принадлежностью неизвестного пока происхождения» [3, с. 16].

Напомним, что применение сравнительно-исторического метода возможно только в отношении генетически родственных языков. Возможность применения этого метода — свидетельство родства, каким бы проблематичным и отдаленным оно ни было.

Так этот вопрос освещается многими «ортодоксальными» алтаистами, в том числе и такими, которые не считают проблему происхождения алтайской общности окончательно выясненной, указывая на особые трудности ее безупречного решения.

Главной из этих трудностей, как неоднократно писал Л. Лигети, является нелегкая задача разграничения элементов возможной генетической общности, следы которой обнаруживаются во всех алтайских языках, и элементов общности вторичной — результата многочисленных взаимозаимствований, происходивших на протяжении многих веков контактного развития алтайских племен и народов. «Не подлежит сомнению,— подчеркивал Л. Лигети,— что в своих сравнительно-исторических исследованиях мы должны опираться только на тот языковой материал, который в отдельных языках может рассматриваться как непосредственное продолжение алтайского языка-основы» [5, с. 135].

В статье, посвященной критике несостоятельной попытки Дж. Клоусона опровергнуть алтайскую теорию с помощью лексикостатистики [6], Л. Лигети указывал: «... именно в случае генетического родства различные алтайские языки дадут чрезвычайно низкий процент общих элементов алтайского „основного словаря“ (иначе — „базисной лексики“. — *А. Н., С. О.*) и чрезвычайно высокий процент элементов, относящихся к лексике после отделения языков» [7, с. 33].

Известно, что в отличие от близкого родства групп (ветвей) алтайских языков — тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской — предполагаемое родство всех алтайских языков, включая корейский, японский и, возможно, некоторые другие, может быть только весьма отдаленным, т. е. существование протоалтайского языка и время его распада следует относить по крайней мере к 8—10 тыс. до нашей эры, к эпохе палеолита и ранних форм первобытнообщинного строя [1, с. 27]. Гипотетический протоалтайский язык не мог существенно не отличаться от засвидетельствованных современных и древних алтайских языков и по своему лексическому составу, и по своему грамматическому строю (изолирующий, безаффиксальный строй). Опыты реконструкции такого состояния протоалтайского языка, отразившегося в исторически засвидетельствованных группах, сопряжены с большими трудностями и не могут проводиться без опоры на имеющиеся опыты реконструкции раннего состояния, например, и.-е., и, возможно, других групп языков. Реконструкции такого рода необходимы для доказательства родства языков и исследования последующих состояний их эволюции. Они должны охватывать все стороны структуры языка в их материальных формах и идеальных значениях, в системе и взаимодействии всех элементов языковой структуры.

Иные пути решения проблемы предлагает Г. Дёрфер. Его дискуссионная статья [8] представляет собой далеко не новую в принципе попытку решить алтайскую проблему посредством сличения некоторой весьма ограниченной по объему части лексики из трех групп засвидетельствованных алтайских языков — слов, относящихся к названиям частей тела и включаемых в слой так называемой базисной лексики, противопоставляемой лексике культурной — типа *автомобиль*, *телефон*, *султан*, а также *дом*, поскольку «примитивные народы не имеют понятия „дом“ и вообще „жилище“» [8, с. 35].

Полагая, что только культурный слой лексики связан с определенными явлениями культуры и поэтому легко и часто заимствуется, Г. Дёрфер противопоставляет этот слой лексики лексике базисной, не связанной, по его мнению, с определенной культурой («слова, общие для всех людей»), и, видимо, поэтому не заимствуемой ни легко, ни часто.

Понятие «культура» трактуется здесь внеисторически, без всякого учета р а з в и т и я материальной и духовной культуры, получающей свое отражение в языке, в различных слоях его лексики. Ведь в разные эпохи (от палеолита до НТР) понятие культуры, как и сама культура, а также слои культурной лексики значительно изменялись. Изменялось и соотношение различных слоев лексики, изменялись также пути и масштабы лексических заимствований. При опытах восстановления (даже самых общих и предварительных) праязыковых состояний различной исторической глубины понятия и слова, присущие культуре цивилизованных народов, особенно народов современных, в эпохи первобытных культур механически переносить не следует. Ни автомобиля, ни телефона, ни султана, а, возможно, и дома-жилища (в нашем понимании) в эпохи существования гипотетического протоалтайского языка не было. Не могло быть поэтому и подобных заимствований. А когда они появились, никто такие заимствования при сравнительно-историческом изучении алтайских языков в расчет не принимал. Вошедшие в современные тунгусские языки народов СССР и фиксируемые в некоторых двуязычных словарях сотни слов типа *кинотеатр*, *телефонист(ка)*, *дом культуры*, *теплоход*, *теплица*, *телятник*, *телевизор*, *телеграмма* и т. п., «поясняемые» такими же словами из русского, при характеристике дореволюционного состояния лексики этих в прошлом бесписьменных языков, их самобытной культурной и базисной лексики, в расчет не берутся. Не принимаются они в расчет и при сравнительно-сопоставительном или сравнительно-историческом изучении этих языков, хотя некоторые другие лексические заимствования отмечаются (см., например, [9, с. V]).

Не могут приниматься в расчет лексические заимствования (если это заимствования) и для более ранних эпох обособленного развития отдельных языков или диалектов, особенно если эти заимствования производи-

лись из неалтайских языков или обособленных групп алтайских, имеющих в силу разных причин лексические различия, не сводимые к общеалтайским протолексемам.

Культура (пусть в самых архаических или примитивных формах) была на всех этапах развития тех или иных этнических общностей, говоривших на тех или иных языках. Была, следовательно, и лексика, отражавшая эту культуру. Но соотношение между слоями культурной и базисной лексики могло быть принципиально иным, и при надлежащих условиях были возможны любые заимствования или смешения архаических языков. То, что входило в архаические языки этнических общностей с крайне примитивной культурой, становилось общим достоянием этих общностей и их языков, независимо от того, были ли это самобытные («свои») слова или слова заимствованные. Нелегко отделить элементы генетической общности от элементов вторичной общности в высокоразвитых языках, каковыми являются все засвидетельствованные алтайские. Еще труднее отделить эти элементы на уровне возможных заимствований в групповых праязыках — пратюркском, прамонгольском, пратунгусском, если их можно было бы реконструировать автономно, без посредства алтайской теории или хотя бы надлежащего учета материалов и исследований по всем группам алтайских языков. Пока этого не получается даже в качестве первичной рабочей гипотезы, как об этом писал А. Н. Кононов в отношении тюркских языков [10, с. 22; 1, с. 27—28].

По-видимому, невозможно разграничить и выделить культурный слой и базисный слой лексики в архаическом общеалтайском языке, получившем, как предполагается, свое продолжение во всех известных алтайских языках в качестве элементов их общего праязыкового наследия. Маловероятно и отделение лексики исконной от лексики заимствованной на ранних уровнях праязыков групповых и общеалтайского, даже если воспользоваться приемом выделения культурной и базисной лексики в засвидетельствованных алтайских языках. Слов, которые были бы «общими для всех людей» и которые не были бы как-то связаны с определенной формой культуры, по-видимому, не бывает, как не бывает естественных языков, не связанных так или иначе с культурой на том или ином уровне ее развития. Язык — одна из форм выражения культуры, одно из средств ее развития и распространения.

Относя названия частей тела только к лексике базисной, Г. Дёрфер утверждает, что эти названия не заимствуются и поэтому являются весьма доказательными для установления родственных связей языков [8, с. 35].

Для подтверждения этого довольно сомнительного заключения автор ссылается на два противоположных вывода 10 происхождении алтайской языковой общности, построенных на анализе названий частей тела: 1) языки эти имеют много общих названий для частей тела, и поэтому они родственны (У. Пош), 2) в языках этих почти нет общих названий для частей тела, поэтому они неродственны (Дж. Клоусон).

Оставляя без конкретного разбора эти выводы и материалы, на которых они построены, Г. Дёрфер указывает, что его взгляды на проблему не совпадают ни с одним из мнений указанных авторов. Впрочем, методы Дж. Клоусона, ошибочность которых уже была показана Л. Лигети [7] и рядом других лингвистов, особенно японистом-алтаистом Н. А. Сыромятниковым [11, с. 53 сл.], Г. Дёрфер считает только «недостаточными» и стремится усовершенствовать их. Для этого он рассматривает сначала в общелингвистическом, а затем в алтаистическом плане некоторые названия частей тела, внося при этом значительные изменения в свое уже упомянутое выше заключение о невозможности заимствования названий частей тела.

Так, материалы тюркских языков Ирана, испытавших сильное влияние персидского и ставших смешанными, показывают, что определенная часть названий — всегда слова тюркского происхождения, другая часть заимствована из иранских: *këz* ~ *gëz* «глаз» (тюрк.), но *muža* «ресница» (иран.), *hadaq* ~ *ajag* «нога» (тюрк.), *pāšna* «пятка» (иран.) и т. п. Ссылаясь

на анализ еще 14 смешанных языков, в том числе некоторых алтайских — якутского, солонского, дагурского, маньчжурского,— автор находит, что и в этих языках не заимствуются такие слова, как *глаз*, но могут заимствоваться такие, как *бровь* или *ресница*. Из подобного рода наблюдений Г. Дёрфер делает выводы «качественного характера»: названия частей тела, которые «обычно никогда не заимствуются или заимствуются очень редко», он именует ядерными базисными словами (ЯБС), названия же, которые заимствуются довольно часто,— периферийными базисными словами (ПБС) [8, с. 37].

Автор этого деления не скрывает того, что между ЯБС и ПБС нет четкой границы и что «названия частей тела представляют собой скорее континуум» [8, с. 37].

Таким образом, вместо незаимствуемых базисных слов — названий частей тела — и поэтому весьма доказательных, как утверждалось ранее, для установления языкового родства, перед нами две группы названий: ЯБС, которые заимствуются редко, и ПБС, которые заимствуются часто. Четкой границы между ними нет. И хотя Г. Дёрфер предлагает затем четыре критерия для разграничения ЯБС и ПБС, основной его тезис об исключительной важности названий частей тела для установления или опровержения родства языков оказывается крайне шатким. Это знали и некоторые предшественники Г. Дёрфера, пытавшиеся определять родство языков по «лексическому признаку» на основании слов, не имеющих якобы отношения к культуре и обладающих поэтому особой исторической устойчивостью.

Но такая устойчивость, отмечал, например, китаист С. Е. Яхонтов, как и возможность заимствования,— понятие относительное: «любое слово может изменить значение или даже вообще выпасть из языка, будучи вытеснено синонимом..., как это произошло в историческое время с названием глаза в русском языке, головы — во французском, солнца — в китайском» [12, с. 111].

Можно предполагать, что подобные выпадения, замены или заимствования происходили и во времена доисторические. Если была насущная необходимость, такие названия могли создаваться не только своими средствами, но и заимствоваться у соседей. Следует иметь в виду, что в первую очередь назывались видимые, наружные, а не внутренние части тела, и названия эти далеко не всегда были изначально собственно анатомическими. Но это — особая историко-семасиологическая (а не «лексикостатистическая») проблема и решать ее попутно с проблемой лексических заимствований едва ли возможно.

Пока же следует сказать, что заимствоваться, подобно культурной лексике, могла и лексика базисная, будь она ядерной или периферийной. И не только лексика. Свидетельством этому могут быть прежде всего заимствования в исторические времена. Известно, что некоторые тюркские языки, особенно турецкий, развивались в свое время под влиянием арабского и отчасти персидского. Наряду с культурной лексикой в турецкий входили и осваивались им вплоть до кемалистской революции многочисленные пласты арабской лексики [13]. Современные словари фиксируют немало арабизмов и из области названий частей тела, преимущественно ЯБС. Наряду с тюрк. *göz* «глаз, око; зрение; взгляд, взор» и т. д. — *ayn* (араб.); ср. тюрк. *baş* «голова́; с *reis* (араб.) «глава, начальник»; наряду с тюрк. *yürek* «сердце; душа» — *kalp* (араб.) и некот. др. [14].

Выходя за рамки алтайских языков, можно сослаться и на многочисленные арабизмы в современном персидском языке [15]: *эйн* «глаз» наряду с перс. *чäшм*; *рä'с* «голова; глава, начальник» наряду с перс. *сäр*; *йäд* «рука» наряду с перс. *дäст*; *шä'р* «волос(ы)» наряду с перс. *му(й)*; *ʔгäлб* «сердце» наряду с перс. *дэл* и др.

Характерно, что в числе такого рода разноязычных по происхождению синонимов (не полных, конечно) чаще употребляются ЯБС, а не ПБС. Обильные заимствования, характерные для соответствующих литературных языков, в речи образованных носителей языка употребляются, по свидетельству специалистов, довольно часто, иногда и в различного рода

устойчивых словосочетаниях: *сэктэ-йе ґäлбӣ* «сердечный приступ; инфаркт»; *сäд рä'с гусфäнд* «сто голов овец» (*рä'с* «голова» — как нумератив, счетное слово); турецкие терминологизированные словосочетания: *kalp atması* «сердцебиение», *kalp bilgisi* «кардиология», *kalp hastalığı* «сердечное заболевание» и т. п.

Можно, конечно, части тела разделять, как предлагает Г. Дёрфер, на видимые (наружные) и невидимые (внутренние), на более важные и менее важные и т. п. Но прямого отношения к решению алтайской проблемы подобное деление, по-видимому, не имеет. Не даст оно чего-либо надежного и для освещения вопроса о заимствованиях. При определенных условиях, например, в случаях массового и длительного двуязычия, при экономических, культурных и других контактах заимствоваться может любое слово, не исключая служебные слова и даже некоторые морфемы — корни и аффиксы. (Заимствуются при этом, конечно, с л о в а, а не изолированные корни или аффиксы.)

В плане общелингвистическом не подтверждают выводы Г. Дёрфера и известные факты русского языка. Относительно новое *глаз* из периферийного и не связанного исторически с анатомической лексикой — *glazъ* «шарик; камешек» и т. п. [16, I, с. 409] употребляется наряду с менее частотным слав. *око* (ср. *ок-но*, *оч-и*, *оч-к-и*, *оч-к-о*, *оч-н-ый* и т. п., а также заимствованное *окуляр(ы)*, *окулист*). И новое *глаз*, и старое *око* употребляются в составе многих фразеологизмов (*не в бровь, а в глаз*; *видит око, да зуб неймет*; *нужен глаз да глаз* и т. п.).

Наличие русск. *голова*, ст.-слав. *глава* не явилось препятствием для такого, например, относительно позднего заимствования, как *башка* (в современных словарях с пометой «разг.», «простореч».) из тюрк. *baš*- «голова», *baš-ka* «за голову» (дат. п. ед. ч.) (при покупке скота) [16, I, с. 139], производное *башковитый* (умный), *умная б.*, *тупая б.*, *свернуть б.*, и т. п., *баш на баш* «ровно столько же, так на так» (при обмене) [16, I, с. 138]. Ср. еще разг. *тет на тет* (*tête-á-tête*) наряду *с глазу на глаз*. Имеется немало стилистически разговорных замен для «головы» (*котелок*, *черепок*, *кочан*, *кумпол* и т. п.). Установить в подобных случаях, что здесь ЯБС и что ПБС, не очень просто. А подобного рода синонимические замены (особенно в разговорной речи и иногда в художественной литературе) имеются почти для всех ЯБС из частей тела. Возможно, что из такой замены произошло и совр. русск. *глаз* (ср. еще *зеньки* < *зеница* = *зрачок*, *глазное яблоко*, *шáры*, *бульки*, *гляделки* или даже *фáры*). При устоявшейся норме литературных языков подобные замены обычно остаются на уровне речи, на периферии языка. Но в языках дописьменных (особенно на уровне праязыков) ничто не препятствует возможным заменам, выпадениям, заимствованиям и т. д. Не свидетельствуют ли об этом случаи генетически не сводимых однозначных слов, в частности, из названий частей тела, встречающиеся в безусловно родственных языках и в языках, родство которых вполне вероятно, но еще безупречно не доказано? Ср. общетунг. *дил(и)* ~ *ǯил* «голова», но маньчж. *ўзу* «голова; глава, начало», *ўзу-и* «главный, первый» и т. п. из **ургу* «мозг (головной)», тунг. *иргэ* ~ *илгэ* ~ *иггэ* ~ *ӣгэ* ~ *ӣзэ* ~ *ӣдэ* и т. п. «головной мозг» [17, с. 272]. Выпавшее в маньчж. *дил(и)* сохранилось лишь в *ǯили* ~ *гили* «основание рогов у оленя», а ПБС *ўзу* стало «ядерным».

В современных тунгусских языках народностей СССР наряду со своим *дил(и)* «голова» широко употребительны и вошли в некоторые словари *глава* «раздел книги, рукописи», производные *оглавление*, *заглавие*, *заголовок*, *главный* (врач, бухгалтер и т. п.), *главнокомандующий*.

Общетунг. *йасал(и)* ~ *насал* (**йа-са-ла*) «глаз(а)», наряду с которым в отдельных эвенк. говорах употребляется заимствование из монг. языков *н'ундун*, то же солон. *нидо* ~ *нидэ* (ср. бурят. *нюдэн* «глаз(а)»), ср. также удэг. *ни-ǯигэ* «радужная оболочка глаза», маньчж. *н'он'о* (*ниониo*) «зрачок, зеница ока» [17, с. 280]. В эвенк. восточных говорах для названия глаза употребляется якутизм *килатар* (якут. *кылытар* «зрение»), *кӣламан* «зрачок. ресница(ы)» (якут. *кыламан* «ресница, веко»).

По-разному именуется зрачок: солон. *анахан*- «щель», ульч. *сахариқ*-

та (*сахарин-* «черный»), маньчж. *фаха* «ядро, косточка», *н'он'о, н'он'о фаха* «зрачок, глазочек» и т. п. [17, с. 281].

В современных тунгусских языках употребляются и некоторые заимствования из русского: ульч. *исал(и)* «глаз(а)», но *глазной* (врач, кабинет), нан. *насаптун-* «очки» («наглазники»), но также из русск. *очки*, *очко*, *заочный*.

Названия частей тела в тунгусо-маньчжурских языках и в языках алтайских, взятых в целом, были уже предметом специального сравнительного изучения [17, с. 71 сл., с. 257 сл.]. Г. Дёрфер не обратил на эти работы внимания, ограничившись лишь упоминанием статей У. Поша и Дж. Клоусона. Указанные авторы не могли учесть материалы и исследования В. Д. Колесниковой, на работы которой мы ссылались [17, 18]. В отличие от У. Поша и Дж. Клоусона, Г. Дёрфер, несомненно, знакомый с исследованиями В. Д. Колесниковой, предпочел сравнительному изучению интересующей его лексики из области названий частей тела совершенствование «слишком простой» методы Дж. Клоусона, носившей «чисто количественный характер» [8, с. 43]. Оперируя по преимуществу цифровыми данными (а не собственно лингвистическими материалами) из 14 очень разных, но смешанных языков (из различных групп), Г. Дёрфер, как он полагает, пришел к некоторым качественным выводам с помощью таких понятий, как «культурный слой» и «базисный слой» лексики, выделяемый в высокоразвитых языках современных народов, «ядерной», «периферийной» и «промежуточной» лексики в базисном слое.

Такого рода качественные статистические выводы (в процентах или в абсолютных цифровых данных) привели автора к основополагающему синтетическому выводу: названия частей тела, относящиеся к ЯБС, в современных алтайских языках (тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских) не совпадают. Процент совпадения по всем трем группам будет равняться нулю, в то время как в языках индоевропейских он составляет 81,8%, в картвельских — 63,7%, в семитских — 100% и т. д. Следовательно, проблемой родства алтайских языков можно больше не заниматься... [8, с. 42].

На методах установления этих показателей по материалам и.-е. языков мы остановимся особо. Здесь же напомним, что по данным, полученным В. Д. Колесниковой, некоторые соответствия между названиями частей тела в различных группах алтайских языков все же имеются, а то, что такие названия Г. Дёрфер не включает в ранг ЯБС, для далекой истории этих языков и определения природы их общности решающего значения не имеет. Таким образом, проблема остается, и ею не только можно, но и нужно заниматься.

В самом деле, может ли сопоставление 11—16 названий частей тела дать какие-либо качественные выводы, если количество наименований частей тела по отдельным языкам каждой из групп (тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской, а также корейской) составляет, по подсчетам В. Д. Колесниковой, в среднем 200—300 слов, а в тунгусо-маньчжурской группе их выявлено (с учетом синонимов, вариантов, заимствований и т. п.) свыше 600 [17, с. 71]?

Выявлено несколько десятков такого рода слов, имеющих общие корневые элементы во всех группах алтайских языков. К ним относятся названия «головы», «лица», «носа», «рта», «глаза», «уха», «затылка», «шеи», «груди», «плеч», «спины», «конечностей (рук, ног)» и некот. др. [17, с. 71]. Характерно, что из многочисленных тунгусо-маньчжурских названий частей тела более 40 возводятся к общеалтайским корням, имеющим соответствия во всех трех группах или только в двух [17, с. 257]. К общеалтайским, по полученным В. Д. Колесниковой данным, восходит около 20—25% названий, в их числе ЯБС **гар* «рука» («отрасль, ветвь, сук») и некот. др. Все это позволило В. Д. Колесниковой сделать вывод о, возможно, праязыковой природе названий частей тела и, следовательно, о вполне вероятной генетической общности алтайских языков [18, с. 151].

При сравнительно-историческом изучении лексики (а без такого изучения все цифровые данные не могут иметь серьезного значения) важны

не только прямые соответствия (рука — рука, нога — нога и т. п.), но и этимологические связи, семантические гнезда, словообразовательные модели исследуемых слов. Ср. монг. *гар* ~ *гар'и* «рука(и)», тюрк. *кар* «верхняя часть руки; плечо», *кар(и)* «локтевая часть; локоть», *гары* «берцовая кость; кость голени», *хара* ~ *хары(н)* «предплечье; лучевая кость; голень; локоть», *кари-ш* «пядь» и т. п.

Общетунг. **ŋāла* «рука(и)». Но указанные тюрк., монг. *гар* ~ *кар* соответствуют тунгусо-маньчж. *гара* «сук, ветка; уключина; отросток, член тела, конечности (руки или ноги)» и т. п. Ср. также монг. *гишун* «ветка, сук; член тела», тюрк. *кол* «рука, кисть руки; палец; ответвление; рукав» и т. п. Ср. еще кор. *кары-да* «подразделять», *сон-каран* «палец» (*сон* «рука»), т. е. «ответвление руки».

Справшивается, можно ли признать ЯБС со значением «рука» общеалтайским сквозным соответствием или обозначить его только «нулем», как это делает Г. Дёрфер во всех подобных случаях, совершенствуя лексикостатистический метод Дж. Клоусона?

Если в одних тунгусо-маньчжурских языках **пала-ган* обозначает «ногу, ступню, подошву» (то же в кор. *пал*), а в других «ладонь» (то же в монг. *алаҕан-*, *алга*), то разве это не свидетельство прочных этимологических связей и соответствий такого рода ныне весьма разных по значению слов?

Сопоставив два эвенк. ЯБС: *алган* «нога» и *бэгди* «нога», их соответствие нетрудно признать равным нулю, не говоря уже о соответствиях с другими алтайскими словами с тем же значением. Но при иных (не лексикостатистических) методах, давно принятых в компаративистике, могут быть обнаружены соответствия и для *пал-ган* «нога, подошва, ладонь», и для *бэгди* «нога(и)». Ср. маньчж. *бэт-хэ*, чжурчж. *pù-tih-hēi* «нога(и)», тюрк. *бут* ~ *пут* «бедро; нога человека; задняя нога (животного)».

Для названия носа в несомненно родственных тунгусо-меньчжурских языках имеется немало лексем, сведение которых к одному архетипу или пралексеме совершенно невозможно. Но если к вопросу подойти не только статистически, все может стать на свои места [см. 17, с. 283 и сл.].

Мы не думаем, что с помощью анализа одних только названий частей тела, даже взятых во всем их реальном объеме и исследованных не методами Клоусона — Дёрфера, а методами алтаистов-компаративистов, можно доказать или опровергнуть родство алтайских языков. Для этого необходимо куда более полное и всестороннее исследование и корневых, и служебных морфем как в несомненно родственных, так и в гипотетически родственных всех алтайских (и не только алтайских) языках.

Непрекращающиеся попытки заменить так называемую традиционную алтаистику (отдел сравнительного языкознания) «неоалтаистикой», или «синтетической алтаистикой»: Рамстедт — тезис, Клоусон — антитезис, Дёрфер — синтезис — ничего положительного, на наш взгляд, дать не могут. Нужно серьезное исследование алтайской проблемы, а не одни количественные или качественные подсчеты того, что лежит на поверхности фактов, вне их системных связей и исторического развития.

В заключение обратимся к некоторым фрагментарным явлениям наиболее основательно исследованных компаративистами и.-е. языков, следуя (с необходимыми коррективами) концепции, предложенной Г. Дёрфером для установления (resp. опровержения) родственных связей языков. Мы полагаем при этом, что родство и.-е. языков является научно обоснованным и окончательно доказанным.

Споры двух или нескольких ученых, если они придерживаются и по этому вопросу противоположных мнений, ни в коей мере не делают их мнения одинаково верными. Плюрализация истины авторам данной статьи представляется совершенно неприемлемой по многим методологическим соображениям.

Напомним еще раз, что рассматриваемая концепция Г. Дёрфера основывается на следующих посылках:

1) среди названий частей тела существуют ядерные базисные слова (ЯБС) числом 11 (а именно: «голова», «глаз», «ухо», «нос», «рот», «язык»,

«зуб», «волос», «сердце», «рука», «нога»), изучение которых позволяет устанавливать родство языков или его отсутствие;

2) если большинство ЯБС оказываются генетически сводимыми к единым архетипам, то исследуемые языки родственны друг другу;

3) если предыдущее условие не выполнено, то языки не родственны, и вопросом этим «можно больше не заниматься».

В качестве иллюстрации действенности своей методики Г. Дёрфер демонстрирует ее применение к и.-е. материалу, сравнивая немецкие, латинские и праславянские данные. При этом обращение к праславянским реконструкциям вызвано, очевидно, намерением проанализировать как можно более древний материал, диахронно близкий к латинскому; если так, то непонятно, почему вместо современных немецких слов в параллель к латинским формам и праславянским реконструкциям не были взяты древневерхненемецкие. Если же, напротив, имелось желание осуществить подсчеты на самом продвинутом языковом срезе, тогда непонятно, почему современным немецким словам не были поставлены в соответствие, допустим, русские и французские.

Выполним требуемое сравнение с должной диахронической корректностью, — как на уровне новых языков, так и на уровне древних (взяв для анализа пару новоанглийский/древнеанглийский, поскольку ранние памятники древнеанглийского языка заметно старше древневерхненемецких).

Для начала рассмотрим факты трех современных и.-е. языков:

	Русский		Французский		Новоанглийский
1.	*голова*		*tête*		*head*
2.	*глаз*		*oeil*		*eye*
3.	*ухо*	—	*oreille*	—	*ear*
4.	*нос*	—	*nez*	—	*nose*
5.	*рот*		*bouche*		*mouth*
6.	*язык*	—	*langue*	—	*tongue*
7.	*зуб*		*dent*		*tooth*
8.	*волос*		*cheveu*		*hair*
9.	*сердце*	—	*coeur*	—	*heart*
10.	*рука*		*main*		*hand*
11.	*нога*		*jambe*		*leg*

Таким образом, в этих языках наблюдаются только четыре сквозных соответствия из одиннадцати (№№ 3, 4, 6, 9), т. е. явное меньшинство, не подтверждающее, по Дёрферу, родства сравниваемых языков.

Картина слегка меняется, если обратиться к данным более древних состояний:

	Старославянский		Латинский		Древнеанглийский
1.	*глава*		*caput*		*heafod*
2.	*око*	—	*oculus*	—	*eāge*
3.	*оухо*	—	*auris*	—	*eāre*
4.	*носъ*	—	*nāsus*	—	*nōsu*
5.	*оуста*		*ōs*		*mūð*
6.	*ꙗзъкъ*	—	*lingua*	—	*tunge*
7.	*зѫбъ*		*dens*		*tōð*
8.	*власъ*		*pilus*		*hǣr*
9.	*срьдьце*	—	*cor*	—	*heorte*
10.	*рѫка*		*manus*		*hond*
11.	*нога*		*crūs*		*sconken*

Здесь мы видим уже не четыре, а пять сквозных соответствий (№№ 2, 3, 4, 6 и 9), что, впрочем, также представляет собой меньшинство, недостаточное, по Дёрферу, для доказательства родства этих несомненно родственных языков. Напомним, что, по подсчетам Г. Дёрфера, на и.-е. материале сквозные соответствия для ЯБС составили 81,8%.

Вдумаемся, однако, в тот факт, что количество сквозных соответствий изменилось за ту тысячу с лишним лет, которые отделяют современные данные от древних. Значит ли это, что в древности три сопоставляемых языка были более родственными, а теперь стали менее род-

ственными? Или это должно означать, что на протяжении веков уменьшилась степень их индоевропейского происхождения?

Сопоставляя приведенный русский список ЯБС со старославянским, французский с латинским, новоанглийский с древнеанглийским, мы обнаруживаем, что современные названия «базисных» частей тела в ряде случаев восходят к прежним названиям «небазисных»: так, франц. *bouche* «рот» произошло из лат. *bucca* «щека», франц. *jambe* «нога» — из народнолат. *gamba* «копыто», в других случаях новые ЯБС возникли из слов, вообще не денотировавших частей тела: русск. *глаз* — из слова, в древности означавшего «камешек» (ср. *галь-ка*, *гол-ыш*), русск. *рот* — из праслав. слова, значившего «круглое острие, круглая чурка», новоангл. *leg* — из прагерм. лексемы, родственной лат. *lacessō* «ударяю» и греч. λακτίζω «лягаю».

Подобное развитие слов с семантикой названий частей тела происходило и в еще более древние времена. Так, если обратиться к этимологиям ст.-слав. *ржка*, лат. *manus* и др.-англ. *hond*, то мы получаем для них следующие архетипы: ст.-слав. *ржка* из позднеиндоевропейского (ПИЕ) **uronk-* «сгибать» (ср. древнесеверное *vrā* «угол», др.-ирл. *ferc* «горб»), лат. *manus* «рука» из ПИЕ **ma-r/n-* «держать, удерживать» (ср. алб. *marr* «беру, захватываю», хет. *maniyahh-* «держать во власти, управлять»), др.-англ. *hond* «рука» из прагерм. **handus*, связанного с гот. *hinƒan* «хватать» (причем сколько-нибудь надежной ПИЕ этимологии у этих германских основ вообще не имеется).

С другой стороны, слова, безусловно являвшиеся названиями частей тела из группы ЯБС, по прошествии тысячелетий перестают быть таковыми: лат. *caput* «голова» перешло в новофранц. *chef*, имеющее смысл «начальник» или «основной пункт», но ни в коем случае не «голова». ПИЕ **dəus-* «рука», в санскр. *dōš-* еще сохранявшее свое праязыковое значение, в лтш. *pa-duse* уже означает «подмышку», т. е. понятие, не входящее в 11 элементов из списка Г. Дёрфера. ПИЕ **gəu-* «рука», выступающее с сохранением этой семантики в авест. *gavō*, мы находим в литов. *guvùs* уже со значением «проворный, бойкий». Наконец, ПИЕ **g'hēr-* «рука», в дорич. χηρός еще показывающее исконную семантику, в санскр. *hārita-* получило значение «захваченное».

Итак, и.-е. слова, являющиеся названиями частей тела вообще и принадлежащие к группе ЯБС, выделенной Г. Дёрфером, в частности, обнаруживают исторически следующие свойства:

1) некоторые из них с течением времени с т а н о в я т с я такими названиями, возникая из лексем, либо ранее не входивших в группу ЯБС, либо вообще не денотировавших никакой части тела;

2) некоторые из них с течением времени п е р е с т а ю т быть такими названиями, либо превращаясь в «периферийные» названия частей тела, т. е. не относящиеся к ЯБС, либо совсем выходя за пределы анатомической семантики;

3) в целом мера общности названий частей тела для и.-е. языков постоянно у б ы в а е т, с течением времени опустившись ниже того количественного порога, который решает вопрос о родстве согласно критерию, предложенному Г. Дёрфером.

Из всего сказанного следует сделать вывод:

1) либо новые и.-е. языки перестали быть родственными друг другу;

2) либо концепция Г. Дёрфера неверна.

Думается, что вообще неправильно исходить из какого-то заранее заданного списка сем, проверяя по нему — и только по нему — родственные отношения между языками. И дело тут совершенно не в удачном или неудачном выборе лексической группы: никакое ограниченное семантическое поле не обладает теми инвариантными или почти инвариантными свойствами, на которые можно было бы опереться, работая с такого рода концепциями. (Ср. лексикостатистический метод, примененный Дж. Клоусоном, оперировавшим списком в 100 основных (базовых) и 100 дополнительных (периферийных) лексем [6, с. 28].)

Для установления родства между языками необходимо учитывать их

лексическое богатство полностью, руководствуясь при этом строгими фонетическими законами в плане выражения и допустимыми смысловыми корреляциями в плане содержания. При этом наибольшей доказательной ценностью обладают лексические (корневые) соответствия, выявленные на уровне дальней внутренней реконструкции.

Например, из трех ПИЕ основ со значением «рука», приведенных выше, а именно **dəus-*, **gəu-*, **g'h̄r-*, первые две сами по себе имеют меньшую доказательную значимость, поскольку они представляют собой производные образования с исторически сдвинутыми значениями: **dəus-* от корня **də-* «давать» («рука» — «дающая»), **gəu-* от корня **gə-* «лепить из комка глины» («рука»—«лепящая»). Напротив, ПИЕ **g'h̄r-* «рука» имеет близкородственную форму в виде ПИЕ **g'hest-* с тем же значением, сохраненным в виде санскр. *hasta-*. Сравнивая ПИЕ **g'hēr-*, т. е. более раннее **g'héər-*, и ПИЕ **g'hest-*, т. е. более раннее **g'həést-*, мы обнаруживаем существование раннеиндоевропейского (РИЕ) корня **g'hə-*, обозначавшего «кисть руки» [19, с. 36].

Наличие основ, производных от этого РИЕ корня, во всех двенадцати и.-е. языковых группах является одним из многих доказательств глубинного родства между ними. Вместе с тем решительно никакой роли не играет то обстоятельство, что большинство производных от указанного РИЕ корня еще в ПИЕ эпоху вышло за пределы семантического поля названий частей тела.

Иначе говоря, и.-е. языки родственны не потому, что в них более или менее сходны слова из круга ЯБС, предложенного Дёрфером, а потому, что их древнейшие лексические (корневые) единицы были тождественными, и это корневое родство остается неубывающим, несмотря на все позднейшие фонетические дивергенции и последующие семантические сдвиги.

Если спорят два или несколько ученых, придерживающиеся противоположных взглядов на один и тот же предмет, то правыми из них могут быть далеко не все. Истина конкретна, но быть одинаково истинными противоположные суждения не могут.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Суник О. П.* К актуальным проблемам алтаистики.— ВЯ, 1976, № 1.
2. Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Отв. ред. Суник О. П. Л., 1978.
3. *Санжеев Г. Д.* В. Л. Котвич — пионер нового направления в алтаистике. — В кн.: Проблемы алтаистики и монголоведения. Вып. 2. Ред. Биткеев П. Ц. М., 1975.
4. *Котвич В.* Исследование по алтайским языкам. М., 1962.
5. *Лигети Л.*— ВЯ, 1955, № 5.— Рец. на кн.: *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков. Т. I. М., 1953.
6. *Клоусон Дж.* Лексикостатистическая оценка алтайской теории.— ВЯ, 1969, № 5.
7. *Лигети Л.* Алтайская теория и лексикостатистика.— ВЯ, 1971, № 3.
8. *Дёрфер Г.* Базисная лексика и алтайская проблема.— ВЯ, 1981, № 4.
9. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Отв. ред. Цинциус В. И. Л., 1975; Т. II. Л., 1977.
10. *Кононов А. Н.* Тюркская филология в СССР. 1917—1967. М., 1968.
11. *Сыромятников Н. А.* Методика сравнительно-исторического изучения общих морфем в алтайских языках.— В кн.: Проблема общности алтайских языков. Отв. ред. Суник О. П. Л., 1971.
12. *Яхонтов С. Е.* Лексика как признак родства языков.— В кн.: Проблема общности алтайских языков.
13. *Иванов С. Н.* Арабизмы в турецком языке. Л., 1973.
14. Турецко-русский словарь. М., 1977. Ред. Мустафаев Э. М.-Э., Старостов Л. Н.
15. Персидско-русский словарь. Сост. Миллер Б. В., М., 1953.
16. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Перев. с нем. и доп. Трубачева О. Н. Т. I—IV. М., 1964—1973.
17. *Колесникова В. Д.* (1) Названия частей тела человека в алтайских языках; (2) К характеристике названий частей тела человека в тунгусо-маньчжурских языках.— В кн.: Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Отв. ред. Цинциус В. И. Л., 1972.
18. *Колесникова В. Д.* О названиях частей тела в алтайских языках. — В кн.: Проблема общности алтайских языков.
19. *Андреев Н. Д.* Типологія ранньоіндоєвропейської прамови.— Мовознавство, 1976, № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

ПАПФИЛОВ В. З.

ОТРИЦАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В КОНСТИТУИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ

I. В последнее десятилетие все большее число лингвистов отказывается от принципа исследования языка как имманентного явления, и, в частности, приходит к убеждению, что структуру предложения как особой языковой единицы невозможно рассматривать вне связи с теми формами мысли, средством выражения которых оно является. Природа простого предложения также может быть понята только в связи с теми основными формальными разновидностями мысли, которые им выражаются, т. е. с суждением, вопросом и побуждением. При этом можно отвлечься от того, следует ли рассматривать вопрос и побуждение в качестве разновидностей суждения, расширяя тем самым понятие суждения как формы мысли и, следовательно, выделяя в нем суждение-сообщение, суждение-вопрос и суждение-побуждение (П. В. Копнин), или трактовать их наряду с суждением как разновидности логической фразы, или логемы (Н. В. Чесноков), которая в отношении всех их будет выступать как *родовое понятие*.

Рассматривая суждение в узком смысле этого слова, т. е. суждение-сообщение, следует прежде всего отметить, что в его структуре можно выделить два уровня [1, с. 106—129]. Один из них есть суждение как пропозициональная функция, исследуемый в современной формальной логике. Структуру суждения как пропозициональной функции образуют n-местный предикат и его аргументы. Эта структура фиксируется во всех моделях предложения, служащих для выражения класса суждений отношений в целом (типа *Москва южнее Ленинграда*, *Иван старше Петра* и т. п.), отображаемых логической формулой aRb. В большинстве языков широко представлены и являются наиболее частотными те модели предложения, которые выражают отношения актантов к действию, типа русских *Иван любит Марию*, *Иван берет книгу* и т. п. В такого рода моделях предложения выражается одна из разновидностей суждения как пропозициональной функции, отражающая тот или иной характер отношений между актантами и действием [формула $A(x, y...)$]. Структуру суждения как пропозициональной функции могут образовать минимально два компонента, если предикат является одноместным, как, например, в случае *Иван идет*, но может быть два, три или более компонентов, как, например, в случае *Иван положил книгу* или *Иван положил книгу на стол*, в первом из которых предикат *положил* имеет два аргумента (*Иван* и *книгу*), а во втором еще третий аргумент (*на стол*).

Второй уровень структуры суждения, выражаемого предложением, есть его субъектно-предикатная структура, которая была предметом исследования в традиционной формальной логике (формула «S есть P»). Субъектно-предикатную структуру образуют логический субъект как понятие о предмете мысли и логический предикат как понятие о признаке (или признаках), присущем (или не присущем) этому предмету мысли, т. е. эта структура, в отличие от предыдущей, если не рассматривать связку как самостоятельный компонент, всегда является двучленной.

Если структура суждения как пропозициональной функции отражает характер объективных связей в действительности, то его субъектно-предикатная структура формируется в зависимости от направленности самого познавательного процесса. В этой структуре фиксируется, какой именно из компонентов ситуации, на которую направлен познавательный акт,

выделяется в качестве предмета мысли, а какой — в качестве предицируемого ему признака. Поскольку в познавательных актах, направленных на одну и ту же ситуацию, в качестве последних могут выделяться ее различные компоненты, то она (ситуация) может отражаться в суждениях, отличающихся друг от друга по своему субъектно-предикатному составу, как, например, в случаях *Иван любит Марью*, *Марью любит — Иван* и т. п. Таким образом, в суждении на уровне его субъектно-предикатной структуры фиксируется ход, направленность познавательного процесса, т. е. его субъективная сторона.

Структура суждения как пропозициональной функции и его субъектно-предикатная структура получают свое формальное языковое выражение в структуре предложения: первая из них коррелирует с синтаксическим членением предложения и, в частности, с его залоговыми отношениями; вторая — с логико-грамматическим, или актуальным членением предложения.

Традиционный синтаксис, рассматривая структуру предложения, ограничивался лишь синтаксическим членением предложения. К тому же подлежащее и сказуемое как главные члены этого уровня членения трактовались в терминах логических понятий субъекта и предиката. Следы такой трактовки до сих пор нередко сохраняются в тех определениях, которые даются этим членам предложения не только в школьных, но и в научных грамматиках.

Структура предложения, образуемая его логико-грамматическим членением, как и формальные языковые средства, используемые на этом уровне членения предложения, по существу не включались в предмет исследования синтаксиса. В этой связи в известной мере затрагивался лишь вопрос о роли логического ударения и порядка слов [1].

За последние десятилетия положение изменилось здесь коренным образом — этому виду членения предложения и формально-языковым средствам его выражения в языкознании (и, отчасти, в логике) стало уделяться серьезное внимание. Тем самым понятие синтаксиса как раздела грамматики расширяется. Однако следует иметь в виду, что существует принципиальное различие между синтаксическим и логико-грамматическим членением предложения.

Синтаксическое членение коррелирует со структурой суждения как пропозициональной функции. Но между этими двумя видами структур нет взаимнооднозначного соответствия. Так, в синтаксической структуре предложения наряду с подлежащим, дополнениями (прямым и косвенным) и сказуемым выделяются также и такие второстепенные члены предложения, как определение и несубстантивное обстоятельство, которые сами по себе, в отдельности, не выражают каких-либо структурных компонентов суждения как пропозициональной функции, т. е. предиката и его аргументов, а входят лишь в состав синтаксических групп (подлежащего, сказуемого, дополнений), выражающих эти последние. Поэтому этот вид членения предложения целесообразно, как и раньше, называть синтаксическим, а не логико-синтаксическим.

В отличие от этого логико-грамматическое членение предложения изоморфно субъектно-предикатной структуре мысли, выражаемой предложением. Логико-грамматическое членение предложения и есть субъектно-предикатная структура мысли, компоненты которой маркированы определенными формальными языковыми средствами. Субъектно-предикатная структура мысли как логическая структура выделяется в качестве особого явления лишь в той мере, в какой мы абстрагируемся от этих формальных языковых средств. Поэтому было бы неверно рассматривать логико-грамматическое членение как явление, промежуточное между мыслью и ее структурой, с одной стороны, и предложением как языковой единицей, с другой. Это следует особо подчеркнуть, поскольку такая ошибочная трактовка концепции логико-грамматического членения предло-

[1] Лишь в некоторых работах общетеоретического характера этому явлению уделялось достаточно большое внимание [2, с. 315—361].

жения, сформулированной нами в 1962 г. [3], неоднократно высказывалась в лингвистической и философской литературе.

Из сказанного следует также, что термин «логико-грамматическое членение» вполне отвечает природе обозначаемого им явления: на этом уровне членения предложения субъект и предикат как структурные элементы мысли, выраженной им, маркируются разнообразными грамматическими средствами, варьирующимися до известной степени от языка к языку. Набор этих грамматических средств лишь отчасти совпадает с теми, которые используются на синтаксическом уровне членения предложения. Поэтому даже при чисто формальном подходе грамматические средства выражения логико-грамматического членения предложения должны составить особую область исследования. При этом между последними формально-языковыми средствами и используемыми на уровне синтаксического членения предложения происходит постоянное взаимодействие, не говоря уже о том, что некоторые из них, как, например, порядок слов, функционируют и на том и на другом уровне.

Наиболее существенным образом различие между синтаксическим и логико-грамматическим уровнями членения предложения проявляется в том, что тождество или различие предложений на одном из этих уровней не означает их тождества или различия на другом уровне. Так, одна и та же синтаксическая структура с одним и тем же лексическим составом может иметь различное логико-грамматическое членение, т. е. тождество предложения на синтаксическом уровне членения не означает еще его тождества на логико-грамматическом уровне (примеры см. ниже).

Возможны и обратные случаи, когда предложения одного и того же лексического состава, но различные по своей синтаксической структуре, могут иметь одно и то же логико-грамматическое членение, т. е. выражать одно и то же суждение на уровне его субъектно-предикатной структуры. Так, ср.: 1) *Завод выпустил новые машины*; 2) *Заводом выпущены новые машины*; 3) *На заводе выпущены новые машины* (примеры А. Л. Пумпянского). Если ни один из членов этих предложений не выделяется логическим ударением, то логический субъект в них соответственно будет выражаться подлежащим *завод*, косвенным дополнением *заводом*, обстоятельством места *на заводе*, а логический предикат синтаксическими группами сказуемого *выпустил новые машины* и *выпущены новые машины*.

В то же время любое из этих предложений может иметь различную логико-грамматическую структуру, если, например, посредством логического ударения будут выделяться его различные члены. Так, ср.: 1) ***Завод*** *выпустил новые машины*; 2) *Завод выпустил* ***новые машины***. В первом из этих предложений логический предикат выражается подлежащим *завод*, во втором — синтаксической группой прямого дополнения *новые машины*.

Если в русском и других индоевропейских языках средствами логико-грамматического членения предложения являются, прежде всего, логическое ударение, порядок слов, различные разряды служебных слов [модальные слова, указывающие на ту или иную степень достоверности содержания предложения с точки зрения говорящего (типа русских *может быть*, *вероятно*, *конечно* и т. п., немецких *wahrscheinlich*, *vielleicht*, *gewiß* и т. п.); выделительно-ограничительные слова типа русских *только*, *именно*, *даже*, *же* и т. п., немецких *nur*, *gerade*, *sogar* и т. п.), специальные предикато-выделительные (ремо-выделительные) и субъекто-выделительные (темо-выделительные) синтаксические конструкции], то во многих других языках в этих целях используются также специальные морфемы, присоединяемые к тому члену предложения, который выражает логический предикат, а в некоторых языках также к тому из них, который выражает логический субъект [1—16 и мн. др.].

Так, например, в нивхском языке в предложении, характеризуемом модальностью простой достоверности, любой член предложения, исключая определение при имени, если он выражает логический предикат, оформляется специальным суффиксом *-та* ~ *-ра* ~ *-да*. Например, *Вумгуда лаӷр оӷ хэӷытар йордох п'рывид'* «В нерпичьей шубе одетая, ему навстречу идет — (это) его жена» (*вумгуда* «его жена», *в-* — префикс при-

надлежности, *-да* — суффикс, выступающий в качестве показателя логического предиката).

Поскольку и логический предикат, и логический субъект маркируются определенными грамматическими средствами (отсутствие специального показателя у последнего в большинстве языков в случае наличия такового при логическом предикате следует рассматривать как нулевой показатель), их можно именовать логико-грамматическим субъектом и предикатом.

Как уже отмечалось, одна и та же ситуация может быть отражена в суждениях, имеющих различную субъектно-предикатную структуру, а следовательно, и в предложениях с различным логико-грамматическим членением. В этом, в частности, проявляется активность познавательной деятельности человеческого мышления, и это не учитывается представителями так называемого семантического синтаксиса, которые стремятся прямолинейно свести и структуру, и содержание предложения к той ситуации, по поводу которой оно высказывается. Тем самым этими авторами по существу устраняется и сам субъект познавательной деятельности, а триада «действительность — мышление — язык» подменяется схемой «действительность — язык»

II. Большинство формальных языковых средств, маркирующих логико-грамматическое членение предложения, используется только на этом уровне. Но некоторые из них, как, например, порядок слов, функционируют на обоих уровнях членения предложения. Это же следует сказать и о различных формально-языковых средствах, выражающих отрицание, которым в последнее десятилетие в языкознании стало уделяться серьезное внимание в связи с тем, что они играют большую роль в конституировании структуры предложения.

Противопоставление утвердительных и отрицательных предложений прослеживается во всех известных лингвистам языках, хотя способы выражения отрицания и варьируются от языка к языку.

При этом отрицание играет значительную роль в конституировании структуры предложения и на его логико-грамматическом и синтаксическом уровнях членения. Наличие или отсутствие отрицания в предложении определяет качество суждения, выражаемого предложением,— в логике различие утвердительных и отрицательных суждений определяется как их формальное различие по качеству.

Вместе с тем отрицание оказывает влияние и на структуру выражаемой в предложении мысли. В частности, отрицание используется в качестве одного из языковых средств маркирования логического предиката как компонента субъектно-предикатной структуры мысли. Так, например, в русском языке одно и то же по своему лексическому и синтаксическому составу предложение *Он не приезжал домой вчера* будет иметь различное логико-грамматическое членение в зависимости от того, к какому члену предложения относится отрицательная частица *не*[2]. Ср.: 1) *Он приезжал вчера не домой*; 2) *Он приезжал домой не вчера*; 3) ***Не он*** *приезжал домой вчера*. В первом из приведенных предложений логико-грамматическим предикатом становится обстоятельство места *не домой*, во втором — обстоятельство времени *не вчера*, а в третьем — подлежащее *не он* благодаря тому, что отрицательная частица *не* относится к ним.

При этом частица *не* играет различную роль в выделении логико-грамматического предиката предложения в зависимости от того, к какому члену предложения она относится. Ее наличие при подлежащем, дополнении и обстоятельстве является показателем того, что соответствующий член предложения выступает в функции логико-грамматического предиката. Но в качестве показателя логико-грамматического предиката, когда он выражается не сказуемым, используются, как уже отмечалось выше, и другие средства, в частности, логическое ударение, частицы с выделительно-ограничительным значением, модальные слова и др.

[2] Иные способы выражения отрицания, характер выражаемых ими значений и их роль в конституировании структуры предложения и суждения нами ввиду ограниченности объема в настоящей статье не рассматриваются.

Поэтому возможны и такие случаи, когда при сказуемом есть отрицательная частица *не*, но логико-грамматический предикат выражается не им, как это принято считать [3], а другим членом предложения, который в этом своем качестве маркируется или выделительно-ограничительной частицей, или модальным словом, или каким-либо другим способом. Таким образом, в такого рода случаях отрицательная частица *не* уже не является маркером логико-грамматического предиката. Здесь, следовательно, проявляется общая закономерность, состоящая в том, что сказуемое (синтаксическая группа сказуемого) выступает в функции логико-грамматического предиката только во всех тех случаях, когда нет какого-либо специального показателя этого последнего при каком-либо другом члене предложения. Это обусловлено тем, что в синтетическо-флективном русском языке сказуемое как член предложения чаще всего выражает логико-грамматический предикат, является как бы его преимущественным представителем. Поэтому оно не нуждается в специальных показателях этой своей функции — такие показатели необходимы для маркирования лишь других выступающих в ней членов предложения, для которых она не является специфической.

Так, например, в приведенном выше предложении *Он не приезжал домой вчера* логическим ударением может быть выделено или подлежащее *он*, или обстоятельство места *домой*, или обстоятельство времени *вчера* и соответственно в функции логико-грамматического предиката будут выступать они, а не сказуемое вместе с относящимися к нему обстоятельствами, хотя при нем и стоит отрицательная частица. Аналогичным образом каждый из этих членов отрицательного предложения может быть выделен в качестве логико-грамматического предиката посредством постановки при нем модальных слов, выражающих различные субъективно-модальные значения. Например: ***Вероятно**, он не приезжал домой вчера*; ***Вероятно**, **домой** он не приезжал вчера*; ***Вероятно**, **вчера** он не приезжал домой*. Более того, наличие отрицательной частицы *не* при каком-либо несказуемостном члене также еще не всегда свидетельствует о том, что этот член предложения выражает логический предикат. Так, при наличии отрицательной частицы *не* при каком-либо несказуемостном члене другой несказуемостный член, тем не менее, будет выражать логический предикат, если он выделяется логическим ударением или к нему относится модальное слово с субъективно-модальным значением, или выделительно-ограничительная частица. Ср.: *Он **вчера** не домой приезжал*; ***Вероятно, вчера** он не домой приезжал*; ***Только вчера** он не домой приезжал.*

Таким образом, в отличие от логического ударения, модальных слов и ограничительно-выделительных частиц, функционирующих только на логико-грамматическом уровне членения предложения, отрицательная частица *не* в русском языке функционирует не только на этом, но и на синтаксическом уровне членения предложения.

Возникает вопрос, как должно характеризоваться качество суждения, выражаемого предложением, с одной стороны, в тех случаях, когда частица *не* функционирует на синтаксическом уровне членения, а с другой стороны, в тех случаях, когда она функционирует на логико-грамматическом уровне членения.

Если иметь в виду, что синтаксический уровень членения предложения коррелирует со структурой суждения как пропозициональной функции, а логико-грамматический уровень членения — с субъектно-предикатной структурой того же самого суждения, то вопрос может быть поставлен иначе, а именно: определяется ли качество суждения (т. е. является ли оно утвердительным или отрицательным) по характеру его структуры на первом из этих уровней или на втором? В формальной логике этот

---

[3] Так, еще Г. Пауль полагал, что «психологическим сказуемым постоянно является также и та часть предложения, связь которой с остальными частями отрицается с помощью о с о б о й ч а с т и ц ы» [2, с. 341]. Это положение в ином терминологическом оформлении повторяется и в работах современных авторов, посвященных роли отрицания в конституировании структуры предложения.

вопрос в достаточно эксплицитной форме по существу не только не рассматривался, но даже и не ставился.

Проанализируем с этой точки зрения следующую серию предложений: 1) *Он не приезжал домой вчера*; 2) ***Он** не приезжал домой вчера*; 3) ***Не он** приезжал домой вчера*; 4) ***Вероятно, он** не приезжал домой вчера*; 5) ***Только он** не приезжал домой вчера*.

Если иметь в виду субъектно-предикатную структуру суждений, выражаемых этими предложениями, то она в наиболее логически эксплицитной форме может быть представлена, как это принято делать в логике, следующими предложениями: 1) *Он не есть приезжавший домой вчера*; 2) *Не приезжавший домой вчера есть он*; 3) *Приезжавший домой вчера есть не он*; 4) *Не приезжавший домой вчера, вероятно, есть он*; 5) *Не приезжавший домой вчера есть только он*.

Если квалифицировать суждение как отрицательное или утвердительное, учитывая, что отрицание относится или не относится к связке (мы отвлекаемся здесь от того, является ли она самостоятельным членом суждения или включается в предикат), то в качестве отрицательного может рассматриваться только то из них, которое выражается предложением с глагольным сказуемым в отрицательной форме, выступающим вместе с обстоятельством места и времени в качестве логико-грамматического предиката. Иначе говоря, отрицательным по своему качеству будет только суждение (1), оба уровня структуры которого не расходятся, т. е. оно выражается предложением, в котором логико-грамматический предикат совпадает со сказуемым (синтаксической группой сказуемого). Остальные три суждения (2), (4), (5) будут утвердительными на уровне их субъектно-предикатной структуры, но отрицательными на уровне их структуры как пропозициональной функции. Иначе говоря, если при наличии отрицательной частицы *не* у глагольного сказуемого подлежащее выделяется в качестве логико-грамматического предиката посредством логического ударения, модального слова или выделительно-ограничительной частицы *только*, то суждение, выражаемое соответствующим предложением, несмотря на наличие в нем отрицания, на уровне субъектно-предикатной структуры будет утвердительным.

Особое положение в этом отношении занимает суждение (3). В выражающем его предложении частица *не* переместилась в препозицию к подлежащему, которое в силу этого стало выражать логико-грамматический предикат. В результате вместо исходного отрицательного суждения (1) мы получили тот вид суждения, который был впервые выделен И. Кантом и определялся им как бесконечное суждение [17].

Точку зрения И. Канта, согласно которой бесконечное суждение есть особый вид суждений наряду с утвердительным и отрицательным, поддержал Г. Гегель. В классификации суждений Гегеля, наряду с отрицательным и утвердительным суждениями, выделяется третий тип суждений, включающий в себя две разновидности: а) суждение, в котором выражается пустое тождественное отношение (*Лев есть лев*) и б) суждение, в котором выражается полнейшее несоответствие между субъектом и предикатом (*Дух не есть слон*). Отличие отрицательного суждения типа *Роза не красна* от бесконечного типа *Роза не верблюд*, по Г. Гегелю, состоит в том, что в первом «субъект еще отнесен к предикату, который благодаря этому оказывается относительно всеобщим и лишь *определенность* которого подвергается отрицанию („роза *не* красна" — подразумевает, что она все же обладает цветом...)» [18], во втором, который он именует также отрицательно-бесконечным суждением, между субъектом и предикатом уже нет более никакого отношения [18; ср. также 19]. Возражая против мнения, согласно которому бесконечное суждение есть некое искусственное образование, бессмысленный курьез, а не реально существующая разновидность суждения как формы мысли, Гегель пишет: «Однако на самом деле мы должны рассматривать это бесконечное суждение не только как случайную форму субъективного мышления; оно оказывается, наоборот, ближайшим диалектическим результатом предшествующих непосредственных суждений (положительного и просто-отрицатель-

ного суждений), конечность и неистинность которых в нем явно выступают наружу» [18]. Ф. Энгельс, отмечая диалектический характер гегелевской классификации суждений, также выделял среди них бесконечное суждение [20].

Вопрос о выделении бесконечного суждения как особого формального типа наряду с утвердительным и отрицательным в последующей логической традиции не получил общепризнанного решения. Большинство логиков рассматривало его как разновидность отрицательных суждений. Следует, однако, отметить, что хотя в современной формальной логике отрицательные и бесконечные суждения не выделяются в самостоятельные формальные типы, тем не менее среди отрицательных суждений различают соответственно суждения с внешним и внутренним отрицанием.

Языковые данные в известной мере могут служить подтверждением правильности точки зрения Канта и Гегеля. Во всяком случае во многих языках различие между отрицательным и бесконечным суждением может быть выражено путем формального различия соответствующих предложений. Так, в русском языке, хотя при именном сказуемом связка *быть* в настоящем времени обычно опускается, возможны такие предложения, как *Кит не есть рыба* и *Кит есть не-рыба*, выражающие соответственно отрицательное и бесконечное суждения. Вместе с тем, в некоторых языках (абхазо-адыгских, нивхском и др.) различие между этими двумя видами суждений не находит формального языкового выражения. Так, в нивхском языке двум русским предложениям *Это не есть человек* и *Это есть не-человек* соответствует только одно предложение *ḥыд' н'ивх ḥадох q'ауд'*, в котором отрицание выражено аналитически сочетанием инфинитивной формы глагола *ḥад'* «быть» (*-дох* — суффикс дательно-направительного падежа) и отрицательного глагола *q'ауд'*.

Что понятия типа *не-рыба*, *не-человек* и т. п. действительно существуют и играют определенную роль в процессе человеческого мышления и познания, об этом свидетельствуют такого рода факты, что в языках с именными классами существуют не только показатели «положительных», но и «отрицательных» понятий. Так, например, в абхазском языке есть особые морфологические показатели именных классов *человека* и *не-человека*. Исследователями дагестанских языков (А. А. Бокаревым, Е. А. Бокаревым, С. М. Хайдаковым и др.) установлено, что в ряде из них имена, и прежде всего в форме мн. числа, подразделяются только на два класса — *человек* (*личность*) и *не-человек* (*не-личность*), в других — на классы *мужчин* и *не-мужчин*, причем в последний включаются не только не-люди, т. е. предметы, животные и т. п., но и женщины.

Во многих языках (в русском, некоторых дагестанских и др.) выделяется также категория одушевленности — неодушевленности, в основе которой лежит разделение всех объектов на одушевленные и неодушевленные.

Существенно при этом, что во многих дагестанских языках наблюдается развитие именных классов от многочленной системы (классы мужчин, женщин, несколько классов неодушевленных объектов) к двучленной системе *человек* (*личность*) и *не-человек* (*не-личность*) или одушевленные — неодушевленные предметы, т. е. объем «отрицательного» понятия как бы увеличивается.

В других языках (как, например, нивхском, многих индейских и др.) существуют несколько (иногда до 30) систем числительных, каждая из которых употребляется при счете объектов определенного рода (длинных, плоских, круглых предметов, людей, животных и т. п.); есть и такая система числительных, которая используется при счете всех остальных объектов, у которых едва ли можно найти какой-либо общий для всех них признак. Аналогичным образом, в языках (как, например, китайском и других языках Юго-Восточной Азии), в которых с числительными сочетаются особые суффиксы-классификаторы, указывающие на вид исчисляемых объектов, наряду с теми из них, которые имеют достаточно конкретное «положительное» значение, есть и такой, который представляет собой показатель объектов, не объединяемых наличием общего для всех них

признака, если не считать таковым то, что все они являются предметами. Таким образом, в языковом мышлении носителей этих языков тоже функционируют понятия типа *не-человек*, *не-рыба* и т. д.

Противники выделения бесконечного суждения как его особой формальной разновидности, стоящей в одном ряду с утвердительным и отрицательным суждениями, указывают на то, что выражения типа *не-рыба*, *не-человек* не обозначают каких-либо отдельных, самостоятельных понятий, так как каждое из такого рода понятий, если признать их существование в человеческом мышлении, должно было бы иметь неограниченный объем: *не-рыба* обозначает все, кроме рыбы, *не-человек* обозначает все, кроме человека и т. п. [21]. Следует прежде всего заметить, что этот аргумент основан на объемном понимании суждения и соотношения его субъекта и предиката, а оно не имеет силы и по отношению ко многим типам утвердительных суждений. Так, когда утверждается *Этот лист зеленый*, то у говорящего тоже нет в мысли понятия о классе всех предметов, которые обладают зеленым цветом. К тому же граница между «отрицательными» и «положительными» понятиями не является абсолютной. Так, в русском языке многие слова, включающие в свой состав в качестве приставки то же самое *не* (*нехороший*, *неприятель* и т. п.), обозначают «положительные» понятия, т. е. обладающие вполне определенным содержанием, и имеют синонимы, не включающие в свой состав эту приставку (*нехороший* = *плохой*, *неприятель* = *враг*).

Историки русского языка отмечают, что отрицательная частица *не* и приставка *не-* имеют различное происхождение. А. А. Шахматов писал по этому поводу следующее: «...при именных сказуемых возможно двоякое понимание предложения — и в утвердительном, и в отрицательном смысле: *он не ловкий* и *он неловкий* (*il n 'est pas adroit* и *il est maladroit*); *он мне не приятель* и *он мне неприятель*; это зависит прежде всего от утраты русским языком настоящего времени глагола *быть* и в положительной, и в отрицательной форме; в этой последней 3-е лицо единств. (*нѣ*, *нѣсть*) нашло себе заместителя в отрицании *не*: *он не хорош* восходит к *онъ нѣ хорошъ*, с одной стороны, а с другой — к *онъ есть нехорошъ*. Точно так же заместителем 3-го лица единств. *нѣ*, *нѣсть* в значении существует, находится является отрицание *не*: *он не в городе* — *он нѣ в городѣ*» [22]. Иначе говоря, по А. А. Шахматову, глагол *быть* в отрицательной форме в 3-м л. ед. ч., с помощью которого образовывались отрицательные предложения, с некоторого времени стал замещаться отрицательной частицей *не*; вместе с тем в этот период в русском языке функционировала и приставка *не-*, с которой по своей роли сближается частица *не* в бесконечных суждениях (*не-человек*, *не-рыба* и т. п.).

Возвращаясь к суждению (3), мы можем его квалифицировать, в зависимости от того, признается или не признается существование бесконечного суждения, или как бесконечное, или как отрицательное на уровне его субъектно-предикатной структуры; в то же время на уровне его структуры как пропозициональной функции оно является утвердительным.

Выше уже отмечалось, что большинство специалистов по формальной логике рассматривает этот тип суждений как разновидность отрицательных суждений. Нам представляется, что проведенный выше анализ дает достаточные основания для того, чтобы определять его как утвердительное на уровне его структуры как пропозициональной функции и как бесконечное на уровне его субъектно-объектной структуры. Заметим, однако, что при решении такого рода вопросов необходимо учитывать характер «отрицательных» понятий, которые выступают в функции предиката. В частности, очевидно, что понятие *не-он* в силу специфики местоименной семантики соотносимого с ним «положительного» понятия *он* имеет существенно иную природу, чем «отрицательные» понятия типа *не-верблюд*, *не-охотник* и т. п., соотносимые с конкретными предметными понятиями *верблюд*, *охотник* и т. п. Этот вопрос нуждается в специальном рассмотрении.

Анализ приведенных выше случаев функционирования отрицания на двух уровнях членения предложения и на соответствующих им уровнях

структуры выражаемого им суждения показывает, таким образом, что вопрос о качестве суждения не может быть решен однозначно: суждение как пропозициональная функция может иметь иное качество, чем суждение как субъектно-предикатная структура, т. е. они могут не совпадать по качеству, поскольку могут не совпадать предикативность (предикативное отношение) и сказуемость (сказуемостное отношение) [4]. Представляется, что этот факт необходимо учитывать, когда в логике суждения классифицируются по форме.

Аналогичным образом в языкознании при квалификации предложений как утвердительных и отрицательных также не учитывается, что отрицание функционирует на двух уровнях его членения. Так, в последней академической грамматике русского языка [23] различаются два вида отрицательных предложений с факультативным отрицанием, т. е. предложений, в которых отрицание может быть и может не быть,— общеотрицательные предложения и частноотрицательные предложения. К первым относятся предложения, в которых отрицание находится «при сказуемом или главном члене, выражающем предикативный признак». Это прежде всего предложения типа *Брат не ходил вчера в библиотеку*. Ко вторым причисляются предложения, в которых отрицание относится к носителю признака или времени и месту, но не отрицается само действие. Это прежде всего предложения типа: 1) *Не брат вчера ходил в библиотеку*; 2) *Брат ходил не вчера в библиотеку*; 3) *Брат ходил вчера не в библиотеку*. По мнению автора этого раздела названного труда, предложения первого типа являются о б щ е о т р и ц а т е л ь н ы м и потому, что через отрицание предикативного признака отрицается и вся та ситуация, о которой сообщается в предложении. В предложениях же второго типа «отрицание относится не к ситуации в целом, а лишь к какой-то ее части, т. е. имеет ч а с т н ы й характер», почему эти предложения и определяются как ч а с т н о о т р и ц а т е л ь н ы е. Далее автор раздела пишет, что «член предложения с частным отрицанием, как правило, является ремой». Наконец, отмечается, что при наличии противопоставления «частный характер может иметь отрицание и при сказуемом (*Он не ходил в библиотеку, а ездил*)» и что в этом случае глагольное сказуемое также «выполняет функцию ремы» [23, с. 408]. Как это следует из вышеприведенных высказываний, вопрос о роли отрицания в конституировании структуры предложения решается здесь в рамках концепции так называемого семантического синтаксиса, для которой характерно прямолинейное соотнесение семантической структуры предложения со структурой той ситуации, по поводу которой высказывается предложение. При этом упускается из виду, что одна и та же ситуация может быть по-разному отражена мыслью человека и что даже одна и та же мысль может быть выражена различными по своей структуре предложениями, хотя бы и имеющими один и тот же лексический состав. Говоря о роли отрицания в этой связи, прежде всего следует заметить, что отрицание есть компонент мысли и выражающего ее предложения и потому неправомерно утверждать, что если отрицание находится перед каким-либо членом предложения, то отрицается обозначаемый им компонент ситуации (или вся ситуация в целом). Так, например, предложение *Брат не ходил в библиотеку вчера* при выделении посредством логического ударения слова *вчера* будет эквивалентно по выражаемой им мысли предложению *Не вчера брат ходил в библиотеку*, хотя в первом из них отрицание находится при глагольном сказуемом, и, таким образом, если следовать точке зрения автора, оно должно рассматриваться как общеотрицательное, а во втором отрицание находится при обстоятельстве времени, и, следовательно, оно является частноотрицательным. Говоря о ремовыделительной функции отрицания, автор этого раздела академической грамматики не учитывает также, что в данной функции в каждом языке используется совокупность самых разнообразных средств, так что в функции ремы (логико-грамматического предиката) может выступать не тот член предложения, при котором находится отрицание, а другой член предложения, маркируемый в этом качестве каким-либо иным предикато-выделительным языковым

средством. Так, например, в предложении *Только он не вчера, а сегодня пришел к нам* в функции логико-грамматического предиката выступает подлежащее *он*, маркером чего является выделительно-ограничительное слово *только*. Аналогичным образом, в предложении, приводимом автором раздела как пример общеотрицательного предложения, поскольку частица *не* находится перед входящим в состав сказуемого служебным глаголом (*Из всего экипажа только один водитель не был ранен*), на самом деле логико-грамматическим предикатом является группа подлежащего *один водитель*, о чем свидетельствует наличие при нем того же выделительно-ограничительного слова *только*.

Если учитывать, что отрицание может функционировать на двух уровнях членения предложения — синтаксическом и логико-грамматическом (актуальном), то анализируемая в академической грамматике совокупность фактов о роли отрицания в конституировании структуры предложения получит иную трактовку. Так, из приведенных выше примеров только предложение *Брат не ходил вчера в библиотеку*, определяемое в академической грамматике как общеотрицательное, является отрицательным как на уровне синтаксического, так и логико-грамматического членения, поскольку оба этих его уровня членения совпадают. Что же касается предложений (1), (2) и (3), то на уровне синтаксического членения и структуры суждения как пропозициональной функции они являются утвердительными. В самом деле, как уже отмечалось, синтаксическое членение предложения коррелирует со структурой суждения как пропозициональной функции, а во всех трех предложениях предикат этого уровня структуры суждения выражается сказуемым, при котором нет отрицания. Если же соотносить структуру предложения и выражаемой им мысли с ситуацией, о которой высказывается предложение, как это делает автор данного раздела академической грамматики (а с ситуацией коррелируют указанные уровни структуры суждения и предложения, которые на этих уровнях являются утвердительными), то соответствующие предложения рассматривать как частноотрицательные нет оснований. Что же касается логико-грамматического (актуального) членения предложения, то оно, как уже отмечалось, фиксирует ход, направленность познавательного процесса, отражающего ту или иную ситуацию, в виду чего его субъектно-предикатная структура может выражаться различными компонентами предложения, хотя бы оно и высказывалось по поводу одной и той же ситуации. Именно на этом уровне членения предложения функционирует отрицательная частица *не* в предложениях (1), (2), (3). В этих предложениях синтаксическое и логико-грамматическое членения расходятся, и отрицательная частица *не*, маркируя в каждом из этих предложений логико-грамматический предикат, который не совпадает со сказуемым, находится перед соответствующим членом предложения (*не брат, не вчера, не в библиотеку*).

Следует также отметить, что нельзя считать удачными и термины общеотрицательные и частноотрицательные предложения. В логике под общеотрицательными суждениями имеют в виду такие суждения, в которых предикат отрицается в отношении всего объема субъекта, т. е. они являются отрицательными по качеству и общими по количеству (*Все советские граждане не хотят войны*; *Ни один советский человек не хочет войны*); частноотрицательными же являются суждения, в которых предикат отрицается в отношении части объема субъекта (*Некоторые птицы не летают*). Таким образом, в академической грамматике эти же термины при классификации предложений употребляются совсем в другом значении, чем в логике. Это едва ли оправдано, если учесть соотносительность терминов предложение и суждение.

Выше было рассмотрено функционирование отрицания в повествовательных предложениях, выражающих суждения в собственном смысле этого слова, или, как их определяют некоторые логики, суждения-сообщения. В вопросительных предложениях, выражающих суждение-вопрос, в этом отношении отмечаются некоторые специфические особен-

ности. Так, в вопросительных предложениях, в которых логический предикат выражается сказуемым (группой сказуемого), противопоставление между отрицанием и утверждением нейтрализуется [4]. Ср.: 1) *Ты пойдешь домой?* 2) *Ты не пойдешь домой?* Применительно к такого рода случаям положение, выдвигавшееся в традиционной формальной логике, согласно которому суждение-вопрос в отличие от суждения-сообщения не содержит в себе утверждения или отрицания, кажется оправданным. Однако оно оказывается ошибочным, если иметь в виду случаи, когда логический предикат выражается не сказуемым, а каким-либо другим членом предложения и в этом качестве маркируется, например, логическим ударением или модальным словом со значением той или иной степени достоверности или выделительно-ограничительным словом. Ср.: 1) ***Ты** не пойдешь домой? **Ты** пойдешь домой?* 2) ***Только ты** не пойдешь домой? **Только ты** пойдешь домой?* 3) ***Вероятно, ты** не пойдешь домой? **Вероятно, ты** пойдешь домой?* В отрицательном и утвердительном предложениях каждой пары логический предикат выражается не сказуемым, а подлежащим, которое маркируется логическим ударением (1), выделительно-ограничительным словом *только* (2), модальным словом *вероятно* со значением проблематичности (3). При этом в каждой из приведенных пар отрицание функционирует только на уровне синтаксического членения предложения; на уровне же логико-грамматического членения предложения, включающие отрицательную частицу *не*, будут утвердительными, как и предложения, не включающие ее. Таким образом, во всех трех случаях первое предложение каждой пары противопоставляется как отрицательное второму как утвердительному лишь на синтаксическом уровне их членения, коррелирующему со структурой суждения-вопроса как пропозициональной функции. Иначе говоря, здесь отмечается то же явление, что и в аналогичных случаях функционирования отрицания в повествовательных предложениях, выражающих суждения-сообщения (см. выше, с. 41). Следовательно, отрицание при глагольном сказуемом играет иную роль в вопросительных предложениях по сравнению с повествовательными только в тех случаях, когда синтаксическое и логико-грамматические членения каждого из этих видов предложений совпадают.

Отрицательная частица *не* в вопросительных предложениях, как и в повествовательных, может относиться не к глагольному сказуемому, а к какому-либо другому члену предложения. Благодаря этому соответствующий член вопросительного предложения становится выразителем логического предиката подобно тому, как это имеет место в аналогичных случаях в повествовательных предложениях. Примеры: 1) *Домой пойдешь **не ты**?* 2) *Ты **не домой** пойдешь?* Противопоставление между отрицанием и утверждением в такого рода вопросительных предложениях, как и в случае, когда логический предикат выражается сказуемым (синтаксической группой сказуемого), также снимается. Ср.: 1) *Домой пойдешь **не ты**? Домой пойдешь **ты**?* 2) *Ты **не домой** пойдешь? Ты пойдешь **домой**?*

Таким образом, если в соответствующих случаях в повествовательных предложениях, выражающих суждения-сообщения, отрицательная частица *не* изменяет качество этого последнего на уровне его субъектно-предикатной структуры (см. выше, с. 41), то в рассмотренных случаях качество суждения-вопроса на уровне его субъектно-предикатной структуры остается одним и тем же независимо от того, есть ли при логико-грамматическом предикате отрицательная частица *не* или ее нет.

Следует, однако, отметить, что есть один тип суждений-сообщений и выражающих их повествовательных предложений, в которых противопоставление утверждения и отрицания, как и в суждениях-вопросах и выражающих их вопросительных предложениях, хотя и в меньшей степени, также снимается, что ранее, насколько мне известно, вообще

---

[4] Вместе с тем между этими предложениями существует и некоторое различие. Так вопросительное предложение, включающее отрицательную частицу *не*, имеет оттенок вежливости, какового не имеет вопросительное предложение без этой частицы.

не отмечалось ни в логике, ни в языкознании. Это касается так называемых определенных частноутвердительных и частноотрицательных суждений. В логике было установлено [24], что слово *некоторые* в суждениях типа *Некоторые студенты этой группы занимаются спортом* может быть употреблено в смысле «по крайней мере некоторые, а может быть и все», а при логическом ударении на этом слове в смысле «только некоторые». Но если взять предложения *Только* (= *лишь*) *некоторые студенты этой группы занимаются спортом* и *Только* (= *лишь*) *некоторые студенты этой группы не занимаются спортом*, то окажется, что их противопоставление как утвердительного и отрицательного в значительной степени снято и они выражают весьма близкие по содержанию мысли и, следовательно, нет оснований рассматривать выражаемые ими суждения-сообщения как различающиеся друг от друга по формальному признаку качества. В самом деле, предложение и выражаемое им суждение *Только некоторые студенты этой группы занимаются спортом* имеет в качестве пресуппозиции (презумпции) предложение и выражаемое им суждение *Некоторые студенты этой группы не занимаются спортом*; слово *только* в первом суждении является формальным маркером этой пресуппозиции; в свою очередь пресуппозицией предложения и выражаемого им суждения *Только некоторые студенты этой группы не занимаются спортом* будет суждение *Некоторые студенты этой группы занимаются спортом*, причем слово *только* в первом суждении этой пары выполняет ту же функцию в отношении ее второго суждения [5]. Аналогичным образом обстоит дело с соответствующими логическими кванторами и в других языках (*einige* в немецком, *quelques* во французском и т. д.).

В логике установлено, что отношение противоречия существует между частноутвердительным (I) и общеотрицательным (E) суждением и между частноотрицательным (O) и общеутвердительным (A). Но если брать определенные частноутвердительные и частноотрицательные суждения, то окажется, что с общеотрицательным суждением (E) в отношении противоречия будет находиться не только частноутвердительное (I), но и частноотрицательное (O) и, наоборот, с общеутвердительным суждением (A) в этом отношении будет находиться не только частноотрицательное (O), но частноутвердительное суждение (I). Так, например, в отношении противоречия к общеутвердительному суждению *Все студенты занимаются спортом* будет находиться не только определенное частноотрицательное суждение *Только некоторые студенты не занимаются спортом*, но и определенное частноутвердительное суждение *Только некоторые студенты занимаются спортом*. Это последнее суждение, как и второе, тоже несовместимо с первым и оба они не могут быть одновременно истинными.

Приведенные примеры представляют интерес также и в другом отношении. Выше уже отмечалось, что выделительно-ограничительные частицы типа *только*, *лишь*, *даже* и т. п. являются одним из формально-языковых средств маркирования логического предиката. Возникает вопрос, выполняет ли эту функцию слово *только*, когда оно относится к логическому квантору *некоторые*. При его положительном решении в качестве логико-грамматического предиката должен был бы рассматриваться компонент *только некоторые студенты этой группы*, а логико-грамматического субъекта — группа сказуемого *занимаются спортом*. В таком случае суждение *Только некоторые студенты этой группы занимаются спортом* не было бы основания квалифицировать как частное, поскольку частными суждениями являются те, в которых содержание предиката относится лишь к части объема субъекта. Решение этого вопроса затрудняется тем, что слова *только* или его эквивалент *лишь* в указанных случаях непосредственно относятся к логическому квантору, но не слову, участвующему в выражении конкретного содержания суждения.

В заключение следует отметить, что в побудительных предложениях в отличие от вопросительных функция отрицательной частицы *не* таких

[5] О пресуппозиции и средствах ее формального маркирования в предложении см., в частности, [25].

существенных изменений не претерпевает, т. е. остается в своей основе той же, что и в повествовательных предложениях.

Итак, отрицание, как это показано на примере функционирования частицы *не* в русском языке, играет существенную роль в конституировании структуры предложения как языковой единицы и суждения (логемы) как формы мысли. Как и некоторые другие формально-языковые средства, оно функционирует и на синтаксическом, и на логико-грамматическом уровне членения предложения и на соответствующих им уровнях структуры суждения (логемы) — его структуры как пропозициональной функции и его же субъектно-предикатной структуры. В силу этого вопрос о том, является ли предложение и суждение-сообщение утвердительным или отрицательным, т. е. вопрос о качестве суждения, может быть решен только с учетом этого обстоятельства: отрицательным является лишь то предложение и выражаемое им суждение-сообщение, в котором соответственно оба уровня членения и оба уровня структуры не расходятся, т. е. когда предикаты обоих уровней структуры суждения выражаются сказуемым (его синтаксической группой) с отрицательной частицей *не*. В этих случаях отрицательная частица *не* функционирует на обоих уровнях членения предложения и структуры выражаемого им суждения (ср.: *Он вчера не приезжал домой*).

В тех же случаях, когда указанные уровни членения предложения и структуры выражаемого им суждения расходятся, т. е. когда предикаты каждого из уровней структуры суждения выражаются различными членами предложения (*n*-местный предикат глагольным сказуемым, а предикат субъектно-предикатной структуры — каким-либо другим членом предложения), предложение при наличии в нем отрицательной частицы *не* будет отрицательным на уровне его синтаксического членения и утвердительным или бесконечным на уровне его логико-грамматического членения.

Отрицательная частица *не* выполняет неодинаковые функции в различных видах коммуникации, т. е. в предложениях-сообщениях, предложениях-вопросах и предложениях-побуждениях. Так, в предложениях-вопросах, в которых логический предикат маркируется отрицательной частицей *не*, противопоставление между такого рода отрицательным предложением и соответствующим утвердительным нейтрализуется (ср.: 1) *Он приезжал не* ***домой?*** 2) *Он приезжал* ***домой?***). В отличие от этого в предложениях-сообщениях противопоставление между утверждением и отрицанием в известной мере снимается только в тех из них, которые выражают определенные частные суждения (Ср.: 1) *Только* (= *лишь*) *некоторые студенты этой группы занимаются спортом*; 2) *Только* (=*лишь*) *некоторые студенты этой группы не занимаются спортом*). В предложениях-побуждениях отрицательная частица *не* выполняет ту же функцию в конституировании качества выражаемой мысли (отрицательность в противоположность утвердительности), как и в предложениях-сообщениях.

Наряду с указанной функцией отрицательная частица *не* используется также как показатель логического предиката субъектно-предикатной структуры выражаемой предложением мысли: она маркирует в этом качестве глагольное сказуемое (его синтаксическую группу), если нет какого-либо другого показателя логического предиката при ином члене предложения; она маркирует в этом качестве любой несказуемостный член предложения, если нет какого-либо специально используемого для этого показателя логического предиката при другом несказуемостном члене предложения (Ср.: 1) *Он не* ***приезжал*** *вчера домой*; 2) *Вчера он* ***не домой*** *приезжал*; 3) ***Вероятно, вчера*** *он не приезжал домой*; 4) ***Вероятно, вчера*** *он не домой приезжал*).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
2. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
3. *Панфилов В. З.* К вопросу о логико-грамматическом уровне языка.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1962, Hf. 3—4.

4. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 166—174.
5. *Панфилов В. З.* Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения.— ВЯ, 1977, № 4.
6. *Бондаренко В. Н.* Средства выражения некоторых универсалий предложения, обусловленных структурой выражаемой им мысли.— Ин. яз. в шк., 1980, № 1.
7. *Бондаренко В. Н.* Виды модальных значений и их выражение в языке.— ФН, 1979, № 2.
8. *Пумпянский А. Л.* Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. М., 1974.
9. *Распопов И. П.* Актуальное членение предложения. Уфа, 1961.
10. *Торопова Н. А.* К исследованию логических частиц.— ВЯ, 1978, № 5.
11. *Торопова Н. А.* Логические частицы как средство актуального членения предложения.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1981, Hf. 2.
12. *Черняховская Л. А.* Перевод и смысловая структура. М., 1976.
13. *Шевякова В. Е.* Современный английский язык. М., 1980.
14. *Ившин В. Д.* Коммуникативная перспектива предложения.— Мацне, 1970, № 1.
15. *Ившин В. Д.* Некоторые задачи изучения синтаксиса высказывания (на материале английского и русского языков).— В кн.: Вопросы английской и французской филологии. Тула, 1972.
16. *Sgall P., Hajičová E., Buráňová E.* Aktuální členění věty v češtině. Praha, 1980.
17. *Кант И.* Критика чистого разума. Пг., 1915, с. 71.
18. *Гегель Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук. Т. I. Наука логики. М., 1974, с. 358.
19. *Гегель.* Наука логики. Т. II. Субъективная логика или учение о понятии.— Соч., М., 1939, т. VI, с. 79—81.
20. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— В кн.: *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд., т. 20, с. 538.
21. *Lotze H.* System der Philosophie. Tl. I. Leipzig, 1874, S. 61—62.
22. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941, с. 482.
23. Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
24. *Васильев Н. А.* О частных суждениях, о треугольнике противоположностей, о законе исключенного третьего. Казань, 1910.
25. *Ежова Г. В.* О формальном маркировании пресуппозиции в предложении.— В кн.: Проблемы синтаксиса и структуры слова. М., 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

БИРЕНБАУМ Я. Г.

К ТЕОРИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(На материале английского языка)

Содержание понятий сложного (СП), сложносочиненного (ССП) и сложноподчиненного (СПП) предложений меняется в зависимости от исходных постулатов теории. СП образуется в результате взаимодействия нескольких предложений. При этом, как известно, СП отличается от простого предложения не сложностью выражаемой в нем мысли, а грамматически (хотя исторически оно возникло из потребности выражения и обычно действительно выражает более сложную мысль). Т. П. Ломтев писал: «Сложное предложение остается сложным до тех пор, пока в него входят разные предложения; как только одно из них перестает быть предложением, сложное предложение перестает быть сложным, ср. *он читал газеты, которые были получены вчера вечером* и *он читал газеты, полученные вчера вечером*» [1]. В традиционной для советских синтаксистов концепции причастные обороты могут быть синонимичными придаточному предложению (ПП). Однако такие обороты предложением все же не считаются, причем обычно указывается, что их включение в более высокую синтаксическую единицу не превращает последнюю в СП. Известна также и точка зрения на зависимые причастные, герундиальные и инфинитивные построения как на сокращенные ПП (ср. термины «elliptical», «abridged», «truncated», «undeveloped», «verbid sub-clauses» у Г. Поутсма, Дж. Кёрма, М. Брайант, Р. Б. Лонга, Р. А. Гудзона и др.). В трансформационной грамматике даже атрибутивно-именное сочетание расценивается как исходное предложение (глубинное S), так что почти любое распространенное предложение считается сложным.

Для обоснования утвердившегося в нашем синтаксисе понимания СП необходимо отграничить предложение от построений с неличными формами. Для этого мы предлагаем понятие канонической аранжировки подлежащего и сказуемого и понятие базы. Вслед за представителями Пражской лингвистической школы и рядом советских ученых (например, И. П. Распоповым, В. З. Панфиловым, В. А. Белошапковой, Г. Г. Почепцовым) мы выделяем два аспекта (уровня) в синтаксисе предложения — внутренний (конструктивный, синтаксический) и внешний (коммуникативный, актуальный). С точки зрения синтаксического уровня предложение рассматривается как абстрактная модель, парадигматически сопоставимая с другими моделями, как строительный материал для создания коммуникативных единиц предложения. Последние принадлежат к актуальному уровню и служат актуализованными информационно-речевыми частями сообщения. В них конструктивное ядро изменяется в соответствии с конкретными задачами и условиями речевого акта и под влиянием окружающего контекста. Актуальный уровень предложения включает актуальное членение, коммуникативную установку высказывания (повествование, вопрос, побуждение, пожелание), эмотивность.

Каноническая аранжировка — это сочетание подлежащего, выраженного именем в именительном падеже, и сказуемого, выраженного согласующейся с ним личной формой глагола. С точки зрения синтаксического аспекта каноническая аранжировка является основой предложения и более широкого понятия базы. Кроме простых предложений и частей СП, базы включают построения с неличными формами глагола и некоторые другие конструкции. База — это единица, сопоставимая с nexus'ом у О. Есперсена, глубинным маркером S в трансформационной грамматике, различными

транспозициями (трансляциями) предложения у Ш. Балли и Л. Теньера, группами, замыкающимися на предикативную (ядерную и неядерную) связь, у А. М. Мухина. Но эта единица не логическая и не глубинно-семантическая, а структурная, «поверхностная». Все связи и узлы (дополнения, обстоятельства и проч.) в дереве базы аналогичны тем, которые представлены в простом предложении. Правда, подлежащее и сказуемое могут быть выражены иначе, но содержание связи между ними такое же, как и в соответствующих моделях простого предложения. Необходимость понятия базы в синтаксисе вытекает из того, что любой зависимый член предложения обнаруживается не только в простом предложении или в части сложного, но и в инфинитивном, причастном обороте и других образованиях, причисляемых к базам. Базы — это максимальные (членимые, рамочные) синтаксические единицы, в составе которых выделяются члены предложения. Таким образом, мы предлагаем расширенное понимание как подлежащего, которое не обязательно выражается именительным падежом, так и сказуемого, которое не всегда выражается verbum finitum. Различного рода подлежащие и сказуемые маркируются индексами, указывающими на ранг образуемой ими базы. Предварительно, до более подробной разработки этой проблемы, мы отмечаем для современного английского литературного языка три свойства базы: в ней возможно лишь одно отрицание и одно неударное возвратное местоимение, от нее может зависеть сравнительное ПП. Ранг базы определяется степенью преобразования ее конструктивного ядра, степенью «ущемления» канонической аранжировки. «Неущемленная» каноническая аранжировка ($N_{nom} + V_{fin}$) возможна в базах нулевого и первого рангов. К базам нулевого ранга относится простое предложение, любая часть ССП, главное предложение (ГП) в составе СПП и часть так называемого слитного предложения, т. е. одна из нескольких групп сказуемого, которые относятся к одному подлежащему. Базы нулевого ранга отличаются от баз иного ранга тем, что в них возможны и неканонические аранжировки, например, побудительные, номинативные, инфинитивные, междометные предложения, утверждения и отрицания, формулы вежливости (good bye!), парно-симметричные высказывания (no money, no honey!) и некот. др. Событие в таких конструкциях передается не в расчлененной (подлежащно-сказуемостной) форме, а глобально: оно только называется, а выделяться могут лишь некоторые грамматические координаты, актуализирующие понятие о событии [2]. Неканонические аранжировки ориентируются на каноническую форму как на исходную, как на инвариант парадигмы [3]. Многие ученые (например, Л. С. Бархударов [4]) расценивают односоставные предложения как двусоставные с нулем одного из главных членов. Такой подход оправдан статистической весомостью канонической аранжировки. В канонической аранжировке в базах нулевого и первого ранга основные синтаксические категории (они нередко рассматриваются в качестве компонентов конституирующей основы предложения — предикативности) получают закрепившееся морфологическое выражение (время, наклонение, согласование в лице, числе, роде) [5].

Ключевая роль канонической аранжировки в синтаксисе баз не является особенностью только английского языка. В любом языке она служит средством связи языка и мышления, предложения и выражаемой им мысли, в частности, суждения. Обычно подлежащее (группа подлежащего) выражает субъект суждения, а сказуемое — предикат. П. В. Чесноков указывает, что мысль, заключенная в предложении, двучленна. Это вытекает из вторичности мышления по отношению к бытию и опосредованного характера отражения бытия в мысли: «...логема не может относить свое содержание непосредственно к предмету. Поэтому в ней выделяется часть, которая не просто отражает этот предмет, а выступает в качестве его „представителя“ в мысли, его идеального „двойника“. Этой части противопоставляется другая часть, которая содержит то, что мы относим к предмету, раскрывая одну из его сторон. Вторая часть должна всегда противополагаться первой так, как если бы она противостояла самому предмету. Благодаря этому первая часть и мыслится как „представитель“

предмета, как его „двойник". Это значит, что мыслится ее соответствие самому предмету и существование последнего» [6].

Двучленное предикативное отношение порождается не особенностью строя предложения в том или ином языке, а сущностью самого мышления, так что оно характерно для содержания предложения любого языка. В европейской лингвистической традиции грамматика развивалась в тесном единстве с логикой, и семантические отношения компонентов предложения находились в центре внимания. Подлежащно-сказуемостная модель с классических времен выделялась как основа предложения (ср., например, классический русский синтаксис, трансформационную грамматику, теорию универсалий). Каноническая аранжировка служит формальной базой актуального членения высказывания. Имя-подлежащее можно рассматривать как исторически отстоявшееся и наиболее типичное выражение темы, а глагол-сказуемое — как выражение ремы.

Функционирование неканонических аранжировок связано с компенсационным увеличением роли интонации, паралингвистических средств и конситуации. Но такая компенсация в современном английском языке допустима только в базах нулевого ранга, поскольку только эти базы служат единицами актуального уровня (в них синтаксический и актуальный уровни совпадают).

К базам первого ранга в английском языке мы относим только ПП. В них каноническая аранжировка выступает, как и в нулевых базах, только в «неущемленном» виде, но недопустимы неканонические аранжировки. Этим английское ПП отличается от русского или французского, в которых возможны односоставные ПП: «*Когда май, все цветет*; ***Если уж полдень***, *давай обедать*; *Занятия в школе прерваны*, ***так как каникулы***» [7, 8]; *Je crois* ***que oui***; *Je suis sûr* ***que non***; *J'espère* ***que si***; ***Si oui***, *je vous attendrai à neuf heures*; *le livre* ***que voici*** [9].

В английском языке некоторым из таких ПП соответствуют простые предложения: *I think* ***so***; *the book* ***here***, а другим — свернутые ПП, которые встречаются в английском языке значительно чаще, чем в других европейских языках. Способность к свертыванию — это одна из основных характеристик баз первого ранга. Свернутые варианты канонической аранжировки (например, *as he*, *than yesterday*, *as if to help him*, *while reading*, *if necessary*, *though tired*, *because young*, *unless asked*, *what to do*) расцениваются либо как эллиптические ПП, либо как построения с подчинительным союзом (союзным словом) в простом предложении. Некоторым французским примерам, приведенным выше, в английском соответствуют свертывания: *if so* (*if it is so*), *I think not* (*I think that it is not*), а другим — предложения с прямой речью, т. е. с базами нулевого ранга, а не ПП: *In about half an hour he came to the window and waved his hand. It meant* ***yes***; *Can't you thank her and say* ***no***? Свернутые ПП могут совпадать с неканоническими аранжировками нулевых баз, но при сопоставлении омоструктур мы убеждаемся в их семантическом различии, так что их невозможно считать одной и той же моделью. Сопоставим следующие фразы:

Базы первого ранга	Базы нулевого ранга
He did not know ***what to say***	*What to say*!
He would smile ***when*** *speaking*	*Speaking*?
He was obstinate ***as a pig***	*Pig*!

Как и базы более высокого ранга, ПП не могут передавать коммуникативную установку сообщения,— она всегда содержится в ГП, т. е. СПП монокоммуникативно [10]. Отдельные примеры с побудительными и вопросительными ПП мы считаем контаминацией прямой и косвенной речи (ср. предложения типа *Он мне сказал, что* ***приходи, мол, завтра,*** которые В. А. Белошапкова [11, с. 100] расценивает как ненормативные).

Как уже говорилось, для баз второго и последующих рангов возможна исключительно каноническая аранжировка подлежащего и сказуемого, но при этом такая аранжировка обычно всегда «ущемляется». Согласно предлагаемой нами для современного английского языка шкалы, verbum

finitum (начиная с баз второго ранга) и имя в именительном падеже (начиная с баз третьего ранга) изменяются в соответствии со своим «коэффициентом ущербности». Чем выше ранг базы, тем более она отдаляется от простого предложения с его морфологически выраженной сказуемостностью и приближается к сочетанию слов, не образующему базу. Но даже базы самого высокого ранга можно представить как предложение, построенное по модели частей речи и подчиненных им членов предложения. Базы высшего (седьмого) ранга представляют собой переходные конструкции к «небазам». До третьего ранга базы имеют эксплицитное внутреннее подлежащее [1], у баз пятого и шестого рангов подлежащее отсутствует [2] — оно восполняется из конситуации, а у баз четвертого ранга подлежащее слитное, т. е. одновременно служит каким-то членом предложения в предшествующей базе и связывает этим обе базы.

В предлагаемой нами модели канонической аранжировке отводится ключевая роль. От нее возможны или необходимы три различных вида отклонений: в базах нулевого ранга возможны неканонические аранжировки; в базах первого ранга — свертывания; в базах второго и последующих рангов каноническая аранжировка всегда выступает в «ущемленном» виде. В базах первого и более высоких рангов невозможны неканонические аранжировки. Свернутые варианты канонической аранжировки недопустимы в базах нулевого ранга и от второго до седьмого рангов. «Ущемление» канонической аранжировки не имеет места в базах нулевого и первого рангов.

Базы, которые могут содержать «неущемленную» каноническую аранжировку, называются предикативными единицами (ПЕ), а в английской грамматической традиции «clause». Л. Л. Иофик [12] определяет ПЕ как структурное единство, образуемое подлежащим и сказуемым, связанными предикативным отношением. Ясно, что это единица не актуального, а синтаксического уровня, а поэтому она характеризуется не предикативностью и модальностью, а сказуемостью. Ее правильнее было бы назвать «сказуемостная единица», но вряд ли целесообразно изменять уже закрепившийся термин.

Самостоятельное употребление предложения возможно только в исключительных случаях, например, в лозунгах, надписях на рекламах, карикатурах и подобных неординарных видах коммуникации. Обычно же предложение составляет органическую часть связанного текста (монологического, диалогического или полилогического), где одно предложение сцепляется с другим содержательно, а содержательная связь обязательно находит более или менее эксплицитную формальную поддержку. Формальные связи могут быть весьма нежесткими [ср., например, местоименное или иное замещение в последующем (реже предыдущем) предложении, референтную или сигнификативную отнесенность, которая не ясна без корреляции с другим предложением; употребление определенного артикля, оправданного лишь тем, что предмет или понятие были ранее уже упомянуты, и т. д.]. Даже при наличии сигналов, специализировавшихся для связи предложений или их частей, например, союзов (сочинительных или подчинительных), союзных наречий типа *moreover*, *besides*, *however*, *nevertheless*, выражений типа *on the other hand*, *finally*, *to begin with*, трудно отграничить СП от связанных между собой самостоятельных предложений, образующих сверхфразовое единство, абзац, сложное синтаксическое целое (discourse, sentence sequence) или иную единицу гиперсинтаксиса. Лингвист-иностранец, изучающий неродной язык, обычно ориентируется на письменный текст. В тексте предложения с сигналами связи типа перечисленных сплошь и рядом включаются в речевой отрезок между двумя пунктуационными знаками конца предложения или, наоборот, разделяются такими знаками. Расстановка знаков препинания определяется культурно-исторической традицией, которая четко не регламентирована в английском языке даже в наше время.

[1] Мы называем такие базы комплексами.

[2] Такие базы с неличными глагольными формами мы называем полукомплексами.

Кроме того, употребление пунктуационных знаков зависит от замысла автора и других нелингвистических факторов [12, 13].

Принципиально СП — это синтаксическая форма, которая, как любое предложение, выражает сообщение, осуществляет один акт коммуникации. Формально оно отличается от простого предложения тем, что включает более одной ПЕ и выражает какое-то отношение между событиями. Точно так же, как конституирующим признаком простого предложения (или ПЕ) является предикативный узел, а конкретнее — сказуемое, конституирующим признаком СП, согласно М. И. Черемисиной [14], является показатель связи частей, в первую очередь коннектор или конъюнктор[3]. Это понимание отражено в дефиниции СП у Л. Ю. Максимова, который считает, что СП — это синтаксическая коммуникативная единица высшего, по сравнению с простым предложением, порядка, которая может быть интерпретирована как функционально и структурно оформленное объединение моделеформ простых предложений, предназначенное для выражения специфических грамматических отношений между соответствующими объединяемыми смыслами [15].

В связи с определением границ СП необходимо решить две проблемы: 1) статус ССП и 2) возможность парцелляции ПП.

Намечаются два решения первой проблемы. Л. Л. Иофик [12, с. 126; 16] не признает существования ССП в английском языке вообще. Она пишет, что не все отрезки текста между точками или равноценными знаками препинания являются предложениями. Если они состоят из двух и более структур с признаками предложения, не связанных друг с другом средствами подчинения, то перед нами не одно предложение, а серия самостоятельных предложений. С точки зрения Л. Л. Иофик, объединение нескольких предложений между конечными знаками препинания при отсутствии лингвистически выраженной подчинительной связи — это единство не синтаксическое, а контекстуальное (смысловое) и пунктуационное. Подробно проанализировав все средства связи между самостоятельными предложениями и частями традиционного ССП (сочинительные союзы, анафорические местоимения и наречия, союзные наречия типа *however*, интонацию и т. д.), Л. Л. Иофик не находит между ними никакой разницы, как бы они ни оформлялись на письме. Другие авторы выступают не столь радикально, но сомневаются в том, что ССП — это подлинное предложение (например, Э. Сепир, В. А. Богородицкий, Ш. Балли, Ч. Фриз, Л. С. Бархударов, Г. В. Колшанский и др.). Действительно, сочинительная связь невозможна без соподчинения связываемых ею элементов. Поскольку части ССП не подчинены никакому господствующему над ними члену, они не могут связываться сочинительной связью.

Такой подход, однако, вызывает трудности: в связи с тем, что грань между ССП и СПП весьма подвижна, отрицая существование ССП, мы тем самым отрицаем существование и СП вообще. Большинство языковедов относит к СП любой речевой отрезок, включая набор ПЕ, связанных с помощью сочинительных союзов или бессоюзно, если он находится между двумя финальными знаками препинания.

Представляется, что решение контроверзы о существовании ССП лежит в различном истолковании его на синтаксическом и актуальном уровнях. Согласно интерпретации в актуальном аспекте, ССП — это единство, актуализируемое самим говорящим. В синтаксическом аспекте ССП предстает как набор отдельных предложений. Что касается сходства средств связи между частями ССП и между однородными членами предложения, то оно объясняется экстраполяцией сочинительных связей на

---

[3] Коннекторами мы называем подчинительные союзы (семантические и асемантические) и их эквиваленты в составе ПП, обычно используемые для его связи с ГП, т. е. союзные и относительные местоимения и наречия. Конъюнкторы — это сочинительные союзы и их эквиваленты.

уровень предложения, где для них нет структурных оснований [4]. Синтаксис языка не может не быть изоморфным в различных конструкциях, обслуживаемых им. Связи между ПЕ не могут быть чем-то принципиально иным по сравнению со связями внутри ПЕ или другой базы. Синтаксические и смысловые отношения между компонентами СП «той же природы, что и отношения между словоформами, соединяющимися в составе словосочетаний или в составе открытых и закрытых рядов словоформ в простом предложении, но имеют иную систему средств выражения, лишь частично совпадающую с системой средств выражения отношений между словоформами» [19].

СПП, в отличие от ССП, является не только речевым единством на актуальном уровне, но и языковой единицей на синтаксическом уровне, т. к. располагает специальными структурными средствами подчинения ПП определенному центру подчинения в составе ГП. Сложноподчиненным мы считаем такое предложение, которое включает хотя бы одно ПП [20], причем, если отбросить ПП, то вообще не будет никакого СП [21]. ПП является конституентом целого [22] или, как писал Ф. Ф. Фортунатов [23], «образуется не само для себя, но для другого предложения». Обобщая исследования ведущих советских синтаксистов, можно отметить следующие особенности СПП: а) наличие по меньшей мере двух единиц одного порядка, построенных по тем же моделям, что и предложение (или база); б) смысловая, структурно-грамматическая и интонационная связь этих единиц, которая проявляется в их смысловой (синсемантия) и формальной несамостоятельности (в случае изоляции) и наличии специальных средств связи (в первую очередь союзов и их эквивалентов), что отличает их от последовательности самостоятельных предложений; в) неравноценность этих единиц в формально-структурном плане (одна из них подчинена другой); г) ведущая роль предикативности (модального, временного планов и ориентации на коммуникантов) господствующей единицы.

Для структуры СПП существенно наличие ПП, а ГП может быть выражено любой базой, несмотря на то, что оно называется предложением. Эта непоследовательность обычно даже не оговаривается, настолько важнее последний член при противопоставлении ГП — ПП: *He was a man as courageous as I was.* Конституирующая роль ПП в СПП отражена в вековой традиции европейских грамматик, где СПП выделяются и классифицируются по ПП и характеру его связи с ГП. Парадокс, что в СПП ведущую роль играет не главная, а подчиненная часть [24], только кажущийся. Любой зависимый компонент конструкции определяет ее сущность [25]. Постановка ПП в центр изучения СПП вовсе не предполагает игнорирования ГП и всего СПП. ГП имеет свои особенности и классификацию, без учета которых невозможно оценить ни СПП, ни сами ПП. Но в основу изучения СПП, в силу их детерминирующей позиции, следует положить ПП (ср. дискуссию на эту тему на X Международном лингвистическом конгрессе [26]).

Для современного английского языка ПП — это подчиненная база, конституируемая двумя дифференциальными признаками: (а) «неущемленной» и несвернутой канонической аранжировкой подлежащего и сказуемого; (б) наличием коннектора. Эти ДП отграничивают ПП от баз более высокого ранга. Обычно (68,3% в выборке из 13 500 СПП) ПП характеризуется обоими признаками. Бессоюзные ПП (23,9%) имеют только второй дифференциальный признак, а свернутые ПП — только первый (7,7%). Специфика английского ПП заключается в том, что один из описываемых двух дифференциальных признаков практически всегда восполняет отсутствие второго: если ПП бессоюзно, то его структурную основу составляет несвернутая каноническая аранжировка (а),

---

[4] Л. Н. Мурзин [17] и Е. Н. Ширяев считают, что ПЕ в составе ССП потенциально подчинены более высокой ПЕ, в рамках которой они всегда могут выступать в качестве однородных соподчиненных ПП. Это другой способ транспонирования сочинительных связей. Е. В. Падучева [18] считает, что сочинительные союзы подчиняют себе любые из связываемых ими элементов.

а если ПП свернуто до союзного оборота, то оно обязательно вводится коннектором (b): (a) *I'm so exited, I simply can't say a word*; (b) *This city, if not the largest in the country, is still an important one.* Исключения, т. е. свернутые ПП без коннектора, составляют только 0,1%. Это изъяснительные ПП в отстоявшихся формулах: «*I* + глагол умственной оценки (*hope, think, suppose, believe, am afraid*) + *not*», например, «*Shall we do it?— I suppose* ***not***». Они тесно связаны с элементами пространства вводности [27] в абсолютном употреблении: *certainly not, happily not.* Эти редкие исключения не могут опровергнуть предлагаемое для современного английского языка определение ПП, а, следовательно, и СПП.

Статус парцеллированных ПП решается в тех же терминах, что и статус ССП, но решение это прямо противоположное. Если вводимая коннектором ПЕ отделена конечными знаками препинания, она остается ПП, а целое, разделенное пунктуационно на две части, остается СПП: *Did you ever like to play with a doll?* ***When*** *you were my age, I mean.* СПП располагает отстоявшимися средствами подчинения, обслуживающими исключительно этот вид СП, поэтому большинство авторов считает маркеры синтаксического уровня более релевантными, чем маркеры актуального уровня, и расценивают ПЕ с коннектором, отделенным точкой, вопросительным или восклицательным знаком, не как самостоятельное предложение, а как ПП (например, Г. Суит, Г. Поутсма, Г. Глисон, И. Носек, А. М. Пешковский, Б. А. Ильиш и др.). Парцелляция — это разрыв одной единицы синтаксического уровня на две единицы актуального уровня в связи с рематизацией и повышенной эмоциональностью [11, с. 26—28]. Парцелляция — это речевой разрыв. Если же ПП приобретает особое, отстоявшееся в языке значение, то образуется новая модель, в которой коннектор перестает служить средством связи и приближается к модальному элементу самостоятельного предложения. В этом случае и на синтаксическом уровне образуется два предложения, из которых одно сохраняет форму ПП, но по содержанию уже ПП не является. При разрушении СПП происходит сепаратизация: *I am so much afraid. Oh, that I were a man!*

Итак, ни парцеллированное ПП, ни ССП не являются отдельными предложениями в рамках синтаксического уровня. Интонация и финальные знаки препинания служат специальными средствами членения поверхностной структуры при неизменной глубинной структуре. Парцеллированное ПП — это вычлененная часть СП, противопоставленная не структурно господствующему слову, а всей остальной части СП. ССП же, наоборот, представляет собой объединение двух или нескольких структурно самостоятельных предложений с целью противопоставить их как единое целое соседним предложениям или их объединениям: *He bent over the child.* ***She was quiet now and her eyes were closed.*** *She did not know what had become of the doll.* СП может выступать как СПП и ССП, но СПП — это единица синтаксического уровня, которая, за исключением редких случаев парцелляции, функционирует как цельная единица и на актуальном уровне. Что же касается ССП, то его на синтаксическом уровне не существует, оно появляется только на актуальном уровне, не отличаясь в этом отношении от сверхфразовых единств, абзацев и других единиц гиперсинтаксиса [5].

Проблема СП, кроме исследования сущности ССП и СПП, включает еще вопросы о бессоюзии и других типах связи между частями предложения.

До сих пор в отечественном синтаксисе господствует восходящая к С. О. Карцевскому и Н. С. Поспелову концепция, согласно которой СП делится в первую очередь на коннекторно-конъюнкторные предложе-

---

[5] Отдельные ССП могут становиться единицами синтаксического уровня, например, когда их части связаны: *not only — but (also), once — and.* С другой стороны, не все контактно расположенные самостоятельные предложения с сочинительными союзами между ними можно объединить в ССП из-за несовместимости их содержания [28]. Все это, однако, не меняет положения об отсутствии структурных связей между частями ССП.

ния и предложения, в которых связь между частями не маркирована. У последних нет отстоявшихся эксплицитных средств отграничения подчинения от сочинения. Только на втором уровне классификации коннекторно-конъюнкторные СП делятся на ССП и СПП, а в бессоюзных предложениях противопоставление сочинения и подчинения считается снятым [5, с. 35—38; 29]. Такая концепция представляется нам неправомерной. Совершенно неприменима она для современного английского языка, где широко используется принцип нулевой позиции, в частности, нулевые коннекторы. Нулевым коннектором или конъюнктором оформляются самые разнообразные конструкции, но в английском языке нуль в них факультативен, т. е. в предложение можно вставить союз или другой коннектор или конъюнктор, который эксплицирует связь. Это заметил еще Г. Суит, который классифицировал асиндетические СП согласно природе формального слова, необходимого, чтобы превратить их в синдетические [30]. Отсутствие союза или его эквивалента компенсируется иными средствами связи: строением частей СП, глагольными словоформами, пропуском позиции, интонацией и т. д. Поэтому вполне обосновано рассматривать асиндетические СП как варианты синдетических ([31], ср. также работы В. И. Кодухова, В. В. Щеулина, А. Ф. Кулагина и др.). Случаи синкретизма, в которых тест на введение коннектора или конъюнктора не эффективен, остаются амбивалентными при любой классификации, и их не так уж много. Показательны работы, в которых декларируется первичность оппозиции «синдетон — асиндетон», а при выделении конкретных разновидностей бессоюзных СП используется критерий подстановки пропущенного средства связи (например, [32]).

Противопоставление ССП и СПП не исчерпывает возможностей комбинации ПЕ в составе СП. В другой своей работе мы предложили противопоставлять подчинительные связи не сочинительным, а более свободным и разнообразным горизонтальным [33], к которым, кроме сочинения, относится еще уточнительная, аппозитивная и некоторые другие связи. Вопрос этот требует разработки, но уже сейчас очевидно разнообразие пояснительно-уточнительных зависимостей между частями СП.

Последовательная теория и полная классификация СП — дело будущего. Они должны базироваться на постулатах, единых для синтаксических построений внутри и вне базы. Мы рассмотрели несколько деталей этой теории и классификации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ломтев Т. П.* Природа синтаксических явлений (к вопросу о предмете синтаксиса).— ФН, 1961, № 3, с. 33.
2. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 60.
3. *Головин Б. Н.* К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса.— В кн.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969, с. 82—85.
4. *Бархударов Л. С.* Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966, с. 179.
5. *Karcevski S.* Sur la parataxe et la syntaxe en russe.— CFS, 1948, 7, p. 33—34.
6. *Чесноков П. В.* Неогумбольдтианство.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977, с. 55.
7. *Кручинина И. Н.* Некоторые тенденции развития современной теории сложного предложения.— ВЯ, 1973, № 2, с. 115.
8. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл (логические проблемы). М., 1976, с. 75.
9. *Tesnière L.* Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959, p. 546, 582.
10. *Минкин Л. М.* К вопросу о возможности реализации синтаксической системы языка и речи.— Ин. яз. в шк., 1978, № 5, с. 27.
11. *Белошапкова В. А.* Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.
12. *Иофик Л. Л.* Существует ли сложносочиненное предложение в английском языке? (К вопросу о форме предложения).— ФН, 1958, № 2.
13. *Бархударов Л. С.* Способы соединения предложений в английском языке.— Ин. языки в высшей шк., 1974, вып. 8, с. 72.
14. *Черемисина М. И.* Некоторые вопросы теории сложного предложения. Новосибирск, 1979, с. 13.
15. *Максимов Л. Ю.* Многомерная классификация сложноподчиненных предложений (на материале современного русского литературного языка). М., 1971, с. 9.

16. *Иофик Л. Л.* Сложное предложение в новоанглийском языке. Л., 1968, с. 82—92.
17. *Мурзин Л. Н.* Синтаксическая деривация. Пермь, 1974, с. 135, 141—144.
18. *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974, с. 171.
19. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 653.
20. *Hermann E.* Gab es im Indogermanischen Nebensätze? Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax. Gütersloh, 1894, S. 5.
21. *Бархударов Л. С., Колшанский Г. В.* К проблеме структуры сложного предложения.— В кн.: Сборник статей по языкознанию. М., 1958, с. 44
22. *Brøndal V.* The problem of hypotaxis.— In: Structuralist: Selected readings. Ed. by Householder J. W. Harmondsworth, 1972, p. 27.
23. *Фортунатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение.— В кн.: *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды. Т. 1. М., 1956, с. 188.
24. *Ильенко С. Г.* О специфике главного предложения в сложноподчиненных предложениях с придаточным обстоятельственным.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1958, т. 144, каф. русск. языка, с. 5.
25. *Ельмслев Л.* Пролегомены к теории языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
26. Actes du X Congrès International des linguistes. II. Bucarest, 1970, p. 1003—1005.
27. *Биренбаум Я. Г.* Пространство вводности и придаточные предложения: Пособие по спецкурсу. Челябинск, 1976, с. 89—106.
28. *Запорожцев В. И.* К вопросу о разграничении компонентов сложносочиненных предложений и самостоятельных предложений.— В кн.: Вопросы грамматики и стилистики немецкого языка. Ставрополь, 1972.
29. *Поспелов Н. С.* О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений.— В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950, с. 338—345.
30. *Sweet H.* A new English grammar, logical and historical. Oxford, 1955, p. 170.
31. *Ярцева В. Н.* Исторический синтаксис английского языка. М.— Л., 1961, с. 252.
32. *Ишо Л. Х.* Бессоюзные сложные предложения с определительной частью в современном английском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1961.
33. *Биренбаум Я. Г.* Горизонтальные синтаксические связи.— ВЯ, 1979, № 5, с. 79.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

ЮДАКИН А. П.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ АКТИВНОГО ПРИЧАСТИЯ

(На материале индоевропейских и семитских языков)

1. Соотношение именного и глагольного предложения с перфектом и имперфектом. Язык — сложное общественное явление, имеющее свои собственные законы развития. Некоторые из них проявляются во всех основных ярусах языка: лексике, фонетике, морфологии, синтаксисе и т. д. — это так называемые общие законы; другие действуют в одном из ярусов языка или в пограничных областях, цементируя язык как феномен в сложное целое [1, 2].

В данной статье обращается внимание на то, как работает один из частных законов в семитских языках, а именно, как осуществляется преобразование активного причастия в настоящее время, какие предпосылки играют существенную роль в оформлении результативного аналитического перфекта и какое значение имеет для этих процессов оппозиция действие ~ состояние. Будет рассмотрен также вопрос о возможности трансформации пассивного причастия настоящего времени в активное и затронута проблема взаимоотношения активного и пассивного залогов, а также предпринята попытка проследить пути нарушения противопоставления активности ~ пассивности, с тем, чтобы выяснить возможность появления в той или иной группе языков эргативной конструкции предложения с подлежащим в особом эргативном падеже (или в одном из косвенных падежей), сказуемым, согласующимся со своим прямым дополнением, при активном значении самой конструкции.

Нас будет интересовать лексическая параллель лат. *parens* — *genitor*, но не семантика данных слов, а морфологические явления, которые способствовали образованию категории слов со значением имени деятеля на основе причастий. Первое из этих слов хорошо известно как из латыни, так и из новых европейских языков — наследников латыни: итал. *parente* «родственник», рум. *părinte* «родитель», франц. *parent* «родственник» — *parents* «родители». В латыни *parens* «родитель», «родительница» образовано от глагола *pario*, *peperi*, *partum* «рожать, производить на свет»; следовательно, данное слово является субстантивированным причастием (participium praesentis activi) и имеет значение имени деятеля.

Слово *genitor*(*m*) — *genitrix*(*f*) с тем же значением образовано от глагола *gigno*, *genui*, *genitum* «рож(д)ать, производить на свет» и отличается от первого своей более древней, но менее разветвленной родословной. *Genitor* — *genitrix* также является именем деятеля, но оно значительно старше *parens* и имеет соответствия во многих древних и.-е. языках: др.-греч. γενέτωρ, санскр. *janitŕ* и т. д. А вот в новых и.-е. языках, в том числе и романских (кроме итальянского), вероятно, это слово утрачено, что еще раз может свидетельствовать о большей древности *genitor* сравнительно с *parens*. Впрочем, и последнее стало терять свои позиции, судя по тому, что в некоторых языках в семантическом поле родства оно вытесняется на периферию: исп. *los padres* «родители» (от *padre* «отец»), но *pariente* «родственник».

Думается, что в основе процесса образования имени деятеля от акт. причастий лежит оппозиция действие ~ состояние. Оппозиция действие — недействие кажется нерелевантной при первом подходе к решению данной проблемы, но на деле заслуживает рассмотрения, а при исследовании

лингвистических фактов сразу же встречаются серьезные методические трудности [3]. И порою нет твердых критериев для определения границ, где заканчивается действие и процесс стремится к нулю, переходя в свою противоположность. Действие передается не только глаголом; существительные с неменьшим успехом обозначают действие в его развитии и становлении: *создание*, *творение*, *горение* и т. п. в русском языке; абстрактные имена действия в различных языках; масдары (nomina actionis) в семитских языках: в араб. *šuġlun* «занятие», *ʿilmun* «знание, наука», *ḏahābun* «уход, отъезд», *raḥīlun* «отправление в путь» и проч. С другой стороны, глаголы обозначают не только действие, но и характер протекания действия (однократность — многократность, совершенность — несовершенность и проч.), а также состояние или действие и состояние одновременно (*спать*, *радоваться*, *горевать*).

Можно ли обнаружить в семитских языках существование рассматриваемой нами оппозиции действие ~ состояние и если да, на каком уровне грамматики она проявляется? Оказывается, семитские языки знают оппозицию действие ~ состояние и проявляется она, как и в русском языке, уже в лексике (точнее, на лексико-грамматическом уровне).

В современном арабском языке есть три модели глагола нерасширенной основы — I порода [1]. Типовым гласным простой нерасширенной основы может быть один из трех кратких гласных *a*, *i* или *u*. Действие обозначается наиболее часто встречающейся формулой faʿala (*baraḳa* «сверкать», *jalasa* «сесть», *kasara* «разбивать»). Глаголы модели (faʿila) и (faʿula) обыкновенно называются нейтральными, ввиду того, что они выражают действие не активное и не пассивное. В силу своей внутренней семантики эти глаголы передают временное состояние (тип faʿila: *mariḍa* «быть больным», *fariḥa* «радоваться», *nāma* «спать»), свойство или постоянное качество (тип faʿula: *ḥasuna* «быть хорошим, красивым», *kabura* «быть большим», *ḳabuḥa* «быть безобразным»), т. е. можно сказать, что подобные глаголы выражают состояние или качество, относящееся к лицу, грамматически выраженному подлежащим, но которые не могут относиться к другому лицу как объекту действия. Кроме того, состояние наряду с действием и его становлением могут передавать и расширенные (производные) основы, например, IV порода: *ʾajdaba* «быть пораженным засухой», от *jaduba* «быть сухим» (о земле), а также нейтральные глаголы корней III_y I породы («недостаточные» глаголы типа *raḍiya*, *baḳiya*, *banā*) [5; 6, S. 139; 7].

Чтобы проследить, как манифестируется оппозиция действие ~ состояние, необходимо исследовать, в чем заключается сущность противопоставления перфект ~ имперфект в арабском языке, и выяснить, соответствует ли эта оппозиция противопоставлению аориста и презенса и.-е. праязыка. Арабский перфект как время результативное может выражать состояние, возникшее в результате действия, совершенного в прошлом. Часто это имеет место при глаголах, выражающих чувства, ощущения, душевное состояние (*ʿarafṯu* «я узнал, знаю», *fahimtu* «я понял, понимаю», *raḍitu* «я доволен»). Это явление имеет аналогию в других языках (ср. лат. *novi* «я знаю», *memini* «я помню», *odi* «я ненавижу» и проч.). Имперфект обозначает действие или состояние безотносительно к какому-либо моменту, т. е. как постоянно происходящее. Таким образом, перфект и имперфект в самой своей сути противоположны уже тем, что перфект сообщает действию оттенок состояния, а имперфект приписывает состоянию оттенок действия. Только основываясь на этом, можно положительно решить спор о том, имеет ли перфект типа *ḳatala* именное происхождение [8—11]. Перфект в силу своей семантики является неустойчивым образованием и представляет собой тот канал, благодаря которому расширяется

[1] Б. М. Гранде дает следующее определение породы глагола: «Из общего количества расширенных глагольных основ... некоторые являются более или менее регулярными, хотя не от каждого корня. Они объединяются вместе с простой основой в единую систему глагольных форм и представляют собой как бы ряд спряжений, параллельных спряжению начальной простой основы. Эта группа расширенных основ известна под названием глагольных п о р о д» [4, с. 122].

сфера влияния глагола за счет имени. Поэтому можно с определенной степенью уверенности утверждать, что имена, обозначающие действие и состояние типа араб. прич. наст. вр. *fāʿilun*, со временем превратятся в чистые глагольные формы, что и демонстрируется развитием данного прич. в наст. время как в арабском, так и в других семитских языках. Этим моментом действия глагольные предложения в имперфекте отличаются от именных предложений. Если именные предложения передают состояние, а также качество и признак предмета в общем виде, благодаря чему в именном предложении и ощущается присутствие настоящего момента, имперфект сдвигает это безотносительное, обобщенное настоящее в плоскость действия.

Самой собой разумеется, сказанное выше не является исключительной особенностью арабского или, шире, семитских языков. Языковые категории формируются медленно, и не сразу в них полно и четко отражается объективная реальность. Поэтому сначала они употребляются с прегнантным, расширительным значением, зачастую функционируют параллельно, взаимно заменяя друг друга. Когда арабский язык характеризовали видо-временные отношения глагола и еще не установились сложные аналитические временные формы, так называемый арабский перфект с соответствующими актуализаторами употреблялся для обозначения как результативного, так и нерезультативного прош., а также наст. и буд. времен (ср. также с употреблением в русском языке наст. вр. вместо прош. повествовательного и буд.: *Я иду завтра в горы*). То же справедливо и относительно арабского имперфекта.

Подобные же процессы приходится признать справедливыми и в отношении и.-е. языка периода, предшествующего периоду с четким противопоставлением инфекта и перфекта, которое мы наблюдаем, например, в латинском языке. Этот период относится примерно к младшему СИЕ (среднеиндоевропейскому, по классификации Н. Д. Андреева [12]) и характеризуется противопоставлением аориста и презенса, которое аналогично оппозиции перфект ~ имперфект арабского языка. То, что данная оппозиция была нечеткой и что аорист использовался для обозначения как результативного, так и нерезультативного прош., видно из дифференциации времен по употреблению и названию, например, в др.-греч. praesens historicum — наст. в значении прош., aoristus gnomicum — гномический аорист, употребляющийся в крылатых выражениях в значении наст вр. и соответствующий арабскому гномическому перфекту, и т. п.

2. От причастия настоящего времени к имени деятеля. Наиболее распространенным является мнение, согласно которому причастия выражают как действие, так и состояние, проявляемое данным лицом или предметом (или испытываемое им) безотносительно к моменту времени [4]. Эта формулировка требует уточнения.

Прич., будучи отглагольным образованием, имеет точки соприкосновения с глаголом и именем (существительным и прилагательным). Но если бы прич. обозначали только действие или использовались для дифференциации временного плана [6, S. 331], надобность в них отпала бы и они растворились бы в категории глагола — и история языка знает подобные случаи (слав. прич. на *-л*: *читал, разговаривал*; лат. прич. на *-to* и т. п.), и уж ни в коем случае прич. не представляло бы удобного материала для именных образований. Основным значением прич. должно быть нечто такое, что служило бы источником для обогащения именного класса и в то же время способствовало употреблению прич. в предложении наравне с глаголом. Таким основным значением прич., вероятно, может быть только момент статичности, состояния. Выше отмечалось, в какой степени момент состояния пронизывает глагольные категории, реализуясь как в плане наст.-буд. времени, так и прош. Но вполне понятно, что категория состояния наиболее полно должна реализоваться в таких формах, которые в какой-то мере нейтральны в отношении основных глагольных категорий: времени, вида, действия и т. д. В арабском языке такими удобными формами являются действ. и страд. причастия. Именно благодаря выражаемому причастиями значению состояния как наиболее об-

щей категории устанавливается их тесная связь как с глаголом, так и с именем существительным.

Посмотрим, как реализуется эта двусторонняя связь. Статичность, состояние уже в силу своей внутренней потенции предполагает наличие настоящего момента в наиболее общем виде или возможности совершить действие, поэтому прич., маркированное в предложении соответствующими лексическими показателями, такими, как наречия и частицы, поддержанное главной глагольной формой или же всем контекстом, может обозначать второстепенное действие, грамматически реализуя лексическое наполнение опорной словоформы. Этой метаморфозе прич. благоприятствует весь наличный контекст языка: поскольку именное предложение мыслится носителем языка в плане наст.-буд. времени, связанная с глаголом форма даже на изолированное именное предложение накладывает яркий отпечаток действия: русск. *он учитель*, *студент* и *он учащийся*, *трудящийся*; араб. *huwa ḏāhibun*, *kātibun* «Он идет, пишет» (букв. «он идущий, пишущий»). И это действие мыслится как совершаемое в настоящем, будущем и прошедшем [13, S. 2]. Предрасположенность к выражению действия, заключенная в категории состояния, помогает реализовать через прич. форму и различные модальные оттенки; именно поэтому возможно употребление действ. прич. в футуральном значении, финальном и т. д. [14]. Сближение прич. с глаголами действия реализуется и в области синтаксиса: оно управляет теми же падежами, употребляется с теми же предлогами, что и однокоренной глагол. Русск. *я вижу*, *видящий кого-л.*, *махать*, *махнувший кому*, *на кого-л.*; араб. *ḏahaba*, *ḏāhibun ʾilā* (предлог *ʾilā*) + род. п. «он шел, идущий к», *kataba*, *kātibun šayʾan* «писал, пишущий» (что-л. — вин. п.) [4, с. 449—451].

С другой стороны, момент статичности в действии, выражаемом причастием, облегчает переход акт. прич. в nomen agentis — имя деятеля (действователя) и страд. прич. в имя поддейственное — nomen patientis. В идеальном плане этот переход можно представить как стяжение прич.— сказуемого именного предложения с подлежащим этого предложения. Как в случае глагольного употребления к прич., имеющему только лишь значение активного или пассивного состояния, подключается контекстуальное значение времени, лица и проч., точно так же на прич. в именной функции распространяется значение действующего лица в самом общем виде. Упрощенно это можно представить так: *huwa — kātibun*, *ḏāhibun* «он — состояние писания, хождения» — «он тот, кто находится в состоянии писания, ходьбы». После того как сема *huwa* «он» вписывается в круг основных значений прич., становится возможным употребление данного прич. в качестве имени деятеля как в функции подлежащего, так и функции сказуемого именного предложения.

Если сема «деятеля вообще» не растворяется нацело в прич., а в виде местоименных аффиксов присоединяется к акт. прич., возникает форма, обозначающая длительное состояние (длительную деятельность) типа аккадского пермансива: аккад. *šinništum šīul aššat* (3-е л. ж. р.). «эта женщина — не жена»; *nakar-āta* (2-е л. м. р.) «ты — враг».

Именно трансформацией акт. прич. в двух направлениях и объясняется двойное управление этого именного образования: управление глагольное и именное. Последнее древнее по происхождению [15]. И едва ли правомерно объяснение род. п. при имени деятеля как род. при перфективном прич. (араб. *ḳātilu Zaidin* «тот, кто убил Зейда — убийца Зейда») [13, S. 175], ибо глубинная структура nomina agentis включает семы перфективности, имперфективности, финальности, намерения и проч. [16, с. 62].

Прич. арабского языка образуют систему противопоставлений. Прежде всего акт. и пас. прич. соотносятся между собой. К этому нужно добавить, что в действ. прич. преобладает момент действия, и, значит, они соотносятся с финитными формами глагола: имперфектом (в первую очередь) и перфектом. С имперфектом их связь наиболее четко проявляется в тех случаях, когда прич. наряду с имперфектом употребляются для обозначения наст.-буд. времени (явление, характерное для многих семитских

языков [17]). В языке маалула в этом случае к прич. прибавляются префиксы имперфекта *nḥōpeb* «я пишу», *čhōpeb* «ты пишешь», что соответствовало бы в арабском, имей он категорию спрягаемого прич., *ʾa-kātib-u, ta-kātib-u*. В других языках активные прич. в соединении с глаголом «быть» употребляются для обозначения перфекта [18]; например, в тигре *māseʾ hallēkō* (*hallē* «быть) «я пришел». Иногда в подобных случаях вспомог. глагол сочетается не с прич., а с инфинитивом, как в амхарском. Страд. прич. в силу свойственного пассивности значения перфективности, сближаясь с финитными формами глагола, соотносятся с пассивным перфектом, а также имперфектом.

Таким образом, своим оригинальным значением активное прич. сближается с имперфектом, при этом значение состояния, характерное для его глубинной структуры в прошлом, затемняется или исчезает — в результате чего акт. прич. в некоторых семитских языках порой тождественно имперфекту; тот же процесс исчезновения состояния захватывает и страд. прич., но в нем эта трансформация состояния происходит в сторону результативности, благодаря чему у страд. прич. появляется все большее число точек соприкосновения с перфектом.

Выступая в предикативной функции в именном предложении, прич. (акт. прич. более употребительны) вступают в новую оппозицию, оппозицию с именным предложением в целом, в котором преобладает момент статичности. Благодаря этой функции прич. в именном предложении последнее еще больше сближается с имперфектом — точкой их соприкосновения служит обозначение наст. времени. Но основным в значении имперфекта и именного предложения является не момент общности, а момент различия — образование оппозиции статичность ~ нестатичность (динамичность). Этот момент различия проявляется и в противопоставлении именное предложение ~ перфект. Возможность обозначения состояния в какой-то мере сближает именное предложение и перфект, но в последнем состояние сдвинуто в сторону результативности. Именное предложение смыкается с перфектом при обозначении состояния в плане прошлого. В этом случае в именном предложении употребляется вневременной глагол *kāna* «быть», который нейтрализует присущее именному предложению значение обобщенного наст. времени, переключая именное предложение в сферу прошлого. Ср. попарно: *ʾanā ṭālibun* «я студент» и *ʾanā kuntu ṭāliban* «я был студентом». Как в русском, так и в арабском языках переключение именного предложения в сферу прошлого сопровождается изменением им. предикативного в твор. предикативный (русск.) или вин. предикативный (араб.).

3. Существует ли сходство в диахронии семитских и индоевропейских языков? Индоевропейские *ta-* причастия в функции имени деятеля и активного причастия. На примере арабского языка мы видели, что в определенный период истории языка прич. наст. времени (акт. прич.) создают базу для появления и распространения в языке nominum agentis. Уместно поставить вопрос, был ли в и.-е. период, похожий на аналогичный в истории арабского языка? Для ответа на этот вопрос рассмотрим nomina agentis в различных и.-е. языках. Обращает на себя внимание факт наличия во многих и.-е. языках имени деятеля с суф. *-tor/-ter*: санскр. *dātṛ́* «податель», *janitṛ́* «отец, родитель»; авест. *jantar* «убийца»; др.-греч. δώτωρ (δωτήρ) «даятель, податель», ἡγήτωρ (ἡγητήρ) «вождь, предводитель»; лат. *dator* «даятель», *victor* «победитель»; русск. *податель*, *учитель* и т. п. Некоторые языки древности сохранили определенный лексический фонд, в котором слова, имеющие значение имени деятеля, имеют вместе с тем и причастное значение. Например, санскр. *dā́tr* «дающий» и *dātṛ́* «податель» — с различием в вокализме и в тоне и т. д. Зачастую подобные nomina agentis сохраняют и соответствующее управление — глагольное или именное: санскр. *dā́tā vásuni* «дающий богатства» (вин. п.) и *dātā́ vásūnām* «даятель богатств» (род. п.) [16, p. 28—44]. Еще одно сравнение имени деятеля, а именно с некоторыми немногочисленными словами, обозначающими родство и образованными с помощью суф. *-r* (*ar*)

типа *devṛ* «тесть», *svásṛ* «сестра», *nánāndṛ* «зять» и т. д., убеждает, что при реконструировании данного типа прич. мы должны исходить из того, что суф. здесь будет *-*to*/-*te*. Различие в тоне и в вокализме, по всей вероятности, явление позднее, послужившее началом для образования омонимов,— слов, близких к прич. и имени деятеля.

Вспомним еще об одном суффиксе — суф. *-*no*, встречающемся в ряде и.-е. языков: санскр. *purṇa*, лат. *plenus*, литов. *pìlnas*, церк.-слав. *plъnъ* «полный, наполненный». Таким образом, можно реконструировать акт. прич. с суф. *-*to*/-*no*, может быть, правильнее *-*t*/-*n*. Но факты любого древнего и нового языка протестуют против подобной реконструкции. Данные санскрита, древнегреческого, латинского и русского языков свидетельствуют об обратном (ср. русск. *битый*, *мытый* и проч.), а именно о том, что прич. на *-*to*/-*no* являются прич. соверш. вида страд. залога. В принципе можно было бы исходить из положения Э. Бенвениста о том, что данный суффикс имел два варианта *-*t*/-*th*- [16, p. 163], но, думается, обосновывать противоречивые положения не менее спорными доказательствами нецелесообразно. По-видимому, нужно начать с другой стороны.

4. Минимальный набор значимых единиц в структуре глагола на ранних этапах развития языка. В и.-е. языках есть еще nomina agentis типа лат. *parens* «родительница», *agens* (юр.) «истец, жалобщик; ревизор, сыскной агент» (от основы инфекта глагола *ago* «гнать, вести; руководить»), иногда находящие соответствие в более древних моделях на *-tor*/*-ter*. *Genitor*/*-trix* «родитель, *-ница*» сходно по значению со словом *parens* и происходит от глагола *gigno*, семантически эквивалентного глаголу, давшему начало имени *parens*, с той разницей, что слово *genitor*/*-trix* образовано прибавлением суффиксов к основе перфекта; *actor* «жалобщик, истец; действующий, приводящий в движение; (театр.) декламатор» — производное от перфектной основы (точнее, от основы супина) того же глагола *ago*, *egi*, *actum*, что и слово *agens*, посредством суф. *-or*, и частично имеет сходное с ним значение. Суф. *-tor*/*-ter* присоединялся прежде, по всей вероятности, к основе перфекта, но в дальнейшем после приобретения *ta*-причастиями перфективного значения, когда *-t-* стало восприниматься как грамматический показатель, суф. *-or*/*-er* стал употребляться по преимуществу как лексический показатель имени деятеля. В таком значении он и употребляется в большинстве современных западноевропейских языков: англ. *actor*, *founder*, итал. *attore*, *fondatore*; нем. *Schauspieler*, (*Be*)*gründer*; франц. *acteur*, *fondateur*; (а также) русск. *актер* (заимствование), *основатель* и т. д.

Имя деятеля на *-(*e*)*n*(*t*)*s* имеет точки соприкосновения с прич. наст. вр. на *-(*e*)*nt*-. Данные прич. сохранились в большом массиве и-е. языков в виде прич. же наст. вр., прилагательных, изредка nomina agentis. Все и.-е. языки свидетельствуют о том, что мы имеем дело с акт. прич. наст. времени. Но в некоторых, языках, например, в палайском, очень близком к хеттскому, прич. на *-nt-*, по-видимому, может выступать и в активном, и в пассивном значении [2] [20, с. 151]. В другом анатолийском языке, лувийском, наряду с акт. прич. на *-nt-*, образующимся от интранзитивных глаголов, имеется медиопассивное прич. на *-mi* от транзитивных глаголов. Очевидно, утверждение, будто прич. на *-nt-* — это акт. прич., не так уже бесспорно. В силу этого не кажутся вполне убедительными доказательства того, что прич. на *-nt-* всегда были пассивными прич. Вероятно, нет веских оснований для опровержения точки зрения, согласно которой активные прич. имеют идеальную точку соприкосновения с именами деятеля. И, следовательно, в латинских страд. прич. соверш. вида произошла смена активности и имперфективности на пассивность и перфективность.

Некоторые авторы [20, с. 163] отмечают связь форм 3-го л. ед. ч. наст. вр. медиопассива типа *-tor* с формами имен на *-tor*/*-ter* типа хет. *i-tar* (от

[2] Ср. также данное положение с амбивалентностью прич. (т. е. использованием одного и того же разряда прич. в качестве действительных и страдательных) в неиндоевропейских языках [19, с. 136].

i- «идти»), лат. *iter* (от *eo*, *ii*, *itum*, *ire* «идти»), тохар. *ytar* и т. д., полагая, что отглагольные имена на *-tor/-ter* могли функционировать в качестве чистой основы для обозначения глагольной формы 3-го л., что приводило к переосмыслению элемента *-t-* в данных формах, который был сопоставлен с *-t-* в первичных и вторичных окончаниях 3-го л. ед. ч. Это сложный и неудобный путь доказательства, к тому же и не такой уже непротиворечивый. Проще (а, может быть, и правильнее) начинать доказательство с сопоставления этих лексических реликтов с nomina agentis, включающих в себя сему имперфективности (сему несоверш. вида, переходящую в сему наст.-буд. времени,— то, что мы наблюдаем в имперфекте семитских языков). Сопоставление прямое без каких бы то ни было переосмыслений и аналогий — сопоставление с самим имперфектом (наст.-буд. временем несоверш. вида). Таким образом, не исключена непосредственная связь и родство форманта *-t-* в суф. имени деятеля на *-tor/-ter* и показателя имперфектности *-t* в первичных и вторичных окончаниях 3-го л. ед. ч. Говоря иными словами, в оппозиции *videt — vidētur* («он видит» — «его видят») в первом случае выступает чистое прич., во втором — представлено прич., отягощенное более поздними показателями медиопассива,— по традиционной версий. В этом случае мы имеем дело с формантом *-t-*, еще не реализовавшим свое пассивное значение, и, наоборот, пассивное значение прич. на *-nt-*, коль таковое было, уже исчезло и наступило временное равновесие форм.

Таким образом, в рассматриваемый период истории и.-е. языка прич. на *-nt-* и прич. на **-n/-t* составляют оппозицию, реализуемую в различных формах: *videt — vident*, *videtur — videntur* («он видит» — «они видят», «его видят» — «их видят»). Втягивание активных прич. в парадигму наст.-буд. времени мы наблюдаем во многих семитских языках. В окончательном виде реконструкция форм (морфология глагола и.-е. языка, примерно равная младшему СИЕ по классификации Н. Д. Андреева), будет выглядеть так: перфект (аорист [3]): активное прич., имперфект (презенс): пассивное прич. При этом по крайней мере в и.-е. и семитских языках возможна трансформация рассматриваемых категорий в пределах оппозиций [4].

Итак, мы попытались показать, что отглагольные имена, имеющие точки соприкосновения как с именем, так и с глаголом, уже в силу своего срединного положения заключают в себе сему (значение) агентивности и, следовательно, при определенных условиях могут служить базой для организации субъекта предложения (имя деятеля) и его предиката в соединении со вспомог. глаголом «быть», при этом причастия наст. вр. формируют наст. аналитическое время, причастия прош. вр. образуют прош. аналитическое время (перфект). Этим же объясняется возможность возникновения в языке эргативообразной конструкции предложения на базе причастий соверш. вида прош. времени. Правда, это не объясняет, почему в и.-е. языках, в которых имеется эргативообразная конструкция, ее становление происходит именно на основе причастий прош. времени соверш. вида, но, думается, на это прольют свет дополнительные исследования [см. 21, с. 204—263].

5. Структура причастий в арабском и русском языках. Гипотеза о структурно-типологическом сходстве языков в диахронии. На первый взгляд, между русским и арабским языками существует определенное структурно-типологическое сходство. Начнем с глагола, поскольку глагол выражает вполне законченную мысль и глагол необходим и вполне достаточен для выражения элементарных предложений. В отношении 3-го л. существительное выступает в роли актуализатора: русск. *светит/он(а, о) светит/солнце светит*, араб. *ḏahaba* «(по)шел»/*huwa ḏahaba* «он (по)шел»/*ḏahaba aṭ-ṭālibu* «студент (по)шел». Существительное конкретизирует действие

[3] За скобками терминология, принятая в семитских языках, в скобках — в и.-е. Разнобой в терминологии указывает на неполное совпадение категорий в объеме.

[4] Не учитывается возможность типологического сходства становления грамматических категорий в различных языках не в плане синхронии, а в плане диахронии.

глагола, приписывая его тому или иному лицу или предмету. Относительно 3-го л. и глагол является актуализатором, проникая в царство имени существительного, в сферу именного предложения. В этом случае глагол входит в состав именного сказуемого и служит в предложении связкой и полусвязкой. Данные рассуждения позволяют при сравнении языков, особенно в области синтаксиса и морфологии, исходить из глагола.

При первом приближении отмечаем некоторое сходство в морфологии глагола: глагол как в русском, так и в арабском характеризуется видовременными отношениями [22—27]; как в том, так и в другом языке есть прош. время (в русском — аорист, в арабском — перфект, служащий для обозначения действий совершенных и несовершенных); есть наст. время, которое служит в обоих языках для обозначения прош., наст. и буд. времени. Наст. время выражается формально, остальные с помощью актуализаторов-наречий.

Но, делая следующий шаг, мы сразу же замечаем колоссальное различие, и не только в морфологии вида и времени; например, в русском языке повторность проявления действия передается синтактически, посредством внутренней флексии (*ходил — хаживал*), в арабском — аналитически (*ḏahaba — kāna yaḏhabu*). Рассмотрим причастия. По определению, это форма слова, обладающая признаками имени и глагола. Если не жонглировать словами и строго придерживаться этого определения, причастием мы можем назвать такую форму слова, которая функционирует в качестве определения к существительному или служит сказуемым предложения — в данном случае гибридного глагольно-именного предложения. И обратно, если форма слова имеет признаки существительного и глагола, но не в состоянии исполнять основную глагольную функцию — быть предикатом, то, по всей вероятности, мы не имеем права данную глагольную форму причислить к разряду причастий. Исходя из этого положения, мы можем сделать вывод, что в арсенале русского языка всего лишь два причастия: страд. прич. наст. вр. с суф. *-им* (*Мною ты была любима и для милого хранима*) и страд. прич. прош. вр. с суф. *-т*, *-н(н)* (*Будешь бит, дорогой, коль споткнешься нечаянно в жизни*; *вспаханное поле, поле было вспахано*), в функции предиката выступающие в краткой форме, в функции определения к имени — в полной форме, т. е. статус страд. причастий в русском языке закреплен формально и функционально. Что касается действ. причастий наст. вр. на *-ащ*, *-ущ* (*видящий, страдающий*) и действ. причастий прош. вр. на *-ш*, *-вш* (*видевший, страдавший*), даже в функции предиката стоящих ближе к имени,— действ. прич. наст. вр.— или вовсе лишенных предикативности,— действ. прич. прош. вр.— то их, по-видимому, целесообразней отнести к отглагольным прилагательным. Арабский язык располагает двумя типами причастий: прич. действ. залога (модель I породы: *kātibun* «пишущий», *ḏāhibun* «идущий») и страд. залога (для I породы: *maktūbun* «написанный», *maḳfūlun* «закрытый»).

Следовательно, при втором приближении причастия нам сигнализируют, что, проводя сравнение в области морфологии глагола, мы упустили из виду что-то существенное. Тем самым ликвидируется основа сравнения и мы вынуждены признать, что в синхронии искать большего сходства не следует. Другое дело, что по истечении какого-то промежутка времени, промежутка огромного, потомок арабского языка в результате развития может приобрести больше сходных структурно-типологических черт с современным русским языком. Но это уже будет сходство в диахронии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кацнельсон С. Д.* Звуковые законы и их внутренние механизмы. — В кн.: Теория языка. Англистика. Кельтология. М., 1976.
2. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. Под ред. Серебренникова Б. А. М., 1973, с. 65—83.
3. *Godel R.* Verbes d'état et verbes d'événement.— CFS, 1950, t. IX.
4. *Гранде Б. М.* Курс арабской грамматики. М., 1963.

5. *Wright W.* A grammar of the Arabic language. V. 2. Cambridge, 1955, p. 50.
6. *Brockelmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Bd. 2. Syntax. Hildesheim — Olm, 1961.
7. *Braumann M. N.* The Aramaic nomen agentis qatol and some similar phenomena of Arabic.— BSOAS, 1971, t. 34.
8. *Fleisch H.* Sur le système verbal du sémitique commun et son évolution dans les langues sémitiques anciennes.— MUSJ, 1947—1948, t. XXVII.
9. *Gelb I. J.* The origin of the West Semitic qatala morpheme.— Symbolae Kuryłowicz. Warszawa, 1965.
10. *Kuryłowicz J.* Le système verbal du sémitique.— BSL, 1949, t. XLV (130).
11. *Rundgren R.* A propos d'une hypothèse nouvelle concernant la provenance du morphème qatal-a.— OS, 1965—1966, t. XIV—XV.
12. *Андреев Н. Д.* Периодизация истории индоевропейского праязыка.— ВЯ, 1975, № 2, с. 18.
13. *Reckendorf H.* Arabische Syntax. Heidelberg, 1921.
14. *Brockelmann K.* Arabische Grammatik, Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar. 15. Aufl. Leipzig, 1962, S. 126.
15. *Soden W. von.* Grundriss der Akkadischen Grammatik. Roma, 1952, S. 201.
16. *Benveniste E.* Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. Paris, 1948.
17. *Brockelmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Bd. 1. Hildesheim — Olm, 1961. S. 58.
18. *Mitchell T. F.* The Active Participle in an Arabic Dialect of Cyrenaica.— BSOAS, 1952 t. XIV.
19. *Панфилов В. З.* Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М.— Л., 1965.
20. *Иванов Вяч. Вс.* Хеттский язык. М., 1963.
21. *Климов Г. А.* Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
22. *Ковалев А. А.* К вопросу о временных формах арабского глагола. — Тр. ВИИЯ, 1952, № 1.
23. *Ураковский В. С.* Категориальное значение исходных форм в классическом арабском языке.— ФН, 1960, № 2.
24. *Brockelmann K.* Die «Tempora» des Semitischen.— ZPhon, 1951, Bd. V, Hf. 3—4.
25. *Castellino G. R.* The Akkadian personal pronouns and verbal system in the light of Semitic and Hamitic. Leiden, 1962.
26. *Meyer R.* Zur Geschichte des hebräischen Verbums.— VT, 1953, t. III.
27. *Rundgren R. F. F.* Das althebräische Verbum: Abriss der Aspektlehre. Stockholm, 1961.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

КОЖИН А. Н.

О ПРЕДМЕТЕ СТИЛИСТИКИ

Современные литературные языки — важнейшее средство общения во всех сферах человеческой деятельности, мощное орудие научно-технического, культурного и социального прогресса.

Стилистические аспекты литературного языка, связанные с его ролью в жизни общества, неоднократно привлекали к себе внимание ученых. Стилистическое богатство, основанное на наличии разнообразных вариантов для обозначения одних и тех же семантических единиц (с дополнительными оттенками или без них) и средств для особых значений, уместных только в определенных речевых ситуациях»,— важнейшее свойство литературного языка нашего времени [1].

В XVIII в. большое значение приобрело учение о красноречии (риторика) — наука о родах «глаголания», «искусство о всякой данной материи красно говорить и тем самым преклонять других к своему об оной мнению» [2]. Уже тогда риторика содержала элемент теории функциональных стилей литературного языка, особенно в работах М. В. Ломоносова [3].

Предметом стилистических разысканий в риториках XIX в. становятся выразительные средства русского языка, приемы построения правильной речи (ср. риторики А. Ф. Мерзлякова, Н. Рижского, Н. Кошанского, М. Сперанского, К. Зеленецкого). Даже в 50-е годы нашего столетия такое понимание стилистики не претерпело существенных изменений: «...стилистика анализирует выразительные средства языка, она производит их оценку с точки зрения их большей или меньшей пригодности для выражаемого содержания» [4]. Стилистика понимается как наука о том, как «пользоваться всем арсеналом языковых средств для более точного и эффективного выражения мыслей и достижения целей человеческого общения в любой сфере, при любых условиях» [5].

Выделяется, однако, направление, ориентирующееся на изучение стилистических явлений, которые предопределяются выразительными свойствами единиц языка, их категориально-языковой данностью, а также характером общественного применения языка, что находит выражение в функциональных разновидностях р е ч е в ы х а к т о в. При этом обычно указывают, что стилистика рассматривает языковые явления в плане функционально-речевой дифференциации, «с точки зрения соответствия экспрессивных красок и оттенков разных речевых явлений», с точки зрения их связи «с отдельными общественно-разграниченными типами и разновидностями речи» [6].

В трудах В. В. Виноградова были намечены пути стилистических разысканий, которые знаменовали отход от трактовки стилистики русского языка как некоей универсальной науки и тем самым определяли линии функционально-речевой ориентации в употреблении языка. При таком подходе к речевым явлениям признается неоднородность предмета стилистики как научной дисциплины и выделяются три круга исследований, каждому из которых присущи свои задачи. Это, во-первых, стилистика языка как система систем, или структурная стилистика; во-вторых, стилистика речи; в-третьих, стилистика художественной литературы [7]. Функционально-речевой подход к стилистическим разысканиям активизировал лингвистические наблюдения над различными аспектами речевых явлений, но не устранил некоторой неопределенности в дефиниции исследования.

В самое последнее время стилистика трактуется как наука, изучающая выразительные средства языка (стилистические возможности, которыми располагает язык), а также слог художественных, научных и других произведений и приемы словесно-художественного изображения. Она мыслится как учение о словесном мастерстве, о наиболее удачных способах использования средств языка, о лучших образцах речевой культуры [8—10].

Нет сомнения в том, что стилистика как наука имеет свой предмет исследования, но, к сожалению, он все еще понимается весьма широко, довольно неопределенно и даже трактуется неодинаково, хотя после дискуссии по вопросам стилистики прошло более четверти века (см. ВЯ, 1954, № 1—6; 1955, № 1) и по различным аспектам этой дисциплины было опубликовано немало научных трудов и учебных пособий. Функционально-речевые единицы языка вплоть до последнего времени становятся даже предметом отвлеченных и схоластических рассуждений [15]. Неопределенность, необъятность предмета стилистики приводит к тому, что начинает завоевывать право на существование так называемая «практическая стилистика» как особая сфера лингвистического образования.

В сферу интересов «практической стилистики» включаются вопросы правильности, нормативности, выразительности средств языка. Содержание этой учебной дисциплины становится настолько широким, что оно охватывает многие вопросы, которые изучаются в курсе «Современного русского языка». Трудные случаи морфологии и синтаксиса (род несклоняемых существительных, склонение имен и фамилий, употребление форм единственного и множественного числа в парадигматике имен существительных, некоторые особенности образования личных форм глагола ошибки в сочетании однородных членов предложения, правильное употребление союзов и союзных слов и т. п.) квалифицируются как «стилистические» явления [11], хотя те же самые явления служат объектом изучения грамматики современного русского литературного языка. Типичные ошибки в словоупотреблении, трудные случаи управления и согласования, вопросы построения прямой и косвенной речи включаются в сферу практической стилистики даже в самых последних пособиях этого профиля [12]. Значение «практической стилистики» не становится более весомым от того, что ее обязательным элементом являются упражнения, при выполнении которых определяются признаки функционального стиля речи [13].

Трудно согласиться с тем, что существует «теоретическая стилистика», будто бы освобожденная от всех аспектов практической ориентации, а наряду с ней — «практическая стилистика». Вряд ли можно сомневаться, что теоретическое неотделимо от практического в учении о формах существования языка, а это находит выражение в сфере коммуникации.

Учебные пособия, называемые «практической стилистикой», необходимы для углубленного изучения отдельных аспектов лексикологии, фразеологии, грамматики современного русского литературного языка, но их следует освободить от стилистической «косметики» и подавать как практикумы по отдельным разделам учебного курса современного русского литературного языка.

«Практическая стилистика» вторгается в область культуры речи, которая обрела уже научный статус, имея свой предмет исследования, свои приемы описания языкового материала. Теоретическую основу культуры речи, как известно, составляют различные аспекты нормативного положения средств общения. Видимо, не случайно в области культуры речи наметились следующие теоретические направления: «1) вариативность норм; 2) функциональность в оценках нормативного характера; 3) соотношение вне- и внутрилингвистических факторов в становлении, развитии и функционировании литературных норм; 4) место и роль литературно-нормированных элементов в структуре национального языка и др.» [14]. Объект стилистики — изучение стилей языка и стилей речи, их общности и их различий. Объект культуры речи — исследование коммуникативных качеств речи в их совокупности и системе. В условиях, когда культура

речи нередко растворяется в стилистике, а стилистика низводится до уровня культуры речи, не приходится удивляться тому, что в учебных планах для филологических специальностей университетского профиля узаконен курс «Основы культуры речи», но нет курса «Стилистика русского языка», а для студентов педагогических институтов в учебном плане предусмотрен курс «Стилистика русского языка», но нет учебной дисциплины «Основы культуры речи». Это, естественно, приводит к тому, что студенты университетов и пединститутов не получают во всем объеме те знания, которые им могут дать стилистика и культура речи как учебные дисциплины, имеющие свой предмет исследования и к тому же взаимосвязанные.

Одним из ведущих принципов стилевой дифференциации литературного языка нередко признается экстралингвистический фактор. Опираясь на этот принцип, исследователи относят слова и их формы, сочетания слов к тому или иному стилю языка или стилю речи. Однако одни и те же средства языка присутствуют в разных стилях. Видимо, профиль стилевой дифференциации не определяется закрепленностью единиц языка за той или иной сферой общения.

Всякий стиль реализуется в тексте как феномен функционально-речевой деятельности. Следовательно, чтобы получить объективное представление о функциональном стиле как научной абстракции, имеющей свой уровень лингвистических измерений, надо изучать типичные приемы употребления языка, т. е. конкретные формы существования языка в тексте, и на базе этой языковой реальности давать обобщенное представление о типе текста. В этом случае наблюдения над композиционно-речевой структурой текста могут служить объективным критерием стилевого статуса типа речи. Поэтому есть все основания исследовать реальное, практическое использование языка для выяснения возможностей отбора и организации языковых единиц в разных условиях и для разных целей [16].

В тексте постепенно складываются формы словесного отображения общественного бытия и вместе с тем вырабатываются приемы словесного оформления выражаемого (композиция, отбор слов и словосочетаний, выбор синтаксических конструкций, направление стилевой ориентации речевого целого). В конкретных «языковых произведениях» (тексты, речевые ситуации) постепенно формируются типизированные формы применения языка, определенные приемы реализации информации, выражения определенного отношения к предмету речи. В тексте находит соответствующее выражение и жанровой облик произведения (способ изображения, характер авторской ориентации, то или иное отношение к изображаемому и т. п.). Речевое же своеобразие предопределяет жанровую отмеченность самого произведения и его стилевую данность. Таким образом, жанр дает представление о сфере речевых действий и тем самым о характере употребления языка, о его функционально-речевом своеобразии, т. е. о том понятии, которое одни ученые называют функциональным стилем языка, другие функционально-речевым стилем или же просто стилем речи. Но жанр, как и стиль, не дает конкретного представления о природе и стилевом статусе произведения. Важнее всего то, что в тексте фиксируются нормы литературного языка и стилистические качества, свойства средств общения.

Приемы организации единиц языка в тексте, способы и характер их стилевой ориентации определяют направление поиска типизированных форм речевых действий, свойственных жанрам литературы или сферам устного общения. Непосредственной задачей стилистики является изучение типизированных форм речи, поэтому релевантной единицей стилистики должно быть не слово, не словоформа или словосочетание, не те или иные показатели стилистической отмеченности, а текст как феномен употребления языка. Не стилистические качества единиц языка (их тоже следует учитывать), не внешняя сторона высказывания, а способы организации языкового материала, различные виды развертывания стилевой тональ-

ности должны быть в поле зрения стилистики. В самом деле, любой текст — это творческий процесс перевода мыслей, чувств, состояний, ощущений, намерений отправителя информации. Именно поэтому в тексте вольно или невольно находит определенное отражение общепринятая манера комбинирования языкового материала и воплощения его в целостное стилевое единство. На эту сторону речевой деятельности почему-то не обращается должного внимания; в научной и учебной литературе до сих пор наблюдается односторонний подход к оценке речевых «произведений»: преувеличивается роль и значение внеязыковых факторов в функционально-стилистическом профиле текста, а это приводит к иллюзии, будто бы экстралингвистическая отягощенность текста, довлеющая над «репертуаром» языковых единиц, выступает в роли стилеобразующего фактора. Так, в качестве важнейшего стилеобразующего средства признаются слова и выражения общественно-политического профиля, создающие «доминирующий колорит» передовой статьи в газете [17]. Между тем стремление к воздействию на читателя по поводу описываемого или сообщаемого может достигаться стилевой ориентацией различных групп лексики, никоим образом не связанных с общественно-публицистической сферой ее локализации. Например, в статье «Топливный баланс» (Правда, 1980, 22 июля) публицистичность изложения создается развертыванием описания, которое опирается на определенным образом организованное применение единиц языка в различных зонах целостного текста. Используются стилистические возможности слов и их сочетаний, которые не обладают стилистической маркированностью или же какими-либо нюансами стилистической отягощенности. Слова и их сочетания, выражающие определенное предметно-логическое содержание, употребляются в роли опорных звеньев повествования, которое обретает различные нюансы публицистической тональности в зависимости от характера организации языковых единиц по мере оценки и комментирования различных сторон сообщаемой информации. Развертывание изложения опирается на смысловую емкость слов, соотносящихся с доминантой всей статьи, выраженной в заглавии. Именно поэтому словоформы, как бы перекликающиеся с предметно-логической содержательностью слова *баланс*, придают изложению публицистическую заостренность не сами по себе, а в смысловом «балансе» отрезка статьи, вписываясь в словесный репертуар развертываемого изложения: *виды топлива, топливно-энергетическая база, топливные трассы, топливные отрасли, открытый способ добычи топлива, доставка топлива, топливные богатства, топливные предприятия, дешевое топливо.* Комментирование опирается не только на суммарную значимость смысла, реализуемого указанными словами, но и на оценочный потенциал слов и их сочетаний: *крупнейшие запасы* (*топлива*), *быстро увеличивающееся* (*производство топлива*), *совершенствуется* (*топливно-энергетический баланс*), *планомерно возрастает...* и т. д. Внимание читателя сосредоточивается на смысловых линиях, связанных с предметно-логическим содержанием опорного слова в сочетании *топливный комплекс*, что опять-таки перекликается с заглавием статьи: *развивать топливный комплекс, на базе применения комплексов, оснащенные механизированными комплексами, при вводе в действие новых комплексов, мощные комплексы, в каждом звене топливного комплекса.* Ориентация на смысловые возможности слов и их конденсирующую нацеленность, как бы обращающую читателя к тому, что выражено в заглавии статьи, придает тексту побудительную тональность, делающую более рельефной важность той задачи, которая поставлена перед читателем.

Публицистичность текста формируется различными линиями развертывания самого изложения: постепенно раскрывается и не раз подчеркивается роль и значение различных звеньев топливного комплекса (*добыча нефти; использование природного газа, атомного сырья, энергии падающей воды; бережное отношение к каждой тонне угля, добыча сланца*), а вместе с тем важность деятельности лиц, занятых в сферах производства: *трудовых успехов добились нефтяники; важный вклад вносят строите-*

л и; возрастает производительность г о р н я к о в; к лучшему меняются условия работы ш а х т е р о в; достижения т р у ж е н и к о в топливных отраслей немалые. Таким образом, весомость каждой области производственной деятельности как бы подводится к общему знаменателю — к комплексному характеру топливного производства, что обеспечивается усилиями тружеников этой узловой проблемы советской экономики. В этом тексте отсутствуют изобразительные средства, т. е. те приемы, посредством которых, по мнению исследователей, создается колорит публицистической напряженности (общественно-публицистическая лексика, метафоры, сравнения, перифразы, цепочки однородных членов, риторические вопросы и т. п.), если не считать комментирующих приложений (Западная Сибирь — *наша главная энергетическая база*, восток — *районы со сложными геологическими и природными условиями*) или же оценочных построений (*более полное использование внутренних резервов — залог успешного выполнения десятой пятилетки, устойчивой работы всего народного хозяйства*). И при таком характере языкового материала, не обладающего показателями стилистической маркированности, изложение не перестает быть публицистическим: оно реализует определенную информацию, которая может воздействовать на адресат,— побудить его к тому, чтобы тем или иным образом откликнуться на вопросы, поставленные жизнью. Комментирующая часть текста подчеркивает важность информации и усиливает публицистическую ориентацию, чему содействует вопросно-ответная форма подачи материала, выступающая в роли своеобразного сигнала к рассуждению по поводу сообщаемого (*В чем же дело? Одна из главных причин... Так, в нынешней пятилетке...*). Таким образом, идея долженствования, необходимости предпринимать определенные шаги для решения общегосударственной задачи обретает свою публицистическую направленность в структуре текста, где удачно сочетается с констатацией факта, его комментированием и оценкой. Такая разновидность текста воспринимается как стилевое единство, обладающее коммуникативной направленностью и определенным характером организации единиц языка, что и отвечает условиям речевого общения. Различные способы стилевой ориентации средств языка придают тексту оттенок публицистичности, что определяется содержанием информации и той манерой объективирования содержания (выражаемого), которая выступает как типизированная форма общения, как разновидность коммуникативного типа публицистической речи, а вместе с тем и как примета функциональной разновидности литературного языка. В указанной статье эту роль выполняют слова и их сочетания, выступающие в тексте как опорные звенья изложения. Своей повторяемостью на различных участках текста они создают как бы «сгущение» смысла, расширение объема понятийной емкости реализуемой информации; при таком развертывании текста как бы замедляется процесс восприятия, вызываемый растянутостью порционной подачи материала, и тем самым фиксируется значимость информации, сопровождаемой к тому же различными видами комментирования. Такой тип текста, совмещающий информативность с комментированием, применяется широко в газете «Правда»; ему свойственна известная универсальность, хотя публицистическая заостренность может создаваться набором и расстановкой иной группы слов и других средств языка в зависимости от темы информации. Информативность может чередоваться с комментированием, а само изложение может начинаться с констатации факта и рассуждения по этому поводу; иногда текст имеет форму сообщения о чем-либо, затем автор переходит к оценке, к показу причины и следствия. Следовательно, компановка информации и комментария бывает самой различной — ориентированной на стилевую значимость тех или иных единиц языка, на те или иные приемы повествования, включающие элементы описания или рассуждения, а также на все то, что придает тексту образную «броскость» (интригующее начало, изображение минисцен, отдельных эпизодов и т. п.).

Таким образом, стилистическая значимость передовой статьи определяется характером отбора, употребления и комбинирования единиц язы-

ка в структуре целостного текста, т. е. той ролью, которую должны выполнять единицы языка в структуре целостного высказывания. Но текст сам по себе — разновидность коммуникативного типа речи, определенным образом организованное применение единиц языка для реализации коммуникативного задания. В тексте находят соответствующее выражение общепринятые приемы употребления единиц языка, представляющие собой ту или иную разновидность типизированной формы речевых действий. Именно поэтому в стилевом статусе текста проявляются особенности стилистического узуса, дающего представление о применении языка в той или иной сфере общения.

Функционально-стилистический профиль речи определяется характером коммуникации. Дело в том, что преимущественное употребление единиц языка в типизированной форме речи неизбежно ведет к закреплению этих средств за определенными разновидностями литературного языка (стили языка) или же за композиционными типами речи (стили речи). Существуют коммуникативные типы речи, разнообразные способы существования функциональных разновидностей литературного языка, определяющие характер установившихся правил и приемов их употребления (функциональные стили). Эти минимальные функционально-стилевые единства можно называть по-разному (коммуникативные типы речи, жанровые формы речи, стили речи, композиционные типы речи и т. п.), но нельзя, однако, игнорировать самый факт их существования, поскольку минимальное стилевое единство — это своеобразный стилевой блок целостного текста, выразитель манеры говорения, изложения.

Изучение коммуникативных типов речи, этих минимальных стилевых единств, может прояснить характер организации языкового материала в том или ином типе текста, а вместе с тем дать представление о признаках, которые свойственны отдельным функциональным разновидностям литературного языка. При этом общее, каким является функциональный стиль, проявляется в отдельном, особенном,— приемах и правилах организации речи, свойственных коммуникативным типам речи.

Следует иметь в виду, что стилистическое значение высказывания как целостного речевого «произведения» определяется «приращением» смысла, т. е. комплексом экспрессивно-оценочной окрашенности, создаваемой характером организации единиц языка в тексте при реализации коммуникативного задания. В структуре текста весьма велика роль традиционных (общепринятых, установившихся) форм организации языкового материала, что находит свое выражение в многообразии стилей (коммуникативных типов) речи, а также в универсальности характера употребления языка в определенной сфере общения (функциональные разновидности или функциональные стили литературного языка).

Реализация коммуникативного задания осуществляется посредством функционально-речевой нацеленности единиц языка и таким образом достигается стилевая настройка всего высказывания на тот или иной диапазон положительной или отрицательной экспрессии, изобразительности, информативности, понятийной определенности, побудительности и т. п. Единицы языка при том или ином характере их организации обретают функционально-стилевую значимость в структуре определенного типа текста. Как ни широка, к примеру, жанровая спецификация научной литературы, как ни специфична традиция применения языка в этой сфере письменности, но и в этой функциональной разновидности имеют место устойчивые приемы употребления единиц языка в том или ином типе текста. Минимальные стилевые единства в различных видах научного изложения формируют контуры научного стиля языка, они определяют характер изложения, его стилевую тональность, что и обеспечивает раскрытие связей и отношений между языковыми единицами текста, обоснование объективности научной информации, логической определенности положений и выводов.

Развертывание научного изложения осуществляется в плане функционально-речевой нацеленности и направлено на достижение аргументиро-

ванности, доказательности, логичности, конкретности, зримости предмета научной информации, а в ряде случаев даже полемичности.

Язык сочинений И. П. Павлова может дать представление о различных видах научного изложения, в которых находят выражение типичные особенности научного стиля литературного языка. Конституирующим фактором этих текстов являются не стилистически маркированные слова, а нечто иное — минимальные стилевые единства, своеобразные стилевые блоки, посредством которых формируется стилевой каркас различных жанров научной литературы. Так, научная статья, как правило, начинается с констатации положения, являющегося опорным звеном дальнейших рассуждений, которые по мере развертывания изложения опираются на речевые отрезки, нацеливающие читателя на ту или иную сферу обоснования результатов научного поиска.

Изложение, представленное научной лекцией, также развертывается в форме обосновывающего рассуждения, но оно, в свою очередь, содержит словесные блоки, придающие тексту доходчивость, конкретность, зримость. Подача учебного материала опирается на такое употребление единиц языка, при котором научные термины определяются, обосновывается их связь и взаимообусловленность; более того, используются словесные комплексы, раскрывающие сущность, содержание научных понятий. Коммуникативные типы речи в таком тексте обладают большей подвижностью, способностью переходить от одной разновидности функционально-смыслового типа речи к другой. Так, рассуждение может переводиться в область комментирования, переходить в повествование типа репортажа или же сменяться описанием, способствующим образному представлению предмета мысли.

Разновидности научного изложения также подтверждают мысль о том, что минимальные стилевые единства определяют стилевой профиль текста, что характер отбора и организации единиц языка имеет первостепенное значение в стилистических разысканиях, релевантной единицей которых является целостное высказывание (текст, речевая ситуация).

Таким образом, стилистика — автономная учебная и научная дисциплина, изучающая функциональные типы речи, которые находят свое выражение в отборе, организации и характере стилевой нацеленности единиц языка как компонентов коммуникативно-речевой структуры текста и в закономерностях стилистического узуса. Поэтому вполне очевидно, что коммуникативные качества речи обретают свою определенность в сфере стилистики,— источнике, который питает культуру речи. Эта последняя переживает сейчас трудности своего становления и роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филич Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка.— ВЯ, 1973, № 2, с. 3—4.
2. *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч., т. VII. М., 1952 с. 91.
3. *Белодед И. К.* Значение русско-украинского языкового взаимодействия в выработке норм нового украинского литературного языка.— ВЯ, 1980, № 5, с. 6.
4. *Гвоздев А. Н.* Очерки по стилистике русского языка. М., 1952, с. 9.
5. *Колосс Л. Л.* О предмете стилистики.— ВЯ, 1953, № 3, с. 99.
6. *Виноградов В. В.* Итоги обсуждения вопросов стилистики.—ВЯ, 1955, № 1, с. 66.
7. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 5.
8. *Ефимов А. И.* Стилистика русского языка. М., 1969, с. 23—24.
9. *Кожина М. Н.* Стилистика русского языка. М., 1977, с. 9—11.
10. *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 221.
11. *Розенталь Д. Э.* Практическая стилистика русского языка. М., 1965, §§ 16—21, 28, 29, 43, 53—56, 58, 85, 88.
12. *Сенкевич М. П.* Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование. М., 1980.
13. *Шаповалова Т. А.* Практическая стилистика русского языка. М., 1966.
14. *Скворцов Л. И.* Теоретические основы культуры речи. М., 1980, с. 6—7.
15. *Петрищева Е. Ф.* Стиль и стилистические средства.— В кн.: Стилистические исследования. М., 1972, с. 160.
16. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977, с. 164—165.
17. *Вакуров В. Н., Кохтев Н. Н., Солганик Г. Я.* Стилистика газетных жанров. М., 1978, с. 106.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

АСФАНДИЯРОВ И. У.

РУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Языковое строительство в советский период характеризуется интенсивным развитием национальных языков народов СССР, расширением их общественных функций. «Советский Союз,— как отмечает Ф. П. Филин,— превратился в страну всеобщей грамотности, в которой все национальные языки, старописьменные и младописьменные, стали могучим рычагом культурного подъема, поднялись до уровня наиболее развитых языков мира, способных передавать всю информацию, накопленную современной цивилизацией» [1].

Из всех ярусов языка наибольшим изменениям подверглась лексика, пополнившаяся в этот период огромным числом новых слов и значений. Обогащение и развитие словарного состава национальных языков народов СССР совершается по двум линиям: а) по пути словотворчества за счет собственных внутренних ресурсов, в том числе калькирования иноязычных лексем — бытовых слов и терминов; б) по пути заимствования и усвоения иноязычных лексем; сюда же можно отнести процесс создания полукалек. В качестве иноязычного источника для узбекского языка, как и для других языков СССР, выступает великий русский язык [2—4], ставший для братских советских народов языком их межнационального общения. Весьма характерно при этом, что русский язык, сам впитавший значительный слой интернациональной лексики, главным образом в области терминологии, передает это богатство национальным языкам народов СССР.

Как указывают специалисты, наиболее быстро развивающейся частью словарного состава любого литературного языка в Советском Союзе является терминология. В большинстве языков советских народов 70—80% новых научно-технических, общественно-политических, учебно-педагогических и других терминов составляют заимствования из русского языка и через него из других языков. Но заимствуются и чисто русские слова. По определению Ш. Р. Рашидова, «термины, понятия, категории, рожденные современным русским языком, органически входят, врастают во все другие языки народов нашей страны, так же, впрочем, как и в языки многих других народов мира. Кто же сегодня на нашей планете не знает, скажем, русского слова „спутник“, „большевик“, „союз“, русского термина „пятилетка“, такой философской категории, как „ленинизм“, и сотен других русских слов. Они не нуждаются в переводе. Они понятны для всех» [5]. Благодаря общим заимствованиям из русского языка как исконно русских слов, так и слов интернационального происхождения, в языках народов СССР образуется общий лексический фонд, значительно облегчающий межнациональное общение.

Еще в дореволюционное время развитие и обогащение словарного состава узбекского языка происходило в определенной мере под знаком возрастания числа заимствованных слов из русского языка вследствие социально-политических и экономических изменений в жизни края, когда узбекское население находилось уже в прямом контакте с русским населением. Особенно усилился процесс заимствования в последней трети XIX в. Русские слова усваивались главным образом в устном общении, поэтому большей частью они изменяли свой фонетический облик. В узбекский язык в эти годы вошли слова следующих тематических групп: названия растений, огородных культур, ягод — *памидбори* (помидоры),

қулупнай (клубника), *балгарски* (болгарский перец), *шовул* (щавель), *пустирной* (пастернак), *картошка* (именно в этой форме было заимствовано название картофеля); названия, связанные с торговлей, промышленностью: *сўлкавой* (рубль, целковый), *червон* (червонец, 10 рублей), *завут* (завод), *пабрик* (фабрика), *анжирнай* (инженер); названия, связанные с административным устройством: *губерна* (губерния), *бўлис* (волость), *уйиз* (уезд), *палис* (полицейский), *исторшин* (старшина); названия различных предметов домашнего обихода, одежды, обуви и т. п.: *талинка* (тарелка), *кампирак* (конфорка), *ишкоп* (шкаф), *фонар* (фонарь), *калиш* (калоши), *лампа*, *вилка*, *печка* и др. В современных узбекских словарях зарегистрированы почти все вышеуказанные слова. Судьба их неодинакова. Так, названия огородных культур, ягод, растений сохранились и поныне, названия обиходных предметов также сохраняются в языке, а названия, связанные с дореволюционным административным устройством, стали историзмами. Большая часть их ныне имеет тот же облик, что и в русском языке (*завод*, *фабрика*, *инженер*, *шкаф*, *вилка* и т. д.), кроме некоторых слов (например, *памилдори*, *қулупнай*).

После Великой Октябрьской социалистической революции приток слов из русского языка усилился и прошел вплоть до наших дней несколько этапов, характеризующихся качественными и количественными различиями в процессе усвоения заимствований.

Трудно переоценить влияние русского языка на развитие национальных языков Советского Союза. Эта проблема является одной из актуальных в советском языкознании на современном этапе. Ее разработке посвящены исследования, представляющие большой интерес для дальнейшего развития теории взаимовлияния и взаимообогащения национальных языков в социалистическом обществе, конституционно обеспечивающем свободное и равноправное развитие языков, обществе, в котором отсутствует дискриминация какого-либо языка. Ценный вклад в развитие этой проблемы сделали такие языковеды, как В. В. Виноградов [6], Н. А. Баскаков [7], Ю. Д. Дешериев [8], Г. Г. Мусабаев [9], С. А. Джафаров [10], Э. М. Ахунзянов [11], И. К. Белодед [12].

Данная проблема представляет собой объект исследования и в узбекском языкознании. Так, у истоков изучения вопросов заимствования русско-интернациональной лексики были известные лингвисты, такие, как А. К. Боровков — автор фундаментального труда «Узбекский литературный язык в период 1905—1917 гг.» [13], А. Г. Гулямов [14], и др. Появление в последующем многочисленных научных статей, а также кандидатских диссертаций М. Мирзаева, М. Пулатова, Р. Даниярова, И. Расулова, Г. Мухамеджановой, С. Акабирова [15—20] подтвердило актуальность и злободневность данной проблемы. Эти работы стали теоретической основой изучения проблемы заимствования русско-интернациональной лексики. Крупным событием явился выход в свет в 1966 г. «Толкового словаря русско-интернациональных заимствований в узбекском языке», составленного У. Усмановым и Р. Данияровым. В данном словаре, получившем высокую оценку общественности, нашел отражение количественный состав русско-интернациональных слов, заимствованных узбекским языком. Следует оговориться, что словарь все же не смог охватить все русско-интернациональные слова, которые употребляются в узбекском литературном языке.

Как известно, заимствованные слова по-разному «выполняют» свои функции в заимствующем языке, происходит сужение или расширение значений [сужение: *демократия* — в русском языке три значения, в узбекском — два [1] (форма правления и принцип управления); расширение: *самовар* — в русском языке — одно, в узбекском два значения («1) прибор для кипячения воды»; «2) чайная, чайхана»); *кровать* — в русском

---

[1] Число значений здесь и далее приводится для русских слов по 17-томному академическому «Словарю современного русского литературного языка», для узбекских слов — по двухтомному «Толковому словарю узбекского языка» (1981).

языке одно значение, в узбекском фонетически преобразованном *каравот* два значения [2] («кровать» и «нары»)].

Некоторые русские полисемантические слова заимствуются в полном объеме своих значений, в том числе в прямом и переносном значениях (*характер*, *операция*, *дистанция*, *пирамида* и т. п.).

Большинство заимствованных слов относится к именам существительным, прилагательным и лишь небольшая их часть — к глаголам и наречиям. Заимствованные слова, войдя в узбекский язык, довольно быстро начинают ощущаться в общей массе слов своими словами. Подавляющее большинство носителей узбекского языка, кроме специалистов, не подозревает, например, о том, что слова *қалам* «карандаш», *мактаб* «школа», *бино* «здание» и т. п. — арабского происхождения, что слова *беҳи* «айва», *гул* «цветок», *барг* «лист» (бот.) — иранского происхождения, настолько прочно они вросли в ткань узбекского языка. И сейчас на наших глазах происходит усвоение слов из русского языка, которые под воздействием грамматических законов узбекского языка принимают соответствующие словообразующие и формообразующие аффиксы. Например, став достоянием узбекского языка, слово *пломба* дало начало ряду производных на узбекской почве слов: *пломбаламоқ* «пломбировать», *пломбаланмоқ* «пломбироваться», *пломбалатмоқ* «дать пломбировать», *пломбали* «пломбированный» и др. На этом фоне слово *пломба* в двух значениях (свинцовая печать и зубная) начинает ощущаться в узбекском языке как «свое». Или возьмем другой пример. Так, во фразе ... *тузлар грувчанлигига кўра уч группага бўлинади* (С. Тожибоев. Шўр ерларда тузларнинг ҳаракати, Тошкент, 1980, 19 б.) — «... соли, в зависимости от растворимости, делятся на три группы» слово *группа*, оформленное аффиксом дательно-направительного падежа, воспринимается как «свое».

Благотворность русского языка проявляется не только в прямых заимствованиях, но и в стимулировании возникновения новых значений в узбекских словах. Так, в словах *жиҳоз*, *нисбат*, *омбор*, *бозор* под воздействием русского языка возникли новые терминологические значения. Слово *жиҳоз* имело значение «обстановка, утварь», например, *ўй жиҳози* «домашняя обстановка». При переводах текстов с русского языка переводчики для слова «оборудование» использовали слово *жиҳоз*. Таким образом, в слове *жиҳоз* появилось дополнительное значение — семантическая калька: «оборудование» (лабораторное оборудование — *лаборатория жиҳозлари*). Под влиянием русского языка у слова *нисбат* («отношение, соотношение») возникло значение «залог» (глагола), например, *ўзлик нисбати* — «возвратный залог (глагола)». Весьма любопытно возникновение нового значения на собственно узбекской почве у слова *омбор* «склад, амбар». Словосочетание *сув омбори* стало означать «искусственное водохранилище». Слово *бозор* «базар, рынок; базарная площадь, рыночная площадь» расширило свое значение и стало означать «сфера сбыта», «рынок», например, *жаҳон бозори* — «мировой рынок».

В периодической печати нами отмечены различные по словообразованию типы лексических единиц, в том числе полные заимствования: а) одноморфемные, с точки зрения узбекского языка, слова, т. е. такие, в составе которых невозможно вычленить словообразующий элемент в синхронном плане. Таковы, например: *адвокат*, *август*, *апрель*, *адрес*, *билет*, *батальон*, *блок*, *бюро*, *база*, *ветеран*, *вахта*, *врач*, *гигант*, *декабрь*, *журнал*, *зал*, *завод* и т. п.; б) сложные слова: *бронетранспортер*, *кинорежиссер*, *кинофестиваль*, *радиоинсценировка*, *самолет*; *инженер-техник*, *инженер-гидротехник*, *марксизм-ленинизм*, *программа-минимум* и т. д.; в) сложносокращенные слова, в частности такие, первые компоненты которых являются сокращениями соответствующих знаменательных слов: *авианосец*, *автокран*, *автомашина*, *гидромелиорация*, *капролактам*, *компартия*, *мультфильм*, *телефильм*, *энергоблок*; г) аббревиатуры: *ГРЭС*, *КПСС*, *СССР*, *ТАСС* и, наконец, д) слова, состоящие полностью из сок-

[2] В «Узбекско-русском словаре» (М., 1959) из них зафиксировано лишь одно значение.

ращений: *гидротяжпром*, *комсомол*, *колхоз*, *Сельмаш*, *Ташсельмаш*, *Узгипросельхоз* и др.

Другим типом взаимовлияния русского и узбекского языков является образование новых слов по семантическим моделям русского языка с использованием элементов как заимствуемого, так и заимствующего языков. К такого рода полукалькам относятся: а) производные (несложные) слова с узбекскими словообразующими аффиксами: *арматурачи* «арматурщик», *автоматчи* «автоматчик», *аппаратчи* «аппаратчик», *активлик* «активность», *активлаш* «активизация», *агентлик* «агентство», *гражданлик* «гражданство», *колхозчи* «колхозник», *музыкали* «музыкальный», *министрлик* «министерство», *монтажчи* «монтажник», *обзорчи* «обозреватель» и т. п.; б) композиты, один из компонентов которых калькирован по-узбекски: *киносаёҳатчи* «кинопутешественник», *механик-ҳайдовчи* «механик-водитель», *темир-бетон* «железобетон», *фотосурат* «фотокарточка», *план-топшириқ* «план-задание» и др.; в) русско-интернациональные прилагательные, в которых русский словообразовательный элемент либо опущен, либо заменен узбекским: *антисовет* «антисоветский», *граждан* «гражданский», *гигант* «гигантский», *комсомол* «комсомольский», *совет* «советский»; *биологик* «биологический», *империалистик* «империалистический».

Узбекский язык воспринял из русского языка термины, относящиеся к очень многим отраслям науки, техники и культуры, причем часто происходило массовое заимствование наиболее важных терминов, определяющих существенные черты данной терминологической системы, составляющих ее основу [21]. Вместе с тем надо подчеркнуть, что узбекские специалисты различных отраслей наряду с русскими терминами умело используют и ресурсы самого узбекского языка. Вопросам заимствования терминов из русского языка в узбекский, развитию терминологических систем в узбекском языке уже посвящаются специальные монографические исследования [22, 23].

Общефилологические и терминологические словари, созданные лексикографами Узбекистана, свидетельствуют о том, что в узбекском языке успешно функционирует масса заимствований из русского языка, обслуживающих различные сферы общественной жизни, в том числе терминология науки и техники, общественно-политическая и др. Заимствования в узбекский язык входили главным образом по причине новизны самих понятий и явлений, для которых в узбекском языке соответствующие термины отсутствовали (*ленинизм*, *социализм*; *роман*, *драма*; *ядро*, *нейтрино*; *скафандр*, *космонавт*, *луноход*; *танк*, *рота*, *солдат* и т. п.), а также для замены устаревших слов (*капиталист* — уст. *сармоядор*, *революция* — уст. *инқилоб*, *синтаксис* — уст. *наҳв*, *хирург* — уст. *жарроҳ*, *окоп* — уст. *хандақ* и т. п.).

В результате заимствования в узбекском языке могут образовываться синонимы из заимствованных и исконных слов, однако подобные слова обычно различаются объемом и оттенками значений, словопроизводственными связями. Например, пары *чилангар — слесарь*; *заргар — ювелир* различаются тем, что первые слова передают значение принадлежности к кустарному производству. Еще более расходятся значения подобных слов при вступлении в словообразовательные ряды: *слесарлик — чилангарлик* и т. п. Первое слово означает «работа слесарем на заводе, в мастерской, в жэке», второе — «починка замков, примусов, керосинок в лавочке» (главным образом на торговом рынке).

В вопросах регулирования взаимодействия узбекского языка с русским у языковедов нет единого мнения.

Одни считают необходимым, чтобы в узбекском литературном языке были восстановлены устаревшие слова преимущественно арабско-иранского происхождения (например, *сония* «секунда», *жарроҳ* «хирург», *жарроҳия* «хирургия», *фаввора* «фонтан», *дорилфунун* «университет» и даже такие интернациональные термины, как *космос* и *космонавт*, предлагается заменить терминами *фазо*, *коинот* и *фазокор*, *коинотқор*; в ряде других случаев предлагается пойти по пути создания неологизмов, введя, например, такие искусственно созданные термины, как *ёмғирлик*

«плащ», *ўзиқайнар* «самовар» и т. п. В этих условиях за последние десять лет в письменном языке активизировалось несколько слов типа *муаллиф* «автор», *ҳарорат* «температура», *коинот* «вселенная» и др.

Согласно другой позиции, процесс сближения языков социалистических наций надо ускорить, подтолкнуть. Сторонники ее предлагают заменить некоторые книжные, устаревшие или даже нейтральные по стилю слова русскими соответствиями. Предлагается, например, не пользоваться в языке следующими словами (левая колонка), поскольку в узбекском языке имеются интернациональные слова «с тем же значением» (правая колонка):

гуруҳ	*группа*
режа	*план*
кўргазма	*выставка*
Миррих	*Марс*
Зуҳра	*Венера*
талаба	*студент*
асаб	*нерв*
мавзу	*тема* и т. д.

Эти слова не всегда являются однозначными соответствиями, будучи синонимичными в отдельных значениях или оттенках значений. Поэтому они большей частью и не могут заменить друг друга. Так, слово *гуруҳ* в определенных сочетаниях означает не только «группа», но и «группка, кучка» (*бир гуруҳ муттаҳамлар* «кучка проходимцев»), передавая отрицательную эмоцию, которой не имеет слово *группа*. Слово *режа* означает в узбекском языке не только «план», но и «шнур», или «линейка для проверки правильности кладки кирпичей». Слово *план* не имеет последнего значения. Укажем также, что у всех подобных слов, как правило, существуют разные словообразовательные потенции, от них образуются новые слова, не свойственные одному из членов синонимической пары. Например, от слова *кўргазма* «выставка» образуется слово *кўргазмали* «наглядный», от слова *выставка* нет образования типа *выставкали* с тем же значением. От слова *режа* («1) правило, шнур, веревка, линейка, служащие для разметки»; «2) план, наметка») образуется слово *режачўп* «правило, линейка для проверки правильности кладки кирпичей», а от слова *план* нельзя образовать слова *планчўп*, это будет противоречить нормам узбекского языка. Кроме того, от слова *режа* образуется сложный глагол *режага олмоқ* «упорядочивать», а от слова *план* можно образовать *планга олмоқ*, но это будет означать не «упорядочивать», а «включать в план».

Подобные синонимы принадлежат к разным стилистическим пластам. Например, в произведении, описывающем события средневековья, естественно встретить слова *мавзу*, *талаба*, *Миррих*, *Зуҳра*, как, например, в историческом романе «Навои» классика современной узбекской литературы Айбека. В произведении на современную тему такие же по значению слова будут представлены русизмами *тема*, *студент*, *Марс*, *Венера*. К тому же такие пары не всегда имеют одинаковый объем значений. Из сказанного ясно, что многие старые слова, имея собственный объем значений, часто весьма специфичных, обладая прочными и устоявшимися словопроизводственными связями, входят в определенную систему стилистических средств, поэтому они необходимы современному языку и освобождаться от них нецелесообразно.

В заключение следует отметить, что обогащение лексики национальных языков под влиянием русского языка, как и лексики русского языка под влиянием национальных, по своей сути прогрессивное явление, способствующее не только расширению словарного состава заимствующих языков, но и в определенной мере их дальнейшему развитию в целом, что стало возможным только в социалистическом обществе, обеспечивающем свободное и равноправное развитие языков народов СССР.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Об актуальных задачах советского языкознания.— ВЯ, 1981, № 1, с. 3.
2. *Виноградов В. В.* Основные этапы истории русского языка.— Р. яз. в шк., 1940, № 5.

3. *Протченко И. Ф.* Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., 1975, с. 82—83.
4. *Иванов В. В.* Русский язык в жизни народов и языков Советского Союза.— ВЯ, 1978, № 3, с. 5—6.
5. *Рашидов Ш. Р.* Язык дружбы и братства. Ташкент: Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1978, с. 55.
6. *Виноградов В. В.* Великий русский язык. М., 1945.
7. *Баскаков Н. А.* Развитие языков и письменности народов СССР (на материале тюркской терминологии в языках народов СССР). М., 1969.
8. *Дешериев Ю. Д.* Роль русского языка и русской культуры в развитии языков и культур народов СССР.— В кн.: Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. М., 1980.
9. *Мусабаев Г. Г.* Лексика современного казахского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Алма-Ата, 1960.
10. *Джафаров С. А.* Лексика современного азербайджанского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1959.
11. *Ахунзянов Э. М.* Русские заимствования в татарском языке. Казань, 1968.
12. *Белодед И. К.* Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе. М., 1972.
13. *Боровков А. К.* Узбекский литературный язык в период 1905—1917 гг. Ташкент, 1940.
14. *Гулямов А. Г.* Развитие узбекского литературного языка в советский период. — Изв. АН УзССР, 1948, № 5.
15. *Мирваев М.* Советско-интернациональные слова в узбекской периодической прессе (1945 — 1950): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1951.
16. *Пулатов М. П.* Влияние русского языка на узбекский язык (Вопросы лексики и словообразования): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1953, с. 4.
17. *Данияров Р.* Заимствование русско-интернациональных личных имен узбекским языком: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1967.
18. *Расулов И.* Развитие лексики узбекского языка в период Великой Отечественной войны: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1955.
19. *Мухамеджанова Г.* Некоторые вопросы развития узбекской лексики: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1972.
20. *Акабиров С.* Лексикографическая разработка терминологии в двуязычных словарях (на материале русско-узбекских и узбекско-русских словарей): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1969.
21. *Тихонов А. Н.* Роль русского языка в обогащении лексики узбекского языка.— В кн.: Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977, с. 155.
22. *Дониёров Р.* Ўзбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. Тошкент, 1977.
23. *Рузиев Н. М.* Способы передачи на узбекский язык русских терминов словосочетаний типа прилагательно-существительное: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ФЕДОРОВ А. И.

РУССКИЙ ЯЗЫК В СИБИРИ

Начиная статью, автор считает необходимым оговорить ее название и определить задачи. Разумеется, русский язык в Сибири — это тот же русский национальный язык, но имеющий много своеобразных черт, прежде всего, в лексике, меньше — в фонетике, морфологии, синтаксисе. Это своеобразие русского языка в Сибири сформировалось за четыреста лет его употребления многими поколениями русских людей (начиная от первопроходцев и кончая нашими современниками) в условиях сибирской географической среды, к которой они должны были приспосабливаться, осваивая новые виды производства, при длительных контактах с аборигенным населением Сибири: в большей мере с финно-уграми (ханты и манси) и тюрками, меньше с тунгусо-маньчжурами, самодийцами. Это был процесс плодотворного взаимодействия культур русского и сибирских народов, продолжавшийся около четырехсот лет. С наибольшей интенсивностью он проявляет себя в советский период. Ясно, что этот процесс не мог проходить без взаимодействия языков этих народов.

Советские историки и этнографы, подробно изучившие жизнь и быт, материальную и духовную культуру народов Сибири, отметили новые виды труда (и главное — освоение русской земледельческой культуры), появившиеся у аборигенов Сибири после ее заселения русскими [1—2]. Поэтому уже в XVIII в. в языки народов Сибири, вступивших в контакт с русскими, проникает значительное количество русских слов. Дальнейшее сближение отдельных групп народов Сибири с русскими (а также многочисленные брачные связи русских с аборигенами) привели к переходу отдельных групп сибирских народов на русский язык, первоначально через двуязычие с последующей утратой своего языка. Так, по наблюдениям К. М. Браславца [3], шел процесс формирования камчатского наречия в результате интеграции ительменского языка и русских говоров переселенцев, исторически осложнявшийся в результате последующих переселений на Камчатку разнодиалектных групп русских крестьян, служилых людей.

Подобные же процессы происходили с некоторыми группами юкагиров на Нижней Индигирке, татар в Западной Сибири, ханты, манси и др. С другой стороны, отдельные группы русского населения, оказавшись в иноязычном окружении, в новой этнической среде с ее бытом, обычаями, занятиями, духовной и материальной культурой, вступая в брачные связи с аборигенами, воспринимали их язык. Так, например, шел процесс перехода на якутский язык у некоторых русских переселенцев в Якутии.

Русский язык с самого начала его бытования в Сибири был не литературным, а диалектным. Литературно-письменный язык стал распространяться в Сибири в конце XVII в., в период развития русского национального государства с его органами власти и управления. Он существовал, главным образом, в форме делового стиля [1].

---

[1] Утверждая это, нельзя отрицать в развитии литературно-письменной формы общения русского населения Сибири конца XVII и в XVIII в. влияния старообрядческой литературы, которая создавалась под сильным воздействием произведений протопопа Аввакума. Лексика произведений сибирских старообрядцев представляет собой

До Октябрьской революции воздействие русского литературного языка на диалектную сибирскую речь было слабым: его знала или осваивала незначительная часть населения Сибири, главным образом, интеллигенты, а также семьи зажиточных слоев населения (купечества, буржуазии).

Смешение разнодиалектных групп населения в Сибири при разной степени воздействия на их речь литературного языка привело к образованию сибирского городского просторечия и вызвало процесс разрушения диалектных микроструктур, образование такого состояния говора, которое в лингвистической литературе получило название «полудиалект» [4, с. 6].

По сведениям, которыми располагает современная историческая и лингвистическая наука, первыми русскими переселенцами в Сибири были северновеликорусы [5, 6], выходцы из городов и населенных пунктов Европейского Севера (Устюга, Вычегды, Холмогор, Пинеги, Цыльмы и др.) с последующим переселением носителей других русских говоров: псковичей, новгородцев, тверичей и др. В зависимости от количества этого пришлого населения в различных местах Сибири по-разному формировались и разные типы говоров. Наибольшей определенностью и устойчивостью языковых черт отличаются старожильческие говоры Сибири, созданные на севернорусской основе. В них сохраняются все основные черты материнских северновеликорусских говоров. Но за четыреста лет существования на «сибирской почве» они претерпели существенные изменения, особенно в лексике. По-видимому, уже в начале XVII в. из речи первого поколения северновеликорусских первопроходцев, осевших в Сибири, стали исчезать слова, для семантики которых не было в сибирской действительности предметной опоры. Так, например, северновеликорусское *взводень* «большая волна на море», восходящее к древненовгородскому *възводъ* «подъем воды в Волхове» (*В лето 1176 иде Вълхово опять на възводъ по 5 дний.* Новг. I лет.), сохранилось только в некоторых прибайкальских говорах с изменением формы и значения: *зводни* «волны, зыбь на воде». В архангельских, вологодских, пермских, олонецких говорах известны два видовых названия косы: *стойка* «коса, насаженная на длинное косье, которой косят стоя» и *горбушка* «коса с короткой изогнутой рукояткой, приспособленная для скашивания травы под деревьями, а также в неудобных, заросших мелким кустарником местах». В условиях Сибири и тот и другой вид косы оказались непригодными. И поэтому вместе с соответствующими предметами исчезли и слова (сибиряки пользуются косой-*литовкой*).

Некоторые слова, унаследованные из материнских говоров, переосмыслились в результате переноса названия на другой предмет, выполняющий сходную или одинаковую функцию. Так, например, в архангельских и вологодских говорах широко известно слово *подызбица*, унаследованное из древнего новгородского диалекта (*Бысть вода велика сильно, прибывала до Троицины дня. И поняло на Сокольницы, въ Колачниках и по многимъ по инымъ местамъ подызбицы, и в них и не жили.* Новг. IV лет.), и имеет значение «нижний этаж дома». В некоторых северновеликорусских деревнях *подызбицы* используются не как жилое помещение, а для хранения домашнего скарба, инвентаря и т. п. На этой функциональной основе в слове *подызбица* в Сибири развилось значение «чердак». При этом в семантической структуре слова оказалась утраченной внутренняя форма.

Лексика современных старожильческих говоров существенно отличается от лексики материнских говоров главным образом потому, что за четыреста лет в тех и других (поскольку они существовали независимо друг от друга) возникло большое количество новых слов в результате диалектного словопроизводства и заимствования слов из разных источников:

смесь русизмов и церковнославянизмов, отражающих пафос негодования на произвол царской власти и официальной церкви, грубопросторечных и даже сибирских диалектных слов. Но влияние языка таких произведений на живую разговорную речь сибиряков было ограниченным и недолговременным, оно распространялось только на речь верующих старообрядцев.

северновеликорусские говоры продолжали заимствовать лексику из финно-угорских языков; сибирские русские говоры заимствовали ее в большей мере из тюркских языков, меньше из тунгусо-маньчжурских.

Надо полагать, что старожильческие говоры даже с самого начала их сложения не были единообразными. Изучая диалектную основу среднеобских говоров, В. В. Палагина обнаружила в четырех группах среднеобских говоров около тридцати комбинаций материнских говоров. Комбинации материнских и иных говоров при сложении и развитии других говоров Сибири мало изучены.

В XVIII в. в Сибирь были высланы из западной части России многие старообрядцы, которые на Алтае получили название «верхнеудинских» и в Забайкалье — «семейских». В XIX в. приток переселенцев в Западную и Восточную Сибирь возрастает главным образом за счет русских [2] из центральных и южных областей, а также украинского и белорусского населения. Различное количественное соотношение разнодиалектного русского, украинского и белорусского населения в процессе слияния с носителями старожильческих русских говоров, а также образование так называемой «русской смешицы» (население от смешанных браков) — все это обуславливает формирование разнотипных говоров. Независимо от расхождения мнений ученых относительно классификации говоров Сибири (см. работы А. М. Селищева, П. Я. Черных, В. А. Сенкевича, В. В. Палагиной, О. И. Блиновой и др.) все сибирские говоры с известным основанием можно подразделить на четыре основных типа: 1) старожильческие (челдонские); 2) смешанного типа; 3) говоры новоселов; 4) так называемые «островные» говоры.

В лингвистической науке русские говоры Сибири долгое время оставались совершенно неизученными. В конце прошлого века акад. А. И. Соболевский, оценивая состояние русской диалектологии как науки, имел основания утверждать, что русские говоры Сибири совсем неизвестны [8]. Впервые попытался последовательно и в зависимости от материала с относительной полнотой охарактеризовать русские говоры Сибири А. М. Селищев [9]. В этой работе дано описание фонетики и морфологии, главным образом, старожильческих говоров, но не все объяснения фактов, предложенные в этой работе, убедительны. Так, например, едва ли известный в Сибири фонетический вариант *клев* (от *хлев*) возник по аналогии с *клеть* [9, с. 242]: форма *клев* известна во многих русских говорах, в которых слово *клеть* отсутствует. Очевидно, форма *клев* из *хлев* возникла в результате частичной регрессивной ассимиляции по способу образования.

Можно найти в работе А. М. Селищева и другие неточности, которые, конечно, не определяют ее оценку. Названный очерк послужил основой для многих диалектологов, изучавших фонетику и морфологию говоров Сибири различных регионов: Г. И. Матвеевой [10], В. В. Палагиной [11], К. М. Браславца [4], В. А. Сенкевича [12].

Дальнейшее описание диалектной фонетики и морфологии оказалось, однако, малоперспективным для сибирских говоров смешанного и переходного типов, испытывающих сильное и все более нарастающее влияние литературного языка: такие говоры почти утратили традиционные фонетические и морфологические черты. Из фонетических исследований сибирской диалектологии большое значение могли бы иметь сопоставительно-типологические работы, в которых можно было бы найти сведения о регулярных соответствиях акустических качеств фонем русского говора и взаимодействующего с ним языка аборигенов, а также сведения о типовых и возможных сочетаниях фонем и в слове в этих языках. Такие исследования помогли бы установить процесс фонетического и морфологического освоения заимствования. Так, например, принято считать изве-

---

[2] Смешанный характер восточнославянского населения в Сибири, как доказывает И. А. Воробьева [7], подтверждается топонимикой. Это прекрасно понимают и сами сибиряки, характеризуя разнодиалектный характер жителей сел и деревень фразеологическими оборотами: *Кислое с пресным переболталось*; *Божье с грешным перемешалось*.

стное в русском литературном языке слово *торбаза* заимствованным из якутского языка через посредство сибирских говоров. Но как объяснить в результате такого заимствования утрату сильного начального звука *е* и переход последующих *е* в *о* и *а*: якут. *этэрбэс* [13, с. 549], русск. *торбаза*?

Разнотипный характер русских говоров Сибири, наличие смешанных и «островных» говоров — все это создает такую пеструю картину переплетения (фонетических и морфологических) разнодиалектных черт, которую нельзя представить на лингвистической карте. Поэтому сибирские диалектологи отказались от идеи создать диалектологический атлас русских говоров Сибири. Наиболее перспективным оказалось изучение диалектной лексики, разнообразной и очень богатой. Эти качества сибирской диалектной лексики обусловлены периферийностью сибирских русских говоров, смешанным характером значительной их части и разными контактами с языками аборигенов. Независимо от этого в лексике в абсолютном большинстве сибирских русских говоров преобладает «старожильческий» слой, развившийся на северновеликорусской диалектной основе, что обусловлено внеязыковыми причинами: общностью географической среды, расселением носителей старожильческих говоров по всей территории Сибири.

О лексике русских сибирских говоров написано много статей, несколько монографий. Аспекты исследования фактического материала в них разные, они зависели и от содержания лексикологических работ известных лингвистов страны (Ф. П. Филина, Д. Н. Шмелева, В. В. Палагиной, Т. С. Коготковой) и вместе с тем определялись и спецификой лексики сибирских говоров. Из всех лексикологических работ сибирских диалектологов следует выделить статьи и монографии В. В. Палагиной, посвященные реконструкции исходного состояния томского говора. В этих работах автор устанавливает на основе данных письменных памятников XVII—XVIII вв., фактического материала современных томских и материнских европейских говоров разновременные комбинации разнодиалектных систем, которые имели место в процессе исторического сложения томского говора, и более поздних вкраплений в его уровни. Метод исследования, разработанный В. В. Палагиной, оказался плодотворным для изучения истории говоров томского региона и, разумеется, может не дать ожидаемых результатов при анализе диалектных структур других говоров из-за отсутствия письменных памятников и архивных материалов. Но независимо от этого он позволяет понять всю сложность процесса становления русских говоров Сибири, определившего их своеобразие по сравнению с материнскими русскими говорами Европейской части СССР. Эта сложность лексики и даже фонетики усугубляется в тех говорах Сибири, которые находятся или в постоянном иноязычном окружении (русские «островные» говоры Якутии и Бурятии), или в длительных и глубоких контактах с языками аборигенов (русские камчатские говоры). Значительные результаты достигнуты лексикологами Сибири в тематическом описании сибирских говоров [14—17]. Сведения, которые содержатся в работах этих авторов, важны сами по себе: они дают возможность этнографам и историкам конкретнее представить процесс приспособления русских, украинцев и белорусов, переселившихся в Сибирь, к новой природной среде; лингвист в этих работах может найти факты становления лексических парадигматических рядов, которые определили причину преобладания в лексике говоров Сибири северновеликорусской диалектной основы. Тематическое описание лексики сибирских говоров дает возможность лингвистам конкретнее и глубже представить характер и причины заимствования слов в русские говоры Сибири, тесно связанные с языками различных аборигенов Сибири, тюркскими, тунгусо-маньчжурскими, самодийскими. Наиболее значительные результаты в изучении проблем заимствования в русские сибирские говоры достигнуты С. И. Ольгович и Л. А. Самсоновым. Но этими и другими авторами наблюдения велись над частными фактами. Вопросы последовательного изучения лексики, заимствованной в разные периоды истории формирования сибирских говоров, остаются открытыми. Следует заметить, что

в большинстве работ при выяснении причин заимствования слова и изменений в его семантике обращается внимание, главным образом, на денотативную основу в значении такого слова. И понятно, почему. Достаточно для этой цели привести примеры заимствования слов в забайкальских говорах: *бакари* — длинные унты; *арса* — сыр домашнего приготовления, похожий на творог; *арушень* — сушеный творог; *архи* — молочный спиртной напиток; *тайган* — недавно кастрированный конь, еще не объезженный; *такша* — деревянная пиала; *армак* — блюдо, приготовленное из жареных потрохов [18]. Все эти слова, заимствованные из бурятского языка, обозначают у русских забайкальцев новые для них бурятские реалии. Но как объяснить заимствование слов *барахчан* «однолетний теленок» и *балар* «мошенник» в те же говоры и из того же бурятского языка? Ведь значение слова *барахчан* адекватно широко известному в Сибири слову *селеток* (слово северновеликорусского происхождения). В забайкальских русских говорах в результате длительных контактов русских с бурятами, надо полагать, создалась такая языковая ситуация, когда частота употребления бурятского слова обусловила избыточность слова *селеток* (этим же объясняется и заимствование *балар*) в названном значении. Это слово в забайкальских говорах вошло в другую лексическую парадигму, со словом *лошадь*, и по аналогии с ним изменило форму рода: *селетка* [3] «молодая необъезженная лошадь, жеребенок по первому году».

При изучении семантических изменений в заимствованной предметной лексике необходимо знать не только конкретные признаки названной реалии, но и обстоятельства, при которых осваивались носителями русских говоров иноязычные слова. Так, например, в сибирских говорах широко известно заимствованное из нанайского языка слово *кета* в значении «ценная красная рыба из семейства лососевых». С этим значением, но с иным ударением слово из сибирских говоров вошло в лексику русского литературного языка. Но в нанайском языке слово *киата* [21] имеет значение «любая снулая, т. е. неживая или полуживая рыба, всплывшая на поверхность и увлекаемая течением», а порода красной ценной рыбы из семейства лососевых в нанайском языке называется словом *дава*. Возникает законный вопрос: почему русские заимствовали из нанайского языка слово *кета*, а не *дава*? Как известно, *кета* (а в Амуре из лососевых больше всего водилась кета) после нереста погибает, поэтому она и составляет основную массу «снулой» рыбы. Русские переселенцы на Амур, надо полагать, прежде всего и обратили внимание на эту породу рыб и перенесли название *кета* «снулая, дохлая» на этот вид лососевых, не восприняв нанайского противопоставления в семантике слов *киата* — *дава* (ведь для такого противопоставления «снулой» и «живой» рыбы в сознании русских людей, приехавших на Амур, прежде не было предметной основы: в русских реках рыба не погибает и не становится «снулой» после нереста).

Такое же переосмысление в говорах Сибири произошло в заимствованном из монгольских языков слове *чалдон*. В монгольских языках оно имело значение: «бродяга, каторжник» [22], в сибирских русских говорах: «коренной сибиряк, русский, старожил» [23, 20]. Судя по тому, что слово это заимствовано в XIX в., можно полагать: в XIX в. значительную часть сибирского населения стали составлять люди, сосланные в Сибирь царским правительством и оставленные там на вечное поселение.

Совершенно неизученным в проблеме заимствованной остается частный вопрос: переход семантически и фонетически освоенных русскими говорами Сибири тюркизмов в тюркские же языки Сибири. Так, например, в русских говорах Сибири широко известно слово *варнак* в значениях: 1) каторжник; 2) беглый каторжник; 3) разбойник, грабитель; 4) (бранн. и шутл.) шалун, проказник. По форме (и только по форме!) это слово со-

[3] Форма *селеток*, *селетка*, по-видимому, является производной от *сеголеток*, *сеголетка* с общим значением «детеныш этого (сего) года рождения». Слово *сеголеток* известно в красноярских говорах [19, с. 179] и некоторых других говорах Новосибирской области [20, с. 492]. В забайкальских говорах формы *сеголеток* — *сеголетка* не зафиксированы.

относится с якутским *уоруйах* [13, с. 439], что значит «вор». Вместе с тем в якутском языке известно и другое слово, близкое по форме, *баранаак* [13, с. 63], имеющее те же значения, которые свойственны русскому сибирскому *варнак*. По мнению Е. И. Убрятовой, форма слова *баранаак* возникла в якутском языке в результате заимствования из сибирских говоров слова *варнак*. В русские же говоры это слово заимствовано, как полагает Е. И. Убрятова, из чувашского языка [о чем свидетельствует географическое распространение слова (см. «Словарь русских народных говоров», вып. 4)], при этом произошло расширение значения слова.

В последние годы появилось значительное количество работ, отражающих коннотативно-экспрессивную сторону сибирских диалектных слов. Все более привлекают внимание сибирских диалектологов проблемы изучения лексики как системы. Не отвергая значения подобного рода исследований, необходимо отметить в этих работах чрезмерное увлечение модными теориями, что проявляется в утверждениях о том, что значения слов формируются только в результате парадигматических и синтагматических связей в семантике слов; в попытках ограничить изучение семантики слов методом дистрибуции и перенесением фонологического метода установления оппозиций в фонемах Н. С. Трубецкого на изучение диалектных слов. При этом часто используется лексический материал разных говоров, не контактирующих друг с другом. В результате лингвист создает схему зависимостей слов, лексические парадигмы и матрицы как своеобразный конструкт, который, конечно же, не отражает реально существующей совокупности лексических фактов, взаимодействующих друг с другом.

Последовательное и всестороннее изучение сибирской диалектной лексики было бы невозможно в таком объеме, который достигнут, без издания диалектных словарей. За последние двадцать лет было создано и вышло в свет около десяти сибирских региональных словарей. Назовем наиболее значительные из них: «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» [см. 23], «Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья» (Томск, 1977), созданные сотрудниками кафедры русского языка Томского университета; «Словарь русских говоров Новосибирской области» [см. 20], составленный сотрудниками отдела филологии Института истории, филологии и философии СО АН СССР; «Словарь русских говоров Забайкалья» [см. 18]; «Иркутский областной словарь» (Иркутск, 1973—1979, т. 1—3), созданный языковедами Иркутского педагогического института. Кафедрой русского языка Барнаульского университета подготовлен к изданию «Словарь русских говоров Алтая», лингвистическими кафедрами Благовещенского и Хабаровского пединститутов — «Словарь старожильческих говоров средней части бассейна р. Амура». Заняты подготовкой диалектных словарей и фразеологических материалов для словарей сотрудники кафедры русского языка Кемеровского университета. Филологи-русисты Института истории, филологии и философии СО АН СССР подготовили к изданию «Фразеологический словарь русских говоров Сибири». Все эти словари дифференциального типа. Задачу создания полного диалектного словаря сибирские диалектологи не ставят. И это неслучайно. Идею создания диалектных словарей дифференцированного типа теоретически обосновал Ф. П. Филин [24]. Она нашла свое воплощение в практике составления многотомного «Словаря русских народных говоров». Принципами лексикографической характеристики диалектных слов и их отбора в словник, разработанными Ф. П. Филиным, руководствуется абсолютное большинство советских лексикографов, составляющих современные диалектные словари, в том числе и сибирские диалектологи. Эти принципы обусловлены глубоким пониманием современного состояния говоров, процессов, которые в них происходят, особенно — в лексике. В работах Ф. П. Филина и других лингвистов (см. например, исследования Т. С. Коготковой [4]) современное состояние говора характеризуется как «полудиалект», т. е. такое состояние говора, когда под влиянием литературного языка в нарастающих темпах происходит нивелирование

традиционных явлений в фонетике, морфологии, синтаксисе, исчезают целые тематические группы слов, происходит перестройка в парадигматических рядах, избирательно осваиваются литературные слова или их отдельные значения.

Можно ли при таком состоянии говора в наше время создать полный (недифференцированный) словарь говора? Практика показывает, что такие словари — это словари картотек, они не отражают реального состояния лексики говора: в них помещено только то, что удалось записать при обследовании говора (просторечная, литературная, диалектная лексика). Чтобы убедиться, какое огромное количество и диалектных, и литературных слов не вошло, например, в «Псковский областной словарь», и, значит, пропущено собирателями, достаточно провести один лингвистический эксперимент: составив вопросник к словам какой-либо тематической группы, попытаться на его основе в результате опроса выявить эту тематическую группу слов или лексическую парадигму и сопоставить ее с теми словами этой группы, которые зафиксированы в словаре. Станет очевидным, что многие слова этой парадигмы в названном словаре оказались пропущенными. А сколько слов в говоре, которые не вступают в парадигматические отношения?

Идея создания полных словарей особенно неприемлема при лексикографическом описании говоров Сибири, где пропорции русских литературных, разнодиалектных, заимствованных, украинских и белорусских слов в разных населенных пунктах настолько различны, что для воплощения идеи создания полного словаря, отражающего системный характер лексики (представим невозможное возможным!), пришлось бы писать сотни словарей говоров или отдельных диалектных зон, микросистем. Это потребовало бы многолетнего труда сотен лингвистов, а результаты его были бы минимальными, потому что в словнике таких словарей была бы представлена пестрая смесь общерусских, разнодиалектных и заимствованных слов, зафиксированных далеко не полностью. Несомненно, гораздо важнее было бы создать общесибирский диалектный словарь дифференцированного типа. Работа над ним, если учесть необходимость в новых материалах, которые следует собрать на еще не обследованных территориях, потребует усилий, пожалуй, всех лингвистических кафедр вузов Сибири. Но она вполне осуществима. Организовать ее и довести до конца могла бы кафедра русского языка Томского университета, имеющая опыт в составлении сибирских диалектных словарей и теоретически подготовленная для такой работы.

При собирании новых материалов для такого словаря прежде всего надо иметь в виду говоры обширных территорий Омской, Тюменской, Читинской областей и Дальнего Востока, «островные» говоры Якутии и Бурятии. Если учесть нарастающую интенсивность влияния литературного языка на сибирские говоры, освоение его новыми поколениями людей в школе и в учебных заведениях и приток огромного количества специалистов в Сибирь из центра в связи с нарастающими темпами освоения ее природных богатств, рост городского населения и переход значительных групп русского крестьянского населения Сибири к новым видам трудовой деятельности,— можно полагать, что в ближайшие десятилетия носителями диалектной сибирской речи останутся единицы людей старшего поколения. Было бы целесообразно поэтому в настоящее время лингвистам Сибири скоординировать свои усилия так, чтобы можно было собрать диалектную сибирскую лексику в говорах, которые до сих пор остаются не изученными.

В современном «полудиалектном» состоянии говоров, как это ни странно, именно лексика проявляет еще некоторую устойчивость в употреблении: она в отличие от синтаксиса «имеет опору» в предметах, явлениях, фактах внеязыковой действительности.

Кроме этой важной задачи, перед русистами Сибири стоят и другие, не менее сложные: анализ и описание диалектного словообразования, изучение истории происхождения диалектных слов и фразеологизмов.

Изучение этих проблем находится пока в зачаточном состоянии, но

полученные результаты позволяют надеяться, что работа над ними будет перспективной: составленный томскими лингвистами «Опыт обратного диалектного словаря» (Томск, 1973) содержит значительный фактический материал, сопоставительный анализ которого, а также материалы других диалектных словарей и семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» позволили М. Н. Янценецкой описать словообразовательную семантику русского языка и его говоров в аспекте взаимодействия словообразования с лексикой и морфологией [25]. Не менее значительны результаты этимологических исследований диалектной лексики, выполненных О. И. Блиновой и ее учениками [26—27]. Эти работы важны не только для выяснения истории происхождения собственно диалектных слов, они позволяют во многих случаях точнее установить этимологию многих слов литературного языка, имеющих с диалектными ту же производящую основу или ее фонетический вариант. Большое значение для исторической лексикологии русского языка будет иметь мотивационный словарь диалекта, который составляют сотрудники кафедры русского языка Томского университета. Сибирские говоры содержат богатый и интересный фразеологический материал, изучение которого только начинается. Из всех аспектов изучения сибирской диалектной фразеологии наиболее интересным, как нам представляется, является исторический: он позволяет во многих случаях установить причины образования диалектных ФЕ, их связи и взаимодействие с общенародной фразеологией и дает много новых сведений о процессе фразеологизации словосочетаний. Эти вопросы в меру своих возможностей попытался разрешить автор настоящей статьи в книге «Сибирская диалектная фразеология» [28]. Их дальнейшее изучение может быть более успешным после опубликования «Фразеологического словаря русских говоров Сибири».

Подводя итоги краткого и далеко не полного обзора изучаемых проблем русского языка в Сибири, можно сказать, что сибирские русисты выполнили значительную исследовательскую работу по изучению русского языка в Сибири, развивавшегося здесь в своеобразных условиях в продолжении четырех столетий, начиная с походов Ермака с последующими массовыми переселениями русских из разных пределов Московской Руси, а позже — украинцев и белорусов. С наибольшей глубиной и последовательностью изучены среднеобские говоры. Главные аспекты исследований этих говоров представлены в трудах лингвистов Томского университета.

Многое еще предстоит сделать. Но, пожалуй, главной и общей задачей сибирских диалектологов-русистов следует считать подготовку диалектных словарных и фразеологических материалов для сибирских региональных словарей, имея в виду и другую цель: с максимальной полнотой отобразить сибирскую диалектную лексику и фразеологию в грандиозном по масштабам и наиболее важным по значению для науки диалектологическом начинании нашего времени — в «Словаре русских народных говоров», над созданием которого вот уже двадцать лет работает группа ленинградских филологов-русистов под руководством Ф. П. Филина. Пополнение картотеки этого словаря с целью обогащения его словника и семантики слов и фразеологизмов — это почетный долг лингвистов-диалектологов (здесь можно не бояться громких слов!) перед традиционной русской народной языковой культурой, если иметь в виду, что семантика слов и фразеологизмов — важный источник для изучения духовной и материальной культуры народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шунков В. И.* Очерки по истории колонизации Сибири в XVII—начале XVIII в. М., 1960.
2. *Долгих Б. О.* Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960, с. 616—617.
3. *Браславец К. М.* Диалектологический очерк Камчатки.—Уч. зап. Хабаровского гос. пед. ин-та, т. XIV. Южно-Сахалинск, 1968.
4. *Коготкова Т. С.* Русская диалектная лексикология. М., 1979.
5. *Буцинский П. И.* Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889, с. 23.

6. *Палагина В. В.* Диалектный состав первых жителей Томска.— В кн.: Вопросы языкознания и сибирской диалектологии. Вып. 7. Томск, 1977.
7. *Воробьева И. А.* Русская топонимия средней части бассейна Оби. Томск, 1973.
8. *Соболевский А. И.* Очерк русской диалектологии.— Живая старина, 1892, т. 2, вып. 2, с. 24.
9. *Селищев А. М.* Диалектологический очерк Сибири.— В кн.: *Селищев А. М.* Избранные труды. М., 1968.
10. *Матвеева Г. И.* Фонетическая система старожильческих говоров юго-восточных районов Новосибирской области.— В кн.: Материалы по фонетике и истории сибирских говоров. Красноярск, 1975.
11. *Палагина В. В.* Фонетические особенности говора д. Заливино Тарского района Омской области.— Тр. Томского ГУ, 1955, т. 129.
12. *Сенкевич В. А.* Проблемы сибирской и уральской диалектологии. Челябинск, 1975.
13. Якутско-русский словарь. М., 1972.
14. *Блинова О. И.* Лексика обработки льна, прядения и ткачества в старожильческих говорах средней части бассейна р. Оби.— Тр. Томского ГУ, 1964, с. 174.
15. *Блинова О. И.* Производственно-промысловая лексика старожильческого говора с. Вершинина Томского района Томской области: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Томск, 1962.
16. *Иванова Ф. П.* Названия одежды и обуви в говорах старожильческих районов Томской области, расположенных по реке Оби и ее притокам.— Уч. зап. Томского ун-та, 1958, № 30.
17. *Лукьянова Н. А.* Бытовая лексика говоров Сузунского района Новосибирской области.— В кн.: Исследования по языку и фольклору. Вып. 1. Новосибирск, 1965.
18. *Элиасов Л. Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
19. Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Красноярск, 1968.
20. Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979, с. 579.
21. *Оненко С. Н.* Нанайско-русский словарь. М., 1980.
22. *Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.* Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971, с. 487.
23. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Томск, 1967, т. 3, с. 220.
24. *Филин Ф. П.* Проект «Словаря русских народных говоров». М.— Л., 1961.
25. *Янценецкая М. Н.* Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979.
26. *Блинова О. И.* Лексическая мотивированность и некоторые проблемы региональной лексикологии.— В кн.: Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Диалектная лексика. 1971. Л., 1972.
27. *Блинова О. И.* Мотивационный словарь диалекта и некоторые вопросы теории.— В кн.: Вопросы языкознания и сибирской диалектологии. Вып. 7. Томск, 1977.
28. *Федоров А. И.* Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

МИНАЕВА Л. В., ФЕДЕНЕВ В. Б.

«ПАРОНИМИЯ» В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ

Одним из основных направлений лексикологии, основы которого были заложены в трудах В. В. Виноградова и А. И. Смирницкого [1, 2] является изучение соотношения и взаимодействия внешней и внутренней сторон слова на фоне более широкой проблемы нарушения «закона знака» в естественном человеческом языке. Среди понятий, которые так или иначе связаны с этой проблемой,— полисемия, омонимия, синонимия, паронимия — последнее до сих пор остается наименее ясным [3—5]. Это не значит, конечно, что мы вообще не имеем определения паронимов. Паронимы — это «слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [6, с. 313]. Но в практике исследования паронимии языковед сталкивается с чрезвычайно сложной м е т а я з ы к о в о й ситуацией, когда целый ряд терминов используется для обозначения сходных, если не тождественных явлений («паронимы», «парономазия», «паронимическая аттракция», «народная этимология», «малапропизм», «гетерофемия», «квазиомонимия»). Поэтому необходимо более глубокое изучение материала, чтобы, во-первых, выяснить, в какой степени паронимия соотносима с такими понятиями, как полисемия, омонимия, синонимия и т. д., и, во-вторых, решить, какое из приведенных металингвистических обозначений следует принять за основу.

Обратимся сначала к материалу словарей, поскольку именно эмпирическое обследование словарей французского языка дало очень интересные результаты [7]. Сплошной анализ словарей трудных случаев словоупотребления, словарей лексических ошибок, словарей паронимов [4; 8—17] позволяет наметить две тенденции в подборе включенных в них слов. Прежде всего сравнительно легко выделяются слова, в отношении которых установлено, что они могут смешиваться людьми, недостаточно хорошо владеющими языком. К этим случаям относятся такие, например, пары, как русск. *всякий — всяческий*, *динамичный — динамический*, *вручить — всучить*, *компанейский — кампанейский*, *вперемежку — вперемешку*, англ. *enquiry — inquiry* «запрос, расследование», *promptitude — promptness* «быстрота, проворство», *cord* «шпагат» — *chord* «струна», *specially* «специально» — *especially* «особо, особенно», *elementary* «элементарный» — *elemental* «стихийный» и т. д.

Подобно тому как нет однородности в характере и содержании словарей, послуживших материалом нашего исследования, так и включающиеся в них слова оказываются, по существу, различными, поскольку чуть ли не в каждом конкретном случае мы сталкиваемся с особым видом нарушения «закона знака» в языке. В сопоставляемых словах переплетаются такие категории, как варианты слов, неомографические омонимы, квази-омонимы, однокоренные слова, сходные по значению слова, которые можно определить как синонимы [1], и т. д. Во всех парах семантическая близость и сходство соответствующих слов в плане выражения в большей или меньшей мере зависят друг от друга, но не связаны отношениями взаимно-однозначного соответствия.

---

[1] Синонимы — это «те члены тематической группы..., которые а) принадлежат к одной и той же части речи и б) настолько близки по значению, что их правильное употребление в речи требует точного знания различающих их семантических оттенков и стилистических свойств» [6, с. 407]

Что же является основанием для включения той или другой пары (или группы) слов в словари ошибочного употребления и словари паронимов? Приступая к анализу уже собранного большого и разнообразного материала, следует констатировать прежде всего то обстоятельство, что между включаемыми в словари словами проявляется вполне определенное социолингвистическое различие. Иначе говоря, опасность неразличения таких, например, слов, как русск. *догма* и *догмат*, *дюжий* и *дюжинный*, *дублет* и *дуплет*, англ. *ethical* «этический» и *ethnical* «этнический», *euphuism* «эвфуизм» и *euphemism* «эвфемизм», с одной стороны, и русск. *блестеть* — *блистать*, *бурун* — *буран*, англ. *crash* «шум, треск» — *clash* «столкновение», *glance* «мельком взглянуть» — *glimpse* «мельком увидеть», с другой, отнюдь не является универсальной, а зависит от уровня языковой культуры говорящего. Приведенные выше пары не только потенциально, но и реально смешиваются в речи людей, недостаточно хорошо владеющих языком.

Однако некоторые словари [4, 14, 16] включают и такие пары, как, например, русск. *ампула* — *амплуа*, *бидон* — *бетон*, *ветеран* — *ветеринар*, *дворняга* — *дворянка*, *жилет* — *жакет*, *канализатор* — *колонизатор*, *ягодица* — *ягодница*, англ. *arch* «арка» — *arcane* «тайный, скрытый», *absence* «отсутствие» — *abstinence* «воздержание, трезвенность», *costume* «костюм» — *custom* «обычай», *canopy* «балдахин» — *panoply* «доспехи», *stunt* «демонстрировать смелость, ловкость» — *stultify* «выставлять в смешном свете», *tinker* «лудить, паять» — *tamper* «вмешиваться, портить», *except* «исключать» — *exempt* «освобождать», и т. п. Пары этого рода резко отличаются от случаев, описанных выше. Если раньше в центре внимания были различные нарушения «закона знака», носившие более или менее явный характер, то в этом случае значения сопоставляемых слов настолько не имеют ничего общего, а формы так различны, что становится совершенно непонятным, как они могут быть «ошибочно употреблены» в речи. При выделении этих слов допускается явная переоценка звуковой стороны лексических единиц в ущерб стороне семантической. Такие «ошибки» могут быть сделаны только абсолютно неграмотными людьми, которые совершенно не владеют литературным языком, поэтому вряд ли можно считать целесообразным включение подобных пар в словари.

К сказанному следует добавить следующее. В научной литературе твердо установлено понятие квази-омонимии, которое было особенно глубоко разработано в связи с изучением так называемых «минимальных пар», получивших детальное описание на материале английского языка в трудах представителей американской дескриптивной лингвистики. Известно, что они имеют существенное значение для определения семиологически релевантных противопоставлений в фонологической системе данного языка (например, *cat* «кот» — *cap* «кепка», *bill* «счет» — *pill* «таблетка», *dog* «собака» — *dock* «док» и т. п.). Понятно, что на дифференциальном уровне в центре внимания оказывается простое противопоставление звуковых оболочек слов, используемое с целью выявления различающих их фонем, которые являются односторонними единицами. Но противопоставления этого рода нельзя смешивать с морфонологическими и, тем более, с морфологическими оппозициями, где на передний план выдвигается единство содержания и выражения. На морфонологическом уровне, например, мы сразу же сталкиваемся с качественно изменившимися звуковыми противопоставлениями. Если на фонологическом уровне /k/ и /dʒ/ являются разными фонемами, выполняющими функцию различения, например, таких слов, как *cake* /keɪk/ «пирог» и cage /keɪdʒ/ «клетка», то на морфонологическом уровне те же звуки оказываются вариантами одной и той же морфемы, т. е. указывают на единство звуковых оболочек корневых морфем, например, таких слов, как *correct* /kə'rekt/ «исправлять» и *corrigible* /'kɔrɪdʒəbl/ «исправимый». Нельзя, следовательно, объединять *брал*, *врал*, с одной стороны, и *аврал*, *бал*, с другой, только потому, что и те, и другие оканчиваются на *-л*. В первом случае *-л* является двусторонней единицей (т. е. имеет не только форму, но

и закрепленное за ней морфологическое содержание), а во втором случае — это единица односторонняя.

Из сказанного следует, что такие пары, как *ампула — амплуа*, *дворняга — дворянка* и т. п., не имеют отношения к нарушениям «закона знака» в естественном языке (это приобретает особое значение в аспекте обучения правильному словоупотреблению), а представляют собой весьма неопределенную категорию, не поддающуюся описанию в плане языковых противопоставлений [2].

Какова же роль термина «паронимы»? Дело в том, что хотя все виды и разновидности лексических ошибок (т. е. ошибок словоупотребления) как будто имеют некоторые общие свойства, однако имеющиеся лексикографические пособия, стремящиеся помочь пользующемуся языком предупредить ошибки или подсказать возможность словесной игры, не дают оснований для выделения «паронимов» в отдельную подсистему. Так, в восьми английских словарях [10—17] мы находим только одну пару слов (*affect — effect*), которые признаются их авторами как требующие разъяснения. Что же касается большинства включенных в словари правильного словоупотребления пар (или рядов) слов (такие ряды обычно приводятся для того, чтобы предостеречь пользующихся языком от смешения соответствующих слов в речи), то, как было показано выше, этот материал далеко не однороден и может быть подведен под уже установившиеся понятия, а именно: варианты слова, неомографические омонимы, однокоренные синонимы и т. д. Овладевая более сложными формами своего родного языка, говорящий не может не затрудниться из-за отсутствия в нем совершенно определенного и вполне однозначного соответствия формы и содержания. Он вновь и вновь оказывается в трудном положении, когда две лексические единицы настолько близки по звучанию и значению, что приходится специально разъяснять существующую между ними разницу. При этом разнообразие случаев настолько велико, что оно с трудом поддается классификации в соответствии с уже установленными таксономиями, причем особенно трудно (а может быть, и невозможно) оказывается выделить четкую подсистему из всего этого многообразия, закрепив за ней термин «паронимы».

Следует также подчеркнуть, что специальными исследованиями была установлена принципиальная невозможность определения предела фонетического варьирования сополагаемых слов в английском языке [19]. Конечно, в некоторых случаях сходство в плане выражения можно объяснить, исходя из вариантов произношения тех или иных слов в лексической системе языка. Так, например, в парах *imminent* «близкий» — *eminent* «возвышенный», *immigrant* «иммигрант» — *emigrant* «эмигрант» наблюдается замена /ɪ/ и /e/. Смешение слов, противопоставляемых на основе данной фонетической оппозиции, будет вполне понятно, если учесть, что это же чередование характерно для фонетических вариантов слов, например, *elicit* «извлекать» /ɪ'lɪsɪt/, /e'lɪsɪt/, *elimination* «исключение» ɪˌlɪmɪ'neɪʃn/, eˌlɪmɪ'neɪʃn/, *elixir* «эликсир» /ɪ'lɪksə/, /e'lɪksə/ и т. п. Однако в целом разнообразие в плане выражения настолько велико, что практически не поддается какой-либо систематизации. Таким образом, не только план содержания, но и план выражения не дает возможности определить паронимы как «эмическую систему», т. е. как подсистему в словарном составе я з ы к а.

Какой же можно сделать вывод из всего сказанного? Видимо, следует вернуться к классическому определению паронимов (см. выше, с. 90). Думается также, что попытки рассмотрения паронимии как я з ы к о-

---

[2] Сказанное подтверждает мысль А. М. Пешковского: «Работа над п а р о н и м а м и (словами с х о д н ы м и по звукам, но н е т о ж д е с т в е н н ы м и) полезна только в том случае, когда они являются одновременно и синонимами. *Корову* с *короной* или *город* с *голодом* (и соответственно, *ампулу* с *амплуа*, *ветерана* с *ветеринаром*. — *М. Л.*, *Ф. В.*) никто не смешает, и фиксировать внимание на этих различениях нет нужды. А вот *предвидеть* и *провидеть*, *интеллигентный* и *интеллигентский*, *смещение* и *смешение*, *затемнение* и *затенение* — это все особый вид з а т р у д н е н н ы х с и н о н и м о в, причем затрудненность идет именно из звуковой близости» [18].

в о г о явления, которое настолько отчетливо воспроизводится в речи, что представляет собой уже сложившуюся подсистему в общей системе лексики языка, преждевременны. При отделении «паронимов» от вариантов слов, неомографических омонимов, однокорневых синонимов и т. п. возникают непреодолимые трудности, т. к. паронимы не обладают достаточно устойчивыми признаками, позволяющими выделить их в отдельную подсистему.

Как уже было сказано, наряду с термином «паронимы» в научной литературе используются такие металингвистические обозначения, как «парономазия», «паронимическая аттракция», «народная этимология», «малапропизм», «гетерофемия». Хотя термин «паронимическая аттракция» не имеет точного и металингвистически удобного определения, его тем не менее можно выбрать в качестве наиболее общего названия для того речевого явления, на котором зиждется онтология использования в речи сходства в звучании и частичного совпадения морфемного состава слов. «Паронимическая аттракция» может, таким образом, использоваться для обозначения употребления таких слов в речи как родовой термин, а «народная этимология», «парономазия», «малапропизм» и «гетерофемия» будут тогда служить для обозначения определенных разновидностей паронимической аттракции, т. е. как термины видовые.

Приведем примеры паронимической аттракции в устной разговорной речи и газетном стиле: *В этом городе долго не проживешь: жизнь очень будняя* (нужно: *будничная.*— М. Л., Ф. В.) [8, с. 21]. Слово *будний* встречается только в связанных словосочетаниях, например, *будний день*, поэтому в этом случае фиксируется его ошибочное употребление. *Народ терпел двойственный* (нужно: *двойной.*— М. Л., Ф. В.) *гнет* [8, с. 100]. Слово *гнет* может определяться только прилагательным *двойной*, в то время как *двойственный* сочетается с такими словами, как *решение*, *отношение*, *характер*. *Суп действительно оказался с «галушками» — обжигающе-горячий, дымчатый* (нужно: *дымящийся*, т. е. настолько горячий, что от него идет пар) [8, с. 126]. *Дымчатый* и *дымящийся* также обладают разными сочетательными способностями — первое имеет гораздо более узкое применение и относится, в основном, к цвету. Более сложным случаем является следующий пример: *У него большой опытный* (нужно: *опытнический.— М. Л., Ф. В.*) *талант, много лет работает на поле* [8, с. 201]. Здесь возникают дополнительные сложности, потому что *опытный* — это слово общего языка, а *опытнический* тяготеет к специальной лексике. Разница в частотности употребления может служить основой для ошибочного использования. Ср. следующий пример: *Mr. Bell, Surgeon, deposed, that upon his examining the Body of the Deceased, he found several Bruises and Wounds upon it, but not of consequence enough to effect* (нужно: *affect. — М. Л., Ф. В.*) *her life* [13, с. 19] «Г-н Белл, хирург, показал, что при осмотре тела потерпевшей он обнаружил несколько кровоподтеков и ран, которые, однако, не могли привести к смертельному исходу» (а не «вызвать жизнь»). *Effect* значит «вызывать, осуществлять» и может употребляться в словосочетании *to effect death* «привести к смертельному исходу», в то время как *affect* значит «повлиять, оказать воздействие» и встречается в словосочетании *to affect life* «оказать влияние на жизнь». Возьмем еще несколько примеров. *The founder of the movement will be especially* (нужно: *specially.— М. Л., Ф. В.*) *interviewed for the ten o'clock news* [11, с. 166]. «Специально (а не «особо») для передачи вечерних новостей будет взято интервью у основателя движения». В данном случае смешиваются однокоренные слова, которые различаются коллокационно. *Even the crew-quarters underwent a microscopic examination... (The new hands), naturally, were the ones to be watched with extra vigour* (нужно: *rigour*) [13, с. 346]. «Даже помещения команды были подвергнуты тщательному осмотру... Причем за новыми рабочими нужно было следить особенно строго» (а не «с особенной энергией».— *М. Л., Ф. В.*). Вместо слова *vigour* «сила, энергия» здесь следовало употребить *rigour* «строгость».

Паронимическая аттракция, приобретая достаточную определенность в реальном речеупотреблении, получает интересное опосредованное от-

ражение в словесно-художественном творчестве, в речевой характеристике персонажа. Для подтверждения этого тезиса обратимся к материалу английского языка, где использование паронимов обладает целым рядом специфических особенностей. При анализе художественных произведений с точки зрения наличия в них паронимической аттракции выяснилось, что, будучи одним из видов игры слов, она находит широкое применение в речевых характеристиках персонажей и является важным и показательным фактором английской культурно-исторической традиции. Различные каламбуры, игра слов, основанная на омонимии, полисемии, деформации идиомы и т. п., чрезвычайно распространены в английском языке и представляют собой один из наиболее характерных признаков речи англичанина. Неслучайно поэтому, что недавно была сделана попытка даже составить словарь каламбуров, многие из которых широко известны и повторяются снова и снова в разных контекстах [20]. Таким образом, паронимическая аттракция, которая дает писателю возможность использовать в ткани художественного произведения своеобразные «переливы» формы и содержания в слове, имеет вполне определенные социолингвистические корни. Именно поэтому рассмотрение материала английского языка представляет особый интерес.

Изучение произведений английской литературы позволяет выделить три социолингвистически обусловленных типа паронимической аттракции. Прежде всего следует сказать о паронимической аттракции, используемой для создания речевой характеристики невежественного человека, например: *Is this place of abomination consecrated ground? — I don't know nothink of consequential ground, says Jo, still staring* (Ch. Dickens, Bleak House) «Эта трущоба — освященная земля? — Не знаю я никакой освященной (а не «важной».— *М. Л., Ф. В.*) земли,— отвечает Джо, продолжая смотреть во все глаза». Вместо редкого *consecrated* «освященный» Джо употребляет слово *consequential* «важный», которое он, видимо, слышал, но все равно не знает правил его сочетаемости с другими словами. Ср. также: *Dull. Which is the duke's own person? — Berowne: This fellow. What would'st? — Dull: I myself reprehend his own person, for I am his grace's tharborough: but I would see his own person in flesh and blood* (W. Shakespeare, Love's Labour's lost) «Тупица: Где здесь король собственной особой? Бирон: Вот он, приятель. Чего тебе надо? Тупица: Я самолично представляю (а не «порицаю».— *М. Л., Ф. В.*) собой его величество, потому что состою констенблем на службе его величества, но мне желательно видеть его особу в телесном обличьи». В приведенном примере из контекста становится ясно, что слово *reprehend* «порицать» смешивается со словом *represent* «представлять». Никакого семантического сходства между сопоставляемыми словами в данном случае нет. Такую ошибку может сделать только абсолютно необразованный человек, который вообще не знает, как употреблять эти слова.

Итак, паронимическая аттракция этого типа выступает в качестве стилистического приема, характеризующего речь необразованного человека. Как правило, паронимическая аттракция этого рода служит признаком речевой характеристики комического простака, персонажа чрезвычайно распространенного в английской классической литературе и особенно в произведениях Ч. Диккенса (ср. речевые характеристики Сэма Веллера, папаши Веллера и др.). В период творчества Ч. Диккенса социолингвистические различия вариантов речи определились уже довольно четко, что и способствовало их художественному осмыслению в литературе. Социальная структура общества проявляется в речевых характеристиках персонажей, причем паронимическая аттракция является одним из наиболее распространенных приемов создания нестандартной речи.

Второй тип паронимической аттракции используется в речевой характеристике персонажа, прообразом которого является носитель языка, не достигший еще уровня культурного, образованного человека, но в силу определенных причин и прежде всего благодаря своему состоянию попавший в общество образованных людей и стремящийся не отличаться от них. Примером такого персонажа может служить миссис Малапроп в

произведении Р. Б. Шеридана «The rivals»: ... *she's as headstrong as an allegory* (нужно: *alligator*. — *М. Л., Ф. В.*) *on the banks of the Nile*... «... она упряма, как аллигатор (а не «аллегория») на берегах Нила»; «*I am sorry to say, Sir Anthony, that my affluence* (нужно: *influence*.— *М. Л., Ф. В.*) *over my Niece is very small* «К сожалению, сэр Энтони, мое влияние (а не «изобилие») на племянницу чрезвычайно мало»; *Come, Sir, you're our envoy* (нужно: *convoy*.— *М. Л., Ф. В.*) — *lead the way, and we'll precede* (нужно: *proceed*) «Ну, сэр, Вы наш сопровождающий (а не «посланник»), ведите, а мы пойдем за Вами (а не «пойдем впереди»). Миссис Малапроп кажется, что если она будет использовать в своей речи длинные и малопонятные слова, то она сможет утвердить себя в том обществе, членом которого, по существу, она еще не является. И здесь паронимическая аттракция социолингвистически мотивирована, ибо мы опять сталкиваемся с противопоставлением стандартной литературной речи и речи неправильной.

Совершенно особую роль играет третья разновидность паронимической аттракции. Она ограничивается рамками авторской речи и фигурирует в речевых характеристиках персонажей, относящихся к обществу образованных людей. В этом случае паронимическая аттракция является основой игры словами, например: *Angelo*: *Benefactors*! *Well, what benefactors are they*? *Are they not malefactors*? (W. Shakespeare, Measure for measure) «Анджело: Добродеев? Какие такие добродеи? Уж не лиходеи ли?»; ... *You have, as it appears to me, practised upon the easy-yielding woman, and made her serve your uses both in purse and in person* (W. Shakespeare, King Henry IV) «Вы, как мне представляется, злоупотребили доверием этой податливой женщины, заставив ее служить вам и кошельком, и собственной особой». Говорящий в случаях, подобных приведенным, хорошо владеет языком и настолько тонко чувствует всю гамму коннотаций, созданных сложными переплетениями формы и содержания в паронимической аттракции, что может сознательно использовать этот прием для достижения тех или иных стилистических эффектов. Таким образом, эта разновидность паронимической аттракции как бы противостоит двум другим, где комический эффект достигался благодаря обыгрыванию ошибочного использования слов в речи людей, недостаточно хорошо владеющих литературным языком.

Итак, реальной онтологией паронимов является паронимическая аттракция в широком смысле как особый факт р е ч и. Функциональный анализ различных видов паронимической аттракции обнаруживает ее социолингвистический характер в английском языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* О формах слова.— ИАН ОЛЯ, 1944, № 3.
2. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (проблема «тождества слова»).— Тр. Ин-та языкознания АН СССР, 1954, т. 4.
3. *Вишнякова О. В.* Паронимы в русском языке. М., 1974, с. 8—9.
4. *Колесников Н. П.* Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971, с. 3.
5. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975, с. 223—225.
6. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
7. *Кузнецова И. Н.* Паронимия в современном французском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
8. *Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С.* Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка: Словарь-справочник. М., 1968.
9. Трудности словоупотребления и варианты норм русского языка. Под ред. Горбачевича К. С. Л., 1973.
10. *Bernstein Th. M.* The careful writer. A guide to good usage. New York, 1965.
11. *Fowler H. M.* A dictionary of modern English usage. Oxford, 1977.
12. *Morris W., Morris M.* Harper's dictionary of contemporary usage. New York, 1977.
13. *Partridge E.* Usage and abusage. A guide to good English. Baltimore, 1977.
14. Room's dictionary of confusibles. London, 1979.
15. *Sonnenschein W. S.* Five thousand words frequently misspelt. London, s. a.
16. *Tennant G.* A handbook of English usage. London, 1964.
17. *Wessen M. H.* Words confused and misused. New York, 1932.
18. *Пешковский А. М.* Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. М.— Л., 1930, с. 59.
19. *Давыдов М. В., Феденев В. Б.* К вопросу о паронимической аттракции. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР, 1979, № 3901.
20. *Crosbie J. S.* The dictionary of puns. London, 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

СИБАГАТОВ Р. Г.

АТРИБУТИВНЫЕ И ПРЕДИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПЛАНЕ СОДЕРЖАНИЯ

(На материале татарского языка)

Вопрос об атрибутивном характере предикативных конструкций обсуждается как в общем, так и в тюркском языкознании. Известно, например, мнение Н. Д. Арутюновой, утверждающей, что предикативные отношения «возникают на базе атрибутивных отношений и в чисто синтагматическом плане могут быть сведены к этим последним» [1]. Н. А. Баскаков рассматривает тюркское предложение как более сложное, но также восходящее к атрибутивному сочетанию [2]. Данная общая квалификация предикативных конструкций *находится в соответствии с концепцией* традиционной (аристотелевской) логики об атрибутивном характере суждения. Согласно этой концепции, предикативная конструкция сближается или совпадает с атрибутивной конструкцией в том, что в составе каждой из них имеются две основные части (члены), выступающие в качестве определяемой и определяющей.

При такой структурной общности, однако, атрибутивные и предикативные конструкции по общему содержанию буквально противопоставляются друг другу.

В логике бытует мнение о том, что в рамках предикативной конструкции выражается принадлежность предмета некоторому классу предметов, что осуществляется путем приписывания предмету свойства. Например, если свойства, присущие человеку, приписываются Сократу, то это, по данной концепции, означает, что Сократ включен в класс людей (ср. предложение *Сократ есть человек* [3, с. 210]). Г. Гегель писал: «Субъект есть по самому смыслу своему прежде всего единичное, а предикат — всеобщее» [4, с. 353]. Более того, существует ограничение, введенное еще Аристотелем, которое гласит: «единичные термины не могут быть предикатами других терминов» [3, с. 212]. В конечном итоге предикат противопоставляется субъекту как родовое понятие видовому; соотнесение их друг с другом, т. е. предикация, квалифицируется как операция о б о б щ е н и я. В атрибутивной конструкции обнаруживается нечто противоположное: «...атрибут ограничивает основу, выделяет в ее логическом объеме определенную область, служит видовым отличием для отражаемого в сочетании понятия» [5, с. 51]. Если определяемой частью атрибутивного сочетания выражается родовое (общее, более абстрактное) понятие, то определяющей частью — видовое отличие родового понятия. Сочетание определяемого и определяющего в целом дает видовое (менее общее, более конкретное) понятие. Ср., например: *кеше*, *ир кеше* («человек, мужчина»). При этом осуществляется к о н к р е т и з а ц и я понятия. В результате предикативная и атрибутивная конструкции как по функции противопоставляемых частей, так и по общему содержанию ощутимо отдаляются друг от друга. Это положение традиционной логики широко применяется в лингвистике. И ссылка на него на первый взгляд действительно кажется удачной, поскольку это дает как бы готовое решение вопроса о соотношении предложения и словосочетания в плане содержания.

Однако традиционно логическое решение вопроса о соотношении атрибутивных и предикативных конструкций не является теоретически безупречным. Трудно говорить об истинном соотношении их до тех пор, пока

нет единого мнения о внутренней структуре каждой отдельной конструкции. Описание структуры атрибутивных конструкций как будто не вызывает особых дискуссий. Но описание предикативной структуры всегда оставляло и оставляет место для сомнений и возражений. Даже сам Аристотель, основывая свою систему на понятии включения в класс (обобщения), тем не менее допускал наличие предложений, в которых предикатом является не общее понятие, а обозначение единичного явления (его примеры: *Эта белая вещь есть Сократ*; *Приближающийся предмет есть Каллиас*). Г. Гегель в предложениях типа *Я сегодня хорошо спал* или *Цезарь родился в Риме в таком-то году* также усматривал выражение не всеобщего, а отдельных поступков, состояний [4, с. 352]. Такие предложения, явно противоречащие концепции об обобщающем характере суждения, всегда привлекали внимание исследователей.

В современной логике традиционной концепции о «включении в класс» (обобщении) противопоставляется, главным образом, концепция о выражении тождества в суждении. Эта мысль особенно четко выражена в книге А. И. Уемова «Системный подход и общая теория систем». Автор вполне разделяет мнение о том, что предикат не является классом, т. е. множеством, между субъектом и предикатом в действительности существует отношение тождества. Но это, по данной концепции, не простое тождество. Содержание предиката равняется части содержания субъекта. А. И. Уемов анализирует предложение *Железо есть металл*. «Металл как совокупность свойств,— пишет он,— входит в ту совокупность свойств, которая образует железо. Иначе, в нашем формализованном языке металл есть подобъект железа» [3, с. 214—215]. Исходя из этого, он считает возможным сформулировать следующее общее утверждение: «Любое свойство, приписываемое объекту, т. е. характеризующее его, будучи субстантивировано (т. е. в абстракции от носителя), является его подобъектом, входящим в число свойств, образующих объект» [3, с. 215]. По этой концепции, суждение *Сократ есть человек* также означает: «Сократ есть человек плюс что-то».

Хотя описываемая структура, судя по всему, не охватывает все разряды предложений-суждений и нуждается в дальнейшем уточнении, что мы попытаемся сделать ниже, здесь важен сам принцип противопоставления членов предикативного отношения. Предикат определяется как часть субъекта. Представляется, что такое соотношение членов характерно для всякого расчленяемого предложения независимо от того, как эти члены выражены. Не только в предложениях типа *Тимер — металл* «Железо есть металл», но и в предложениях типа *Яфрак яшел* «Лист зеленый», *Кеше килгэн* «Человек пришел», сказуемое которых выражено не именем существительным, а прилагательным и глаголом, содержание предиката равняется части содержания субъекта. (Будем иметь в виду случаи, когда синтаксическое и актуальное, или логико-грамматическое, членения предложения совпадают: подлежащее выступает в функции субъекта, а сказуемое — в функции предиката.) В число свойств листа входит зеленый цвет, одним из свойств человека является его способность к перемещению, в данном случае выраженная глаголом *килу* «прийти». Но, следует подчеркнуть, статусы частей (предикатов) по отношению к совокупностям (субъектам) в предложениях первого и второго типов соответствуют не полностью. В предложениях типа *Тимер — металл* «Железо есть металл» предикат по содержанию отождествляется с частью отображенных в субъекте существенных свойств, т. е. таких свойств, без которых данное явление как таковое не существует. В процессе предикации, путем соотнесения части с целым, частично эксплицируется содержание целого. Другими словами, раскрывается то, что в содержании субъекта, т. е. в совокупности образующих его свойств, есть часть, равная содержанию предиката. Содержание субъекта, конечно, не исчерпывается этим, в нем содержатся и другие свойства, но их экспликация не является целью данного высказывания. В предложениях же типа *Яфрак яшел* «Лист зеленый», *Кеше килгэн* «Человек пришел» содержание предиката не входит в число существенных свойств, отображенных

в субъекте. Скажем, понятие «лист» существует и остается качественно определенным и вне отображения свойства «быть зеленым». И, в самом деле, может же быть лист и желтым, и красным и т. д. То же самое надо сказать в отношении понятия «человек». Его существо определяется не свойством «прийти». Несущественное свойство представляет собой такое свойство, которое «может принадлежать, а при некоторых условиях может и не принадлежать предмету, но от этого данный предмет не перестает существовать как данный предмет» [6]. Понятие, будучи отображением существенных свойств явления, непосредственно не включает в себя несущественные. Эти несущественные свойства добавляются в содержание понятия-основы посредством особых логических операций (атрибуции и предикации). Таким образом, в предложениях данного типа предикат, не отождествляясь с существенной частью субъекта, представляет собой отображение, добавляемое в содержание субъекта.

Отношение частного тождества по существенным свойствам характеризует только предложения. Например, понятие «металл», будучи частью понятия «железо», вступает с ним в отношение в качестве предиката, но не вступает в отношение в качестве обычного определения (атрибута). Нельзя говорить: *металл тимер* «металлическое железо». Вполне отвечает логическим и языковым нормам предложение *Чыршы — агач* «Ель — дерево», но недопустимо словосочетание *агач чыршы* «деревянная ель». Такие безаффиксальные словосочетания не допускаются не по грамматическим правилам. В татарском языке, как и в других тюркских языках, безаффиксальное сочетание, например, вещественных существительных с другими существительными — вполне нормальное явление. Ср.: *алтын балдак* «золотое кольцо» (букв. «золото кольцо»), *кун итек* «кожаный сапог» (букв. «кожа сапог»), *фарфор савыт* «фарфоровая посуда» (букв. «фарфор посуда»). Приведенные же выше словосочетания, например, *агач чыршы* «деревянная ель», отвечая требованиям грамматики, тем не менее не удовлетворяют условиям логических правил [1].

Предложения, в которых выражается частное тождество по существенным свойствам, занимают особое положение среди предикативных конструкций языка. Устанавливаемый на материале данных предложений предикат, отождествляясь с частью существенных свойств субъекта, в то же время может быть принят за отражение класса (множества), поскольку данной частью свойств характеризуется не одно единственное явление. Например, свойствами металла, кроме железа, обладают еще многие другие элементы таблицы Менделеева. Данный тип предложений, действительно, является хотя и не прямым, но косвенным обоснованием положения об обобщающем характере предиката. С другой стороны, невозможность параллельного существования словосочетаний, между компонентами которых было бы установлено отношение частного тождества по существенным свойствам, как бы дает основание для того, чтобы предложение и словосочетание легко противопоставлялись друг другу как способы логического обобщения и конкретизации.

Но если мы обратим внимание на второй тип предложений, то указанное противопоставление исчезает. Предложения типа *Яфрак яшел* «Лист зеленый», *Кеше килгэн* «Человек пришел» легко преобразуются в словосо-

---

[1] В таких словосочетаниях определение оказывается родовым, а определяемое (основа) — видовым понятием. Присоединение родового понятия к видовому, осуществляемое в рамках атрибутивной конструкции, приводит к тавтологии, так как признаки родового понятия уже содержатся в видовом. Поэтому такие атрибутивные сочетания практически невозможны [см. 5]. В татарском языке, правда, выделяются именные словосочетания другой формы, в которых зависимое существительное выражает родовое, а господствующее существительное — видовое понятие, например: *кошлардан чыпчык* «воробей из птиц». Но и здесь нельзя утверждать, что родовое понятие, составляющее часть содержания видового понятия, что-то добавляет к последнему или выделяет в нем. Между ними существует отношение особого рода: само видовое понятие (один предмет) выделяется из объема родового понятия (класса предметов). Об этом см. также [7].

четания. Ср., например: *яшел яфрак* «зеленый лист», *килгэн кеше* «пришедший человек» (или: человек, который пришел). При этом логический статус частей предложения и словосочетания по отношению друг к другу ничуть не меняется. В предикате и определении отображена та часть свойств, которая не включена непосредственно в содержание понятия, выступающего в функции субъекта и определяемого. В обоих случаях, и в предложении и в словосочетании, содержание одного понятия добавляется в содержание другого понятия. В этом заключается сущность атрибуции, которая реализуется не только в словосочетаниях, но и лежит в основе предложений.

Выделяя то общее, что объединяет предикативные и собственно атрибутивные конструкции языка, нельзя, конечно, не видеть их различий. Эти различия, однако, заключаются не в том, в чем их обычно усматривают. Трудно согласиться, что, например, понятие «зеленый», ограничивая (конкретизируя) понятие «лист» в атрибутивной конструкции, обобщает его в предикативной конструкции. Эта точка зрения, как уже указывалось и в логике, связана с большими натяжками. И в том и в другом случаях содержание одного понятия (предиката и определения) добавляется в содержание другого понятия (субъекта и определяемого). Это в действительности ведет не к обобщению, а, наоборот, к ограничению, конкретизации, что, как известно, в полной мере реализуется в рамках собственно атрибутивной конструкции; в рамках же большей части предикативных конструкций хотя тоже происходит сложение понятий, ведущее к конкретизации, это не является единственным назначением данных единиц. Они еще выполняют функцию выражения различных типов модального отношения. В анализируемых предложениях *Яфрак яшел*, *Кеше килгэн* отношение между двумя понятиями (предмета и свойства), например, квалифицируется с точки зрения говорящего посредством употребления соответствующих языковых средств (интонации и наклонения) как реальное, достоверное. В результате, атрибуция, осуществляемая в рамках предикативной конструкции, осложняется, приобретает различные оттенки. В частности, предикативная конструкция, фиксируя отношение говорящего к соединению частей, преподносит это соединение как процесс, событие, в котором участвует сам говорящий. Между тем содержание словосочетания, не включающее в себя отражения характера осуществляемой связи, отношения говорящего к этой операции, предстает как статическое явление, один логический объект.

Соотношение предикативной и собственно атрибутивной конструкций в плане логико-семантического содержания можно изобразить символически в виде формул. Для этого введем условные обозначения предмета (S), свойства (A) и отношения между ними (R). Формулу атрибутивного отношения, не осложненного модальной характеристикой, можно выразить так: ARS. Для обозначения модальной характеристики, или модального атрибута, используем дополнительный знак $A^м$. Предикативность как модально (субъективно) характеризуемое атрибутивное отношение принимает вид: $A/R + A^м/S$. Отражая обычный (прямой) порядок слов, характерный для тюркских языков, эту формулу можно записать так: $S/R + A^м/A$.

Здесь важно подчеркнуть, что в предикативной конструкции, с одной стороны, выражается отношение между предметом мысли и приписываемым ему свойством — атрибутивное отношение, существующее независимо от говорящего лица, лишь раскрываемое, сообщаемое им. С другой стороны, выражается отношение говорящего к этому объективно существующему отношению. Средства модального характера сами по себе не устанавливают нового синтагматического отношения, а функционируют на базе атрибутивного отношения.

Положение о том, что предикативные отношения «возникают на базе атрибутивных отношений» [1], в лингвистической литературе имеет несколько условный характер. Дело в том, что здесь как бы допускается первичность атрибутивных и вторичность предикативных отношений (т. е. поэтапное формирование их). В действительности, видимо, можно гово-

рить лишь о том, что предикативная конструкция предполагает атрибутивное отношение, в своей основе содержит его, но не является трансформацией атрибутивного сочетания. Отношение понятия о предмете и понятия о признаке (= атрибутивность) особенно наглядно выступает на материале предложений, синтаксическое и актуальное членения которых совпадают, т. е. тогда, когда подлежащее (субъект) выражается существительным (морфологическим обозначением предмета), а сказуемое (предикат) — глаголом, прилагательным, наречием (морфологическими обозначениями свойства). И, надо сказать, положение об атрибутивной основе предикативных конструкций выдвинуто, прежде всего, на материале таких предложений. В предложениях же, синтаксическое и актуальное членения которых не совпадают, противопоставление предмета и признака не имеет столь явного характера. Но здесь важно то, что данное (субъект) и новое (предикат), выраженные соответственно не подлежащим и сказуемым, а другими членами предложения, также представляют определяемое и определяющее понятия,— имеется в виду атрибутивность в самом широком смысле слова (см. ниже).

Можно сказать, атрибутивное сочетание — это тесное, непосредственное сцепление частей, а предикативное сочетание, в своей основе являющееся тоже атрибутивным, отягощено модальной характеристикой. Таким выглядит соотношение сопоставляемых конструкций при первом, самом общем и, пожалуй, будет верно сказать — предварительном решении. Но вопрос, как мы увидим, не исчерпывается данной общей квалификацией их содержания. Дело в том, что хотя атрибутивное отношение фиксируется в формуле ARS более или менее адекватно, но предикативное отношение, выраженное формулой $S/R + A^{м}/A$, в действительности понимается неоднозначно, более того, оно не всегда и не обязательно принимается за предикативное отношение в собственном смысле слова, что, естественно, осложняет задачу. Здесь, на наш взгляд, требуются существенные дополнительные уточнения.

В современной лингвистике принято теоретическое положение о двух уровнях членения предложения — синтаксическом и актуальном, или логико-грамматическом, коммуникативном. Это, в свою очередь, привело к тому, что такие основные понятия теории синтаксиса, как структура предложения, предикативность и модальность, стали тоже как бы раздваиваться, вступая при этом в строго иерархические отношения. Вопрос о соотношении двух уровней структуры предложения и соответственно двух разных проявлениях предикативности и модальности, так или иначе привлекавший и привлекающий внимание лингвистов, особенно последовательно решается в работах В. З. Панфилова. Два уровня структуры предложения рассматриваются им в связи с двумя уровнями структуры суждения [8, с. 112—129]. В логике, как известно, структура суждения представляется обычно как субъектно-предикатное отношение. Суждения, в которых противопоставляются субъект и предикат, называются атрибутивными. Формула их: S есть P или S не есть P. Вместе с тем существует тенденция к отбрасыванию этой схемы. В суждении, по мнению некоторых логиков, предикат «означает отношение, существующее между двумя или, вообще говоря, многими предметами» [9, с. 126]. Суждение, стало быть, может состоять из n-местного предиката, выраженного глагольным сказуемым, и двух или нескольких предметов (аргументов), выраженных именами (подлежащим и дополнениями). Суждения, имеющие такую структуру, рассматриваются как «суждения с отношениями», или «релятивные суждения». Их формула: aRb или $R(a_1, \ldots, a_n)$, где R означает отношение; a, b — предметы, вступающие в это отношение. Как обоснованно утверждает В. З. Панфилов, эти два типа членения суждения не могут дать двух различных форм суждения, а в действительности являются двумя уровнями структуры суждения вообще. «Каждая из этих структур мысли,— пишет В. З. Панфилов,— обусловлена одной из объективно присущих ей сторон, а именно: если суждение как пропозициональная функция фиксирует ту или иную объективную ситуацию, образуемую какими-либо объектами в их отношениях, то субъектно-предикатная струк-

тура обусловлена направленностью, ходом познания данной ситуации» [8, с. 116]. Характерно, что каждая из двух структур суждения находит свое отражение в одном из уровней структуры предложения: 1) релятивная структура суждения — в синтаксической структуре предложения; 2) атрибутивная структура суждения — в актуальной, или логико-грамматической, коммуникативной, структуре предложения [8, с. 117].

Из уровневого характера структуры предложения закономерно вытекает дифференцированность его основных признаков. Как важнейшая категория предложения на синтаксическом уровне выделяется сказуемость (функция сказуемого как синтаксического члена), частным проявлением которой является сказуемостное отношение, т. е. отношение между подлежащим и сказуемым. Предложение на логико-грамматическом уровне (термин В. З. Панфилова) характеризуется предикативностью. Как пишет В. З. Панфилов, «предикативность представляет собой свойство всего предложения в целом, а не какого-либо одного члена предложения, и в том числе и сказуемого» [10, с. 169]. Именно предикативность характеризует отнесенность содержания предложения к действительности. Как частное проявление предикативности рассматривается отношение между субъектом и предикатом в их логико-грамматическом понимании. При этом и модальность, обнаруживаемая на каждом из выделенных уровней предложения, дифференцируется на: 1) модальность синтаксического уровня; 2) модальность логико-грамматического уровня [10, с. 174—200].

Такой подход дает возможность в значительной степени конкретизировать содержание понятия «предикативное отношение». Но при ограничении круга одного из сопоставляемых нами явлений, а именно — предикативных конструкций, в поле зрения возникает третье явление — конструкции, выражающие сказуемостное отношение. В итоге рассматриваемый в нашей статье вопрос, вольно или невольно, приобретает двоякий характер: если, с одной стороны, привлекает внимание взаимоотношение атрибутивных и предикативных конструкций, то, с другой стороны, одинаково интересным и важным оказывается взаимоотношение атрибутивных и сказуемостных конструкций.

Возникающие сложности во многом связаны с функциональными особенностями различных типов модальных средств. Эти особенности пока что не до конца выявлены. Известно, что к числу средств, реализующих предикативное отношение, по традиции относят, прежде всего, аффиксы наклонения, времени, лица. Присутствие их в составе сказуемого двусоставного предложения обычно воспринимается как условие, обязательно создающее предикативное отношение. И, действительно, сочетание «существительное в основном падеже плюс глагол в личной форме» всегда выступает как предложение. Но на самом деле предикативное отношение в данной конструкции возникает не обязательно на базе названных средств. Дело в том, что личной формой глагола, обладающей модально-временными характеристиками, может выражаться не только предикат, но и субъект. Когда личная форма глагола является предицируемым членом, то модальное значение, выраженное формой наклонения глагольного сказуемого (предиката), характеризует его отношение с субъектом. Но если спрягаемый глагол выступает в функции субъекта, что вполне возможно, то в данном случае едва ли допустимо утверждение, что модальность, входящая в сферу субъекта, характеризует его отношение с предикатом. В данном случае употребления конструкции «существительное в основном падеже плюс глагол в личной форме» аффиксы наклонения, времени, лица, так сказать, выходят из игры. Надо полагать, что их действие в этом употреблении ограничивается сферой субъекта и не распространяется на что-либо другое. Возьмем, например, предложение *Ул килде* «Он пришел», произносимое с логическим ударением на подлежащем (*ул* «он»), что ставит его в положение предиката. Здесь сказуемое (*килде* «пришел») выступает в функции субъекта. Такое коммуникативное задание предложения на русский язык может быть передано так: «тот, кто пришел,— это он». В этом переводе как бы выходит наружу то, о чем мы говорили выше:

модальное значение, выраженное формой *-де* изъяв. накл. прош. вр. 3-го л., полностью остается в сфере выражения субъекта («тот, кто пришел»). Создается весьма своеобразное положение, когда модальные средства, обнаруживаемые на синтаксическом уровне, не функционируют на логико-грамматическом, когда исключается роль именно тех средств, которые в выражении предикативности — с традиционной точки зрения — рассматриваются как основные. Это положение заставляет искать то средство выражения субъективного отношения, которое всегда, в каждом случае употребления расчленяемого предложения, характеризовало бы отношение между выделяемыми частями. Такой обязательной субъективной характеристикой расчленяемого предложения, по всей видимости, является именно его расчлененность на данное (субъект) и новое (предикат), внешне сигнализируемая интонацией, модальными словами, частицами и некоторыми другими средствами. Эти средства, подчеркивая противопоставление друг другу двух частей предложения, по содержанию соотносимых с вполне объективными явлениями, в то же время выражают точку зрения говорящего на взаимоотношение их. Присутствие субъективного элемента в этом противопоставлении без особого труда улавливается языковым чутьем. К. Г. Крушельницкая, говоря о том, что каждое грамматическое значение обладает в той или иной степени субъективным компонентом, значения актуальных членов (по ее терминологии — значения нового и данного) относит к числу таких значений, в которых субъективный компонент преобладает [11]. Значения с так называемым субъективным компонентом, реализуемые при логико-грамматическом членении, по своей природе мало чем отличаются от собственно модальных значений. (Решению вопроса о специфике значений, выражающих субъективное отношение, посвящены специальные статьи автора [12, 13]. Здесь мы лишь в самой общей форме охарактеризуем привлекающую наше внимание разновидность их.) Раскрыть природу значений с субъективным компонентом вообще и природу значений логико-грамматических членов в частности, на наш взгляд, можно только путем сведения их к выражению отношения между некоторыми элементами субъективного и объективного порядка. Следовательно, здесь важно выяснить то, что конкретно представляют собой эти элементы. Обращает на себя внимание то, что расчленяемое предложение предполагает наличие другого, вопросительного или отрицательного, предложения. Например, предложение *Яшьләр төзелешкә китте* «Молодежь поехала на стройку» с логическим ударением на слове *төзелешкә* «на стройку» как бы является ответом на вопрос: «*Куда поехала молодежь*?». Оно может быть противопоставлено также частно-отрицательному предложению *Молодежь поехала не на стройку*. Логическое выделение одной из частей предложения в речи является именно следствием такого противопоставления. Высказываемое предложение вступает в отношение с тем предложением, существование которого предполагается говорящим. Это отношение может быть интерпретировано в терминах отношения «говорящий — собеседник». Но это будет не совсем точно, так как вопрос или отрицание не обязательно исходят от собеседника. Они имеют место и в процессе монологической речи. Поэтому здесь более уместно говорить о внешнем (объективном) стимуле и внутренней (субъективной) реакции. Таким образом, можно утверждать, что с помощью логико-грамматического членения выражается отношение, устанавливаемое между предложением (суждением), являющимся проявлением объективного стимула, и предложением (суждением), являющимся проявлением субъективной реакции. В этом значении, как в любом другом значении модального характера, присутствует элемент субъективности.

Можно сказать, что субъективная характеристика логико-грамматических членов заложена в самой природе, конституции их, и в татарском языке обнаруживается она, прежде всего, в интонационном оформлении предложения, в порядке слов. Логико-грамматический предикат может иметь при себе еще модальные (вводные) слова, частицы и другие субъективно характеризующие средства, а может и не иметь их. Эти последние средства в структурном плане играют при предикате дополнительную

(варьирующую, видоизменяющую) роль [2]. Логико-грамматический предикат, выраженный не глагольным сказуемым, а другими синтаксическими членами предложения, уподобляется именному сказуемому, которое, не имея формальных показателей модальности, кроме интонации, тем не менее вступает в модально (субъективно) характеризуемое отношение с подлежащим.

Есть основание утверждать, что явление предикативности варьируется не только по характеру синтагматического членения предложения, но и по составу модальных, субъективно характеризующих средств. Традиционные положения о том, что «разных видов предикации не существует» [16], что предикативность — это «общее и однородное свойство всякого предложения, которое не служит основанием для разделения предложений на классы» [17], не вполне согласуются с новыми данными. Расчленяемые предложения по характеру выражения предикативности образуют по меньшей мере две основные группы.

В одну группу объединяются предложения, логико-грамматическое членение которых совпадает с их синтаксическим членением. Другими словами, это такие предложения, в которых логическое ударение падает на сказуемое, в результате предмет мысли выражается подлежащим или группой подлежащего, а сообщаемое (новое) — сказуемым или группой сказуемого. Таково, например, членение предложения *Бодай көшеле үскәннән-үсә барды* (Г. Бәширов) «Ворох пшеницы становился все больше», когда оно отвечает на вопрос: «Что делалось с ворохом пшеницы?». Особенность предикации, осуществляемой в предложениях данной группы, заключается в том, что в характеристике отношения между двумя составами предложения, т. е. объективно заданного атрибутивного отношения, участвуют как средства актуального членения (логическое ударение, частицы и т. д.), так и средства, обнаруживаемые в составе сказуемого (наклонение, время, лицо). При этом отношение говорящего к связи явлений, обозначенных составами подлежащего и сказуемого, выражается максимально полно, т. е. настолько полно, насколько позволяет грамматическая структура языка вообще. Это тот случай, когда предикативность и сказуемость совпадают. Отношение между выделенными частями (предметом и признаком) получает двойную модальную характеристику: и на синтаксическом уровне, и на логико-грамматическом.

Во второй группе предложений логико-грамматическое и синтаксическое членения их расходятся: подлежащее и сказуемое либо оказываются в противоположных коммуникативных составах, либо оба включаются в один из этих составов. На первый случай пример уже был приведен (см. выше), рассмотрим второй случай. Например, в предложении *Егет менә шул утта янды* (Г. Ибраһимов) «Парня волновало именно это» логически выделяется определение (*менә шул* «именно это»). И эта часть предложения в функции предицируемого члена противопоставляется сочетанию подлежащего и сказуемого, выражающему предмет мысли. В предложении же *Зур куркынычның төбе ачылды* (М. Гафури) «Раскрылось то, что вызвало большой переполох» подлежащее и сказуемое (*төбе ачылды*), взятые вместе, как одно целое, образуют предицируемую часть, а предмет мысли (субъект) выражается второстепенными членами (*зур куркынычның*). В этих случаях, как уже отмечалось, сфера действия модальных средств, обнаруживаемых в составе сказуемого, не распространяется на

---

[2] Модальные средства, относящиеся к логико-грамматическому предикату и характеризующие его отношение с логико-грамматическим субъектом, подробно описаны на материале разных языков В. З. Панфиловым [8, 10]. Такие средства татарского языка в указанном плане пока что в достаточной мере не изучены. Но примеры того, что и на татарский язык распространяются общие закономерности, приводятся. М. З. Закиев указывает, например, на тот случай, когда модальное (вводное) слово относится ко второстепенному члену (предикату). Ср.: *Ул, бәлки, безгә килер* «Он, возможно, придет к нам» [14]. Здесь мы усматриваем именно то, что интонационно выделенный предикат получает дополнительное модальное (субъективное) оформление. Ф. С. Сафиуллина относит к числу средств, участвующих в формировании нового (предиката), наряду с порядком слов, некоторые частицы, неопределенные местоимения, аффикс отрицания [см. 15].

характеристику отношения между выделенными логико-грамматическими составами. Отношение между ними оформляется в качестве предикативного (субъективно характеризуемого) отношения именно благодаря средствам актуального членения. Но важно заметить то, что в предложениях этой группы грамматические категории наклонения, времени, лица не нейтрализуются, не перестают функционировать как модальные средства. Лишь ограничивается их сфера действия. Они характеризуют сказуемостное отношение, т. е. отношение между подлежащим и сказуемым, которые входят в этом случае в один из двух основных логико-грамматических составов.

Обнаруживается, что сопоставляемые нами конструкции (атрибутивные, сказуемостные, предикативные) находятся в разных отношениях к категории модальности: 1) отношение между членами атрибутивной конструкции не характеризуется с точки зрения этой категории; 2) в сказуемостной и предикативной конструкциях выражается модально (субъективно) характеризуемое отношение, однако модальность, обнаруживаемая в сказуемостной конструкции, как и сама конструкция в целом, относится к одному уровню структуры предложения, т. е. синтаксическому (ее называют объективной модальностью), а модальность (субъективная характеристика), обнаруживаемая в предикативной конструкции, как и сама конструкция в целом, относится к другому, более высокому, логико-грамматическому, уровню предложения (ее называют субъективной модальностью). Между модальностью объективной и модальностью субъективной существуют сложные отношения в рамках предложения, которые рассматриваются В. З. Панфиловым на материале языков разных систем [10, с. 182—200].

Все сопоставляемые конструкции объединяет атрибутивный характер их основного содержания. Члены сказуемостной конструкции и тех предикативных конструкций, синтаксическое и логико-грамматическое членения которых совпадают, соотносятся с компонентами атрибутивного словосочетания: подлежащее (субъект) с определяемым, сказуемое (предикат) с определением. Предложения же, синтаксическое и логико-грамматическое членения которых не совпадают, не имеют такой непосредственной соотнесенности. Это несколько осложняет дело. Но здесь может быть предложен такой подход к решению вопроса. Для данного членения наиболее характерно то, что логико-грамматический предикат оказывается частью (одним из членов) целого образования. Другими словами, при выделении предиката, выраженного не сказуемым, а другими членами предложения, целостность остающейся части предложения не нарушается. Эта часть сама по себе может быть принята за одно предложение. Ср., например, разные членения предложения *Мин кичә Мәскәүдән хат алдым* «Я вчера получил письмо из Москвы» (предикат в предложениях на татарском языке выделим полужирным, а в переводе поставим в постпозицию): 1) *Мин кичә Мәскәүдән* ***хат*** *алдым* «Я получил вчера из Москвы письмо»; 2) *Мин кичә* ***Мәскә*** *Үдән хат алдым* «Я получил вчера письмо из Москвы»; 3) *Мин* ***кичә*** *Мәскәүдән хат алдым* «Я получил письмо из Москвы вчера»; 4) ***Мин*** *кичә Мәскәүдән хат алдым* «Получил вчера письмо из Москвы я» [3]. Если теперь отвлечься от модальных характеристик противопоставляемых членов, т. е. рассматривать их только лишь как обозначения взаимосвязанных реальных явлений, то мы можем сказать, что лексические единицы, выделенные в качестве предиката, выполняют по отно-

---

[3] В татарском языке, как и в русском, употребляются также синонимические формы приведенных коммуникативных вариантов предложения, в которых предикат получает специфическое грамматическое оформление, например: Мин кичә Мәскәүдән алган нәрсә хат иде «То, что я получил вчера из Москвы, было письмо»; Мин кичә алган хат Мәскәүден иде «Полученное мною вчера письмо было из Москвы»; Кичә Мәскәүдән хат алучы (алган кеше) мин идем «Тот, кто вчера получил письмо из Москвы, был я». Следует, однако, заметить, такие грамматически оформленные синонимы имеют не все формы интонационно выделенного предиката. Его трудно (в стилистическом плане) подыскать, например, для случая 3), где в качестве предиката интонационно выделено обстоятельство кичә «вчера».

шению к целостному образованию, выражающему субъект, такую же функцию, какую выполняет определение по отношению к определяемому, т. е. конкретизирует его. Например, содержание целостного образования *Мин кичә Мәскәүдән алдым* «Я вчера получил из Москвы» конкретизируется путем включения в него лексической единицы *хат* «письмо». Такое же отношение устанавливается между другими выделяемыми частями (ср.: *мин кичә хат алдым — Мәскәүдән*; *мин Мәскәүдән хат алдым — кичә*; *кичә Мәскәүдән хат алдым — мин*). Первая часть сопоставляемых конструкций обозначает ситуацию-основу (родовое понятие), а вторая часть — ее видовое отличие. Их отношение, рассматриваемое вне модальных (субъективных) характеристик, в действительности и представляет собой не что иное, как атрибутивное отношение. Предлагаемое решение согласуется с общей постановкой вопроса о логической природе разного рода словосочетаний в предложении. Н. М. Годер, например, доказывает, что «не только определения, но и другие второстепенные члены предложения являются атрибутами...» [5, с. 57]. Отсюда, по его словам, следует, что все словосочетания могут быть названы атрибутивными. Например, в предложении *Н. уехал вчера на пароходе домой* второстепенные члены *вчера*, *на пароходе*, *домой*, относящиеся к сказуемому *уехал*, рассматриваются как атрибуты его. «Все эти атрибуты ограничивают основу, выделяют в ней определенную область, которая и составляет объем всего сочетания» [5, с. 57]. Г. В. Колшанский тоже относит к общей категории атрибутивной связи все отношения главных и зависимых членов предложения равно как в именной, так и в глагольной группах [18]. Есть все основания считать, что атрибутивный характер отношения между главными и второстепенными членами сохраняется и тогда, когда один из логических членов выражается сочетанием подлежащего и сказуемого, а другой — второстепенным членом.

Раскрываемое соотношение сопоставляемых конструкций способствует лучшему пониманию сложной структуры предложения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 277.
2. *Баскаков Н. А.* Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. М., 1975, с. 61.
3. *Уемов А. И.* Системный подход и общая теория систем. М., 1978.
4. *Гегель Г.* Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974.
5. *Годер Н. М.* О логической структуре понятия, выраженного словосочетанием.— В кн.: Логико-грамматические очерки. М., 1961.
6. *Кондаков Н. И.* Логический словарь-справочник. М., 1975, с. 387.
7. *Закиев М. З.* Синтаксический строй татарского языка. Казань, 1963, с. 188.
8. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
9. *Уемов А. И.* Вещи, свойства и отношения. М., 1963, с. 126.
10. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
11. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 404.
12. *Сибагатов Р. Г.* Модальность как структурно-семантическое единство.— СТ, 1978, № 4.
13. *Сибагатов Р. Г.* Модальный конституент предложения.— СТ, 1979, № 1.
14. *Зәкиев М. З.* Хәзерге татар әдәби теле (синтаксис). Казан, 1974, 131 б.
15. *Сафиуллина Ф. С.* Татар теленде сүз тәртибе. Казан, 1974, 44—45 б.
16. *Бенвенист Э.* Уровни лингвистического анализа.— Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965, с. 446.
17. *Ломтев Т. П.* О совещании по теории синтаксиса.— Вестник МГУ, 1961, № 5, с. 69.
18. *Колшанский Г. В.* Логика и структура языка. М., 1965, с. 106.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

СОЛОДУБ Ю. П.

К ВОПРОСУ О СОВПАДЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ

Факты совпадения фразеологических оборотов разных языков являются объектом сопоставительной фразеологии и исследуются обычно в четырех планах: сравнительном, сопоставительном, структурно-типологическом и ареальном [1, 2].

Аспект исследования определяется спецификой генетических и культурно-исторических связей сопоставляемых языков, а также формами совпадения самих фразеологических единиц (далее ФЕ).

Объектом нашего исследования являются ФЕ различных по своим генетическим и культурно-историческим связям языков, совпадающие как по своей семантике, так и по образной основе [ср. русск. *кровь с молоком*, польск. *krew z mlekiem* (букв. «*кровь с молоком*»), нем. (*wie*)*Milch und Blut* (букв. «как молоко и кровь»), норв. *melk og blod* (букв. «молоко и кровь»), итал. *latte e sangue* (букв. «молоко и кровь»)].

Называя ФЕ, тождественные или очень сходные как по своей семантике, так и по особенностям построения фразеологических образов, «идентичными фразеологизмами» (это понятие будет в дальнейшем подробно проанализировано нами), И. И. Чернышева высказывает предположение, что такие фразеологизмы могут существовать в самых различных, в том числе и разноструктурных, языках: их типологическое сходство основано на общности логических и образно-ассоциативных процессов мышления разных народов [3].

Высказанное предположение нуждается в практической проверке — сопоставительном анализе ФЕ в разноструктурных и различных по своим генетическим и культурно-историческим связям языков. Поскольку такой анализ предполагает исследование особенностей образной структуры разноязычных ФЕ, он прежде всего должен опираться на теоретические и методологические положения структурно-типологического аспекта сопоставительной фразеологии [2, с. 10].

Языком-эталоном [4] в нашем многоязычном сопоставительном структурно-типологическом исследовании является русский: ФЕ этого языка сопоставляются с ФЕ близкородственных (славянских), неблизкородственных (германских и романских), а также неродственных и в структурном отношении типологически далеких языков (венгерского, монгольского, индонезийского, вьетнамского [1], а также некоторых тюркских: казахского, узбекского, турецкого). Такой отбор языкового материала связан с поставленными нами задачами исследования: 1) проверить гипотезу о существовании в различных языках ФЕ, совпадающих по своему значению и образной основе, и уточнить содержание термина «идентичные фразеологизмы»; 2) проанализировать на материале тождественных по семантике и образности разноязычных ФЕ, как отражаются на их лексическом составе и грамматической организации некоторые особенности лексико-семантической и грамматической структуры того или иного языка (группы родственных языков), что позволит определить границы тождества разноязычных ФЕ.

В связи с тем, что содержание термина «фразеологизм» (синонимы: «фразеологический оборот», ФЕ) чрезвычайно неоднозначно трактуется

[1] По техническим причинам вьетнамские примеры даны без диакритических знаков

в современной теории фразеологии [5], мы отбираем для анализа только тот языковой материал, принадлежность которого к фразеологическому статусу признается лингвистами всех школ и направлений. В статье будут рассмотрены фразеологизмы типа идиом, т. е. устойчивые словесные комплексы, целостное значение которых не соответствует сумме значений входящих в их состав лексических компонентов, но может (факультативный признак) образно мотивироваться на основе этих значений. Для анализа по преимуществу структурно-типологического фактор «реально существующей образности» [6], безусловно, является релевантным. Для многоязычного сопоставления важен и тот факт, что ФЕ типа идиом обнаруживаются не только в языках, фразеологический состав которых уже достаточно подробно описан (языки европейского и среднеазиатского ареалов), но и в языках, фразеологические системы которых только начинают изучаться: вьетнамском [7], индонезийском [8], бини [Западная Африка], тамильском и таи [9]. Наличие ФЕ типа идиом в самых различных языках мира и создает возможность для использования в исследовании единой теории и единого понятийно-терминологического аппарата.

Обращаясь к рассмотрению поставленных проблем, отметим, что теория и практика исследований по сопоставительной фразеологии постоянно подтверждает мысль о «соизмеримости», сопоставимости фразеологических систем (или подсистем, микросистем, отдельных ФЕ) как в близкородственных [10—13], так и в неблизкородственных [2; 14, с. 262—265] и даже совершенно неродственных языках [15, 16].

Особенно глубоко в плане «соизмеримости» с фразеологией самых различных языков исследована фразеологическая система русского языка. Так, в советской фразеографии русская фразеология описана в сопоставлении с фразеологией таких неродственных языков народов СССР, как азербайджанский, киргизский, узбекский, чувашский (тюркская группа), коми, эстонский (финно-угорская группа) [17]. Фразеология русского языка как одного из мировых языков изучается в сопоставлении с фразеологией языков, генетически неродственных и в структурном отношении очень далеких [7, 8, 18].

«Соизмеримость», сопоставимость русской фразеологии с фразеологией различных языков доказывается наличием в их фразеологических системах «межъязыковых фразеологических эквивалентов» (МФЭ), т. е. «разноязычных ФЕ, совпадающих по своему образу, значению и стилистической окраске, соотносимых по компонентному составу (без обязательного однозначного соответствия единиц лексико-грамматического уровня) и структурно-грамматической организации» [19]. Некоторые примеры: «первый помощник» — русск. *правая рука*, индонез. *tangan kanan* (букв. «рука правая»); «целиком, полностью»: русск. *с головы до ног*, вьетнам. *tu dau den chan*.

В различного рода исследованиях МФЭ были выявлены при сопоставлении самых разных языков — «обострять ситуацию»: нем. *Öl auf das Feuer gießen* (букв. «лить масло на огонь»), франц. *mettre de l'huile sur le feu* («то же») [20]; «приходить в отчаяние, сильно досадовать, горевать»: русск. *рвать на себе волосы*, укр. *рвати на собі волосся*, англ. *to tear one's hair*, нем. *sich die Haare ausraufen*, франц. *s'arracher les cheveux* [21].

Типологически идентичными ФЕ разных языков следует, таким образом, считать прежде всего МФЭ, т. е. те ФЕ, тождество или близкое сходство семантики которых находит объяснение в однотипности логико-семантического изменения значений компонентов и в однотипности образно-ассоциативных связей, лежащих в основе этого семантического преобразования. Поскольку для МФЭ однозначное соответствие единиц лексического и/или грамматического уровня — фактор факультативный, можно говорить, очевидно, о нескольких типах их схождения: 1) МФЭ с полным однозначным соответствием единиц лексического и грамматического уровней (ср.: русск. *делать из мухи слона*, франц. *faire d'une mouche un éléphant*, узб. *пашшадан фил ясамоқ*); 2) МФЭ с отсутствием однозначного соответствия единиц лексического уровня [русск. *носить на руках* = венг. *a tenyerén hordozni* (букв. «носить на ладони»)]; 3) МФЭ с

отсутствием однозначного соответствия единиц грамматического уровня [русск. *высасывать из пальца* = нем. *aus den Fingern saugen* (букв. «высасывать из пальцев»)].

Дав вполне определенную (хотя и несколько суженную) интерпретацию понятию «идентичные фразеологизмы», мы можем наметить и сам путь поиска типологически идентичных ФЕ разных языков — выявление МФЭ во фразеологических системах этих языков. Теоретически наличия идентичных ФЕ в разных языках мира отрицать нельзя, но при этом следует сразу сказать, что и строгой предопределенности их существования нет: логические и образно-ассоциативные процессы мышления различных народов в каких-то своих конкретных формах далеко не всегда совпадают [случаи межъязыковой фразеологической омонимии: русск. *из кожи вон лезть* «усердствовать, стараться»; нем. *aus der Haut fahren* (букв. «лезть из кожи») используется в значении «выходить из себя»].

Существованию МФЭ разных языков способствуют два основных фактора: 1) общность жизненного опыта и отражающих его процессов мышления, общность, однотипность отдельных форм образного видения мира у самых разных народов, в том числе и народов, не имеющих между собой никаких языковых контактов; 2) тесные культурно-исторические связи между отдельными народами, между целыми ареалами.

Под воздействием второго фактора могут значительно сближаться фразеологические системы неблизкородственных и даже генетически совершенно неродственных языков. Р. И. Попович отмечает, что во фразеологии русского и молдавского языков гораздо больше образно-семантических параллелей, чем во фразеологии молдавской и французской [22], Г. Ц. Пюрбеев пишет о сближении калмыцкой фразеологии с фразеологией русской, что является результатом тесных контактов народов — носителей этих двух генетически неродственных языков [13, с. 43, 44]; в этом же плане заслуживают внимания довольно многочисленные образно-семантические параллели немецкой и венгерской фразеологии, например, «замучить разговорами, заговорить до полусмерти»: нем. (*j-m*) *ein Loch in den Bauch reden* (букв. «проговорить дыру в животе»), венг. (*vkinek*) *luykat beszél a hasába* («то же»); «сделать или сказать именно то, что нужно»: нем. *den Nagel auf den Kopf treffen* (букв. «попасть в головку гвоздя»), венг. *fején találni a szeget* («то же»).

Для типологических исследований в области фразеологии первый фактор, безусловно, более интересен: здесь «в чистом виде», без посредства заимствования, проявляется типологическая общность ФЕ разных языков. Какие же фразеологизмы одного конкретного языка (в нашем случае — русского) могут иметь МФЭ во фразеологических системах самых различных языков? Очевидно, чем общедоступнее, «общечеловечнее» образ, внутренняя форма ФЕ того или иного языка, тем больше вероятность наличия и в других языках, в других фразеологических системах его МФЭ. Так, МФЭ русских ФЕ *правая рука* «первый помощник», *как кошка с собакой* «в постоянных ссорах, раздорах», *кожа да кости* (позиционный вариант *кости да кожа*, квантитативный вариант — *одни кости*) «очень худой, истощенный» были обнаружены нами как во фразеологических системах близкородственных (украинский, белорусский, польский, чешский, болгарский) и неблизкородственных языков (французский, испанский, итальянский, румынский, молдавский, английский, немецкий, шведский, датский, норвежский), так и языков неродственных (венгерский, языки тюркской группы: казахский, узбекский, турецкий; а также в монгольском, вьетнамском и индонезийском языках).

ФЕ *правая рука* имеет МФЭ во всех указанных языках; МФЭ в основном характеризуется схождением первого типа. Однако следует отметить, что наиболее близкие формы схождения фразеологизмов обнаруживаются в тех языках, где: 1) имеется полный семантический эквивалент русской лексемы *рука* «верхняя конечность человека от кисти до плеча»; 2) для атрибутивных словосочетаний структуры «прилагательное + существительное» характерна препозиция прилагательного.

Такие формы схождения встречаются как в близкородственных (славянских) языках: белорусск. *правая рука*, укр. *права рука*, болг. *дясна ръка*, польск. *prawa ręka*, чешск. *prawá ruka*, так и в языках неродственных, в структурном отношении очень далеких: венг. *a jobb kéze*, монг. *баруун гар*, казах. *оң қол*, узб. *ўнг қўл*.

В ряде языков верхняя конечность человека имеет два обозначения с дифференцированной по сравнению с русской лексемой «рука» семантикой [23]: «кисть» (ср. нем. *die Hand*, англ. *the hand*, франц. *la main*, турецк. *el* и т. д.) и «верхняя конечность от кисти до плеча» (ср.: нем. *der Arm*, англ. *the arm*, франц. *le bras*, турецк. *kol* и т. д.). В составе ФЕ таких языков субстантивный компонент представлен, как правило, одной из указанных выше лексем (без внутриязыкового варьирования): нем. (*j-s*) *rechte Hand* (букв. «правая рука», точнее, «кисть»), франц. *être le bras droit* (букв. «быть правой рукой», точнее, «быть верхней конечностью от кисти до плеча»). При этом наличие в составе ФЕ того или иного субстантивного компонента является обычно типологически общим для группы родственных языков: в германских языках в составе ФЕ имеется компонент с этимологической семантикой «кисть» [англ. (*to be*) *one's right hand*, нем. *j-s rechte Hand* (*sein*), норв. *være ens høyre hand*, дат. *være ens højre hand*, швед. *vara ngns högra hand*], в романских языках преобладают ФЕ с компонентом «верхняя конечность от кисти до плеча» (франц. *être le bras droit de qn*, итал. *braccio destro di qd*, исп. *brazo derecho de qd*, но молд. *а фи мына дряпта*, рум. *a fi mîna dreáptă*, вариант исп. ФЕ *mano derecha de qd*).

Поскольку, однако, русская лексема *рука* обладает недифференцированной по сравнению с лексемами германских, романских и турецкого языков семантикой («кисть» + «верхняя конечность от кисти до плеча»), в сопоставлениях типа русск. *правая рука*, нем. (*j-s*) *rechte Hand* и франц. *être le bras droit de qn* правомерно видеть полное соответствие ФЕ на лексическом уровне (немецкая же и французская ФЕ — пример схождения второго типа).

Хотя для одних языков (например, славянских) нормативными являются атрибутивные словосочетания с препозицией атрибута («прилагательное + существительное»), а для других (например, романских) — сочетания с постпозицией атрибута («существительное + прилагательное»), оба эти вида структур должны рассматриваться как однозначно сопоставимые. В таких случаях в сопоставлениях русск. *правая рука*, индонез. *tangan kanan* (букв. «рука правая»), вьетнам. *tay phai* (букв. «рука правая», причем *tay* — «часть руки от кисти до плеча») можно видеть полное соответствие на грамматическом уровне (схождение первого типа не нарушено).

О схождениях третьего типа следует говорить, сопоставляя русскую ФЕ с ФЕ некоторых романских и германских языков, поскольку в словарную форму ФЕ этих последних обычно включается глагол-связка «быть» и вся конструкция характеризуется, таким образом, как глагольная (в отличие от русск. именной конструкции *правая рука* франц. *être le bras droit de qn* означает букв. «быть рукой правой кого-нибудь»). ФЕ с глаголом-связкой характерны также для молдавского и румынского языков, для некоторых германских языков: швед. *vara ngns högra hand* (букв. «быть правой рукой кого-нибудь»), также для датского и норвежского языков; для ФЕ других языков такая конструкция нетипична [ср., однако, турецк.— *in sağ kolu olmak* (букв. «кого-нибудь правой рукой быть», *kol* — «верхняя конечность от кисти до плеча»)].

Итак, идентичные ФЕ со значением «основной, главный помощник» обнаруживают в формах своей лексико-грамматической реализации и различных языках значительное многообразие и разнообразие, отображающее специфику лексико-семантического и грамматического (морфологического и синтаксического) строя этих языков. Та же картина наблюдается при анализе ряда ФЕ с семантикой «очень худой, крайне истощенный» (в системе русской фразеологии ФЕ *кожа да кости*).

Русский фразеологизм имеет МФЭ во всех указанных выше языках.

Выявляя схождения первого типа, следует, однако, заметить, что чисто этимологически семантика компонента *кожа* («наружный покров тела человека, животного») уже семантики соответствующего компонента в ФЕ многих языков: укр. *шкіра*, болг. *кожа*, чешск. *kůže*, польск. *skóra*, англ. *skin*, швед. *skinn*, венг. *bör*, монг. *арьс*, турецк. *deri* объединяют в своих значениях фактически семантику двух русских лексем: *кожа* и *шкура* («кожа с наружным волосяным покровом на теле животного»). Схождения первого типа охватывают ФЕ славянских языков: русск. *кожа да кости*, белорусск. *кожа і кості*, укр. *шкіра та кості*, болг. *сама кожа и кокали*, польск. *skóra i kości*.

Типологический ряд может быть продолжен схождениями третьего типа, поскольку в составе ФЕ многих (родственных и неродственных) языков компонент, лексически соответствующий русскому *кости*, имеет грамматическую форму ед. ч.: чешск. *kost a kůže*, англ. *nothing but skin and bone* (букв. «ничего, кроме кожи да кости»), швед. *bara skinn och ben* (букв. «только кожа да кость»), венг. *csont és bör* (букв. «кость и кожа»), турецк. *bir deri*, *bir kemik* (букв. «одна кожа, одна кость»). В ряде языков этот компонент имеет форму, не маркирующую категорию числа: нем. *nur Haut und Knochen* [букв. «только кожа и кость (кости)»], вьетнам. *xu'o'ng boc da* [букв. «кость(и), покрытая (покрытые) кожей»]. ФЕ узбекского и казахского языков ближе к квантитативному варианту русского фразеологизма: узб. *қуруқ суяк* (букв. «сухая кость»), казах. *құр сүйек* (букв. «только кость»).

Грамматическая конструкция ФЕ в большинстве языков представляет собой социативную синтагму типа N_1 — союз — N_2, исключение составляет монгольский язык, где конструкция ФЕ является национально-своеобразным аналогом социативной синтагмы — *арьс яс хоер* (*арьс* «шкура, кожа», *яс* — «кость», *хоер* — постпозитивный соединительный член, функционально близкий к сочинительному союзу). ФЕ романских языков являются обычно глагольными фразеологизмами, включающими в качестве структурно организующего компонента глаголы семантики обладания или бытия: франц. *n'avoir que la peau et les os* (букв. «не иметь ничего, кроме кожи и костей»), исп. *tener sólo piel y huesos* (букв. «иметь только кожу и кости»), итал. *essere tutt'ossa* (букв. «быть целиком костями»), рум. *a fi numai pieli şi oase* (букв. «быть только кожа да кости»), молд. *а фи нумай пеле ши оасе* («то же»). При сопоставлении ФЕ русского языка с романскими МФЭ следует отметить совпадение грамматической формы компонента, соответствующего русскому *кости*, во всех языках, однако, специфика грамматической структуры романских ФЕ позволяет говорить только о схождениях третьего типа.

Ассоциативно-образная связь взаимоотношений людей, живущих в постоянной вражде и ссорах, с отношениями таких животных, как кошка и собака, характерна для самых различных языков. Межъязыковые фразеологические эквиваленты русской ФЕ *как кошка с собакой* обычно имеют также структуру сравнительного оборота, причем соответствующие ФЕ в системах разных языков характеризуются семантически тождественным постоянным окружением: обычно глаголы семантики «жить», реже лексемы семантики «договариваться, ладить». На этом фоне весьма своеобразно выглядит образное переосмысление лексем этой семантики («кошка», «собака») в английском языке: *it's raining cats and dogs* «идет проливной дождь» (букв. «идет дождь кошками и собаками»). Перед нами пример межъязыковой фразеологической омонимии (ср.: оригинальный образ семантически идентичной франц. ФЕ не создает омонимии — *il pleut des hallebardes*, букв. «идет дождь из алебард»).

Поскольку основой для сравнения в нашей работе являются ФЕ русского языка, отметим некоторые лексико-грамматические характеристики фразеологизма *как кошка с собакой*: 1) компоненты ФЕ являются традиционными в языке гиперонимами (общевидовыми наименованиями данных животных); 2) оба лексических компонента выступают только в форме ед. ч.; 3) порядок компонентов в ФЕ строго фиксирован (*кошка — собака*). Совпадение иноязычных ФЕ с русской по двум первым признакам явля-

ется предпосылкой для схождения первого типа; при этом следует учесть, что грамматический род иноязычного и русского гиперонимов может не совпадать (русск. *собака* — ж. р., франц. *le chien* — м. р.; русск. *кошка* — ж. р., польск. *kot* — м. р.). Совпадение синтаксической конструкции ФЕ (сравнительный оборот) и грамматической формы числа компонентов при ином порядке их следования (*собака — кошка*) рассматривается также как схождение первого типа. Русский и иноязычный фразеологизмы являются по отношению друг к другу межъязыковыми позиционными вариантами.

Схождения первого типа с совпадением порядка следования компонентов: русск. *как кошка с собакой*, укр. *як кішка з собакой*, чешск. *jako kočka a pes*, молд. *ка мыца ку кунеле* (букв. «как кошка с собакой»), турецк. *kedile köpek gibi* (букв. «с кошкой собака как», *gibi* — послелог сравнения).

Схождения первого типа с межъязыковыми позиционными вариантами русской ФЕ: болг. *като куче и котка* (букв. «как собака и кошка»), польск. *jak pies z kotem* («то же»), исп. *como el perro y el gato* (букв. «как собака и кошка»), франц. *comme chien et chat* (букв. «как собака и кошка»), рум. *ca cîneli cu pisíka* (букв. «как собака с кошкой»), нем. *wie Hund und Katze* (букв. «как собака и кошка»), швед. *som hund och katt* («то же»), норв. *som hund og katt* («то же»); в языках генетически и структурно-грамматически неродственных: венг. *kutya-macska barátsagban élni* (букв. «жить в дружбе собаки и кошки», глагол *élni* «жить» употреблен без переосмысления), индонез. *seperti andjing dengan kutjing* (букв. «как собака с кошкой»), вьетнам. *nhu cho voi meo* (букв. «как собака с кошкой»).

По отношению к русской ФЕ МФЭ итальянского языка характеризуется схождением третьего типа, поскольку названия животных употреблены в составе этого фразеологизма в формах мн. ч.: итал. *come cani e gatti* (букв. «как собаки и кошки») [24].

Рассматриваемый образ свойствен и английской фразеологии, однако в состав соответствующих устойчивых сочетаний входят непереосмысленные глагольные компоненты: *to live a cat-and-dog life* (букв. «жить жизнью кошки и собаки»), *to lead a cat-and-dog life* (букв. «вести жизнь кошки и собаки») [25].

От ФЕ указанных выше языков монгольский семантический эквивалент отличается необычной образностью, в большей мере акцентирующей идею вражды сильного к слабому, чем идею постоянных взаимных ссор и раздоров: *хонь чоно хоёр шиг* (букв. «овца и волк как будто»: *чоно* — «волк», *хонь* — «овца», *хоер* — соединительный послелог, *шиг* — сравнительный послелог).

Сопоставительный структурно-типологический анализ обнаруживает отсутствие полного образно-семантического эквивалента в монгольском языке. Тем не менее нам представляется возможным рассматривать и монгольский фразеологизм как типологически идентичный в сопоставлении с фразеологизмами других языков.

Понятия типологически идентичные фразеологизмы и межъязыковые фразеологические эквиваленты не тождественны, второе из них является только видовым по отношению к первому.

В более широком понимании типологически идентичные фразеологизмы — это ФЕ, семантическая структура которых объединена общей фразообразовательной моделью. Понятие фразообразовательной модели активно разрабатывается в современной фразеологической теории [2, с. 61—77; 11, с. 40—71; 26—29] и является актуальным как для диахронического, так и для синхронного аспектов исследования фразеологии. Семантическому моделированию прежде всего легко поддаются ФЕ с открытой внутренней формой, ярко выраженной образностью [30]. Поскольку с образностью ФЕ связаны их экспрессивно-стилистические, эмоциональные и оценочные возможности, т. е. в конечном итоге факторы, определяющие само существование фразеологизмов в современных языках, постольку теория фразообразовательных моделей становится все более необходимой именно для синхронного описания фразеологических систем этих языков.

Семантическая структура образно мотивированной ФЕ раскрывается из соотношения двух ее смысловых планов; актуального значения фразеологизма и первоначального смысла семантически уже трансформированного словесного комплекса (далее — СК), основанного на взаимодействии лексических значений компонентов этого СК [31]. В смысловой двуплановости фразеологизма находит выражение сам «механизм» формирования целостного переносного значения этой языковой единицы, имеющей не только образную, но и логико-семиотическую мотивированность (выявляется логическая связь между двумя смысловыми планами, аргументирующая семиотическую переориентацию СК: «правая рука» — «первый, основной помощник», поскольку в трудовом процессе наиболее важную роль играет именно правая рука).

Устойчивая однотипность соотношения актуальной и этимологической семантики ФЕ разных языков свидетельствует о типологической общности их семантической структуры, о наличии общей для этих ФЕ фразообразовательной модели. При этом типологически идентичными являются не только ФЕ, характеризуемые совпадением конкретно-образной и логико-семиотической форм реализации модели (это и есть МФЭ), но и ФЕ, характеризуемые только совпадением логико-семиотической формы реализации модели и обладающие национальным или ареальным своеобразием фразеологического образа.

Монгольская ФЕ *хонь чоно хоёр шиг* объединяется с ФЕ других языков (русск. *как кошка с собакой*, нем. *wie Hund und Katze* и др.) типологически общей фразообразовательной моделью «как животные, которые никогда не могут существовать в мире друг с другом» → «в постоянной взаимной вражде, ссорах, распрях», но имеет национально-своеобразную форму образной реализации этой модели («как волк с овцой»).

При выявлении типологически идентичных ФЕ нужно, таким образом, учитывать две основные формы их проявления: 1) общность фразообразовательной модели при совпадении логико-семиотической и конкретно-образной форм ее реализации в разных языках; 2) общность фразообразовательной модели при совпадении только логико-семиотической формы ее реализации (фразеологический образ имеет национальное или ареальное своеобразие). При конструировании ряда типологически идентичных ФЕ (типологического ряда) в его состав могут войти ФЕ обоих указанных выше типов.

Широкое распространение во фразеологических системах различных языков имеет фразообразовательная модель, на основе которой находит своеобразное выражение идея полного сходства, абсолютного подобия двух человек. Рассмотрим некоторые примеры с учетом типологической близости фразеологических образов: 1) «как две капли воды» — русск. *как две капли воды*, укр. *як дві краплі* (*каплі*) *води*, польск. *jak dwie krople wody*, болг. *като две капли воды*, франц. *comme deux gouttes d'eau*, итал. *come due góccie d'acqua*, исп. *como dos gotas de agua*, рум. *ca dóuă picături de apa*, молд. *ка доуэ пикэтурь де апэ*, норв. *som to dråper wann*, датск. *som to dråber vand*; 2) «как одно яйцо на другое (похожи)»; нем. *wie ein Ei dem anderen*, чешск. *jako vejce vejci*, венг. mint egyik tojás a másikra, букв. перевод индонез. ФЕ «как два яйца от одной курицы» [8, с. 50]; 3) «как две горошины»: англ. *as two peas*; 4) «как две ягоды»: швед. *som två bär*; 5) «как две половинки одного плода»: индонез. *seperti pinang dibelah dua* (букв. «как две половинки разрезанного плода пальмы») [8, с. 50].

Как показывает материал, значительное сходство внутренней формы ФЕ может характеризовать как родственные (1), так и совершенно неродственные, но тесно контактирующие языки (2), а иногда и неконтактирующие (индонезийский по отношению к чешскому, немецкому, венгерскому). Общность фразообразовательной модели не исключает национального своеобразия внутренней формы (3, 4, 5).

Между типологически идентичными ФЕ двух разновидностей: (1) общность модели при совпадении образной и логико-семиотической форм ее реализации; 2) общность модели при совпадении только логико-семио-

тических форм ее реализации) — имеются, безусловно, и переходные явления, характеризуемые различной степенью сходства фразеологического образа. Так, модель «носить (набирать) воду с помощью вместилища, имеющего отверстия» → «заниматься совершенно бесполезным делом, напрасно тратить время» представлена в различных языках столь близкими по образности фразеологизмами, что здесь можно было бы говорить о совпадении на уровне МФЭ, если бы у некоторых народов представление о таком вместилище не было связано с чисто национальными реалиями.

Для большинства европейских и некоторых азиатских народов такое вместилище — решето (русск. ФЕ *носить воду решетом* имеет МФЭ в других славянских, германских, румынском и молдавском, венгерском, турецком, узбекском языках), но в некоторых даже европейских языках имеются своеобразные отклонения: итал. *portar l'acqua nel paniere* (букв. «носить воду в корзине»), исп. *coger* (*llevar*) *agua en una canasta* (букв. «брать, носить воду в корзине из тростника»); одна из китайских недоговорок «носить воду в бамбуковой корзине» → «напрасно» построена также на очень сходном и вместе с тем национально своеобразном образе [32, с. 114].

Оценивая на основании приведенных выше данных случаи образно-семантического совпадения ФЕ самых различных языков как факт вполне реальный и как одно из проявлений типологической идентичности фразеологизмов, следует еще раз подчеркнуть, что никакой строгой предопределенности в постоянстве таких совпадений не существует, о чем достаточно красноречиво свидетельствуют р а з л и ч н ы е конкретно-образные формы реализации о д н о й фразообразовательной модели (другая форма проявления типологической идентичности ФЕ), факты семантической эквивалентности ФЕ разных языков, не объединенных общей фразообразовательной моделью [ср. русск. *седьмая вода на киселе*, но венг. *Ádámról — Evárol rokon* (букв. «родственник по Адаму и Еве» — «очень дальнее и сомнительное родство», «дальний родственник»], факты образной неповторимости, уникальности отдельных ФЕ разных языков [русск. *отставной козы барабанщик* «человек, не заслуживающий никакого внимания, такой, с которым не считаются», франц. *un pot sans anses* (букв. «горшок без ручек» «человек с тяжелым характером, к которому трудно найти подход»), факты межъязыковой фразеологической омонимии.

Исследование поставленных проблем позволяет сделать выводы.

1) Гипотеза о существовании идентичных ФЕ во фразеологических системах различных по своим генетическим и культурно-историческим связям языков может считаться доказанной. Типологическая идентичность ФЕ опирается на общность фразообразовательной модели, которая проявляется в различных языках в совпадении только логико-семиотических или логико-семиотических и конкретно-образных форм реализации. При совпадении первого типа (общность логико-семиотической модели) фразеологические образы сохраняют свое национальное или ареальное своеобразие.

2) Типологическая идентичность ФЕ различных языков — прежде всего следствие общности логических и образно-ассоциативных процессов мышления разных народов, а также результат культурно-исторических контактов между ними. Особенности же лексико-семантической и грамматической системы каждого конкретного языка находят свое отражение в различных формах и типах схождения идентичных ФЕ (в том числе и МФЭ, имеющих также свою типологию).

3) При совпадении образности в особенностях лексической и структурно-грамматической организации ФЕ близкородственных языков обнаруживается больше схождений, чем в лексической и структурно-грамматической организации ФЕ неродственных языков, однако сам факт совпадения образности может объединять не только неродственные контактирующие, но и неродственные неконтактирующие языки.

4) Семантическая и образная тождественность ФЕ различных, в том числе и разноструктурных, языков не нарушается за счет некоторой национальной специфики лексической и структурно-грамматической организации этих ФЕ: компоненты совпадающих по семантике и образ-

ности ФЕ могут быть выражены лексемами различной степени семантической дифференциации. В отношения образно-семантической эквивалентности могут вступать ФЕ именного и глагольного типов, если в качестве структурно образующих компонентов ФЕ глагольного типа выступают десемантизированные связочные глаголы (например, франц. *être*, шведск. *vara* и т. д.) или глаголы семантики обладания («иметь»).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ройзензон Л. И., Авалиани Ю. Ю.* Современные аспекты изучения фразеологии.— В кн.: Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967.
2. *Райхштейн А. Д.* Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.
3. *Stepanova M. D., Černyševa I. I.* Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 1975, S. 211.
4. *Аракин В. Д.* Сравнительная типология английского и русского языков. Л., 1979, с. 33.
5. *Чернышева И. И.* Актуальные проблемы фразеологии.— ВЯ, 1977, № 5.
6. *Шанский Н. М.* Лексикология современного русского языка. М., 1972, с. 201.
7. *Чыонг Донг Сан.* Фразеологические обороты в русском языке и способы их передачи на вьетнамский язык: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972.
8. *Агус Салим.* Сопоставительный анализ русской и индонезийской фразеологии: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1974.
9. *Makkai A.* Idiomaticity as a language universal.— In: Universals of human language. V. 3: Word structure. Stanford, 1978.
10. *Кондрашов Н. А.* Проблемы сравнительного изучения славянской фразеологии.— Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской, 1966, вып. XI, т. 160, с. 354—362.
11. *Мокиенко В. М.* Славянская фразеология. М., 1980.
12. *Свешникова Г. С.* Типологический анализ фразеологических единиц с компонентами-прилагательными, обозначающими цвет (на материале немецкого, английского и шведского языков): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1969.
13. *Пюрбеев Г. Ц.* Глагольная фразеология монгольских языков. М., 1972.
14. *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1977, с. 262—265.
15. *Канделаки К. Л.* Английские метафорические идиомы и их грузинские эквиваленты: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Тбилиси, 1956.
16. *Парзинкулов А.* Французская фразеология и вопросы французско-узбекского художественного перевода: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент—Ленинград, 1965.
17. *Умарходжаев М.* К вопросу об учебной фразеографии.— Fremdsprachen, 1979, № 2, S. 97.
18. *Доржийн Д.* Сопоставительное исследование фразеологии в русском и монгольском языках (на материале переводов М. Горького на монгольский язык): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Улан-Батор — Москва, 1973.
19. *Долгополов Ю. А.* Сопоставительный анализ соматической фразеологии (на материале русского, английского и немецкого языков): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Казань, 1973, с. 77.
20. *Mrosowski B., Coulon Ph.* Quelques aspects de la phraséologie comparée.— Fremdsprachen, 1978, № 2, p. 126.
21. *Акуленко В. В.* Лексические интернационализмы и методы их изучения.— ВЯ, 1976, № 6, с. 61.
22. *Попович Р. И.* Соотношение фразеологии французского, молдавского и русского языков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Кишинев, 1967.
23. *Бархударов Л. С.* К вопросу о типах межъязыковых лексических соответствий (на материале английского и русского языков).— Ин. яз. в шк., 1980, № 5, с. 12—14.
24. *Battaglia S.* Grande dizionario della lingua italiana. V. II. — Torino, 1962, p. 625.
25. *Borkowski P.* The great Russian-English dictionary of idioms and set expressions. London, 1973, p. 145.
26. *Мокиенко В. М.* Историческая фразеология: этнография или лингвистика? — ВЯ, 1973, № 2.
27. *Мокиенко В. М.* Противоречия фразеологии и ее динамика: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1976.
28. *Гаврин С. Г.* Проблемы функционирования и развития фразеологического фонда русского языка в связи с общими вопросами теории фразеологии (на материале фразеологии 2-ой половины XIX и XX вв.): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1973.
29. *Солодуб Ю. П.* Изосемантические модели фразеологии качественной оценки лица.— ФН, 1979, № 4.
30. *Mokijenko V.* Aktualizace ve frazeologii.— Československá rusistika, 1977, roč. XXII, № 5, s. 201—205.
31. *Жуков В. П.* Семантика фразеологических оборотов. М., 1978, с. 18.
32. *Прядохин М. Г.* Китайские недоговорки-иносказания. М., 1977, с. 6—15.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

ТАТУБАЕВ С. С.

ПЕВЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА

Певческая речь (ПР), пение текста — это социально значимая, прагматически активная и аффективная форма реализации языка.

Одна из главных особенностей ПР, отличающая ее от разговорной речи (РР), заключается в форме проявления. ПР отличается меньшими степенями свободы. Это в первую очередь ограничения, накладываемые стихотворной формой конкретного языка, и, во-вторых, связанность музыкальной формой. В зависимости от идеи, «сверхзадачи», вокальный текст характеризуется равномерным, мысленно-словесным наполнением, тщательностью стилистической отделки произведения. В ПР мы имеем дело с устным воспроизведением письменного языка. Современная ПР, представленная первично в ее письменной форме, рассчитана в конечном счете на слуховое восприятие.

Так как ПР есть также речь, звучащая со сцены, то для нее в определенной мере справедливы отмеченные Р. А. Будаговым особенности сценической речи: «...сценическая речь и оказывается как бы компромиссом между тем, что написано, и тем, что сказано или что должно быть сказано. Этим же объясняется свойство сценической речи никогда не смешиваться ни с собственно-разговорной, ни с собственно-письменной речью» [1]. Письменная певческая речь — это единство речи в письменной форме (обычно поэтической, стихотворной, т. е. мерной) и мелодической структуры. Каждому слогу письменной певческой речи соответствует одна нота или последовательность нескольких нот. ПР — как бы спонтанная, как бы неподготовленная, необдуманная, непринужденная. В самом деле, певцом текст и мелодия выучены, отделаны вплоть до мельчайших вокальных эффектов. Другим из признаков, характерных для ПР, является значительный вес эмоционально-экспрессивных элементов. Эмоционально-оценочные элементы являются существенным компонентом ПР.

В пении эмоционально-экспрессивная лексика, образные выражения соответственно оформляются мелодически (интонационно). Что собой представляет певческая интонация и каковы формы существования певческой речи? «Речевая и чисто музыкальная интонация — ветви одного звукового потока» — писал Б. В. Асафьев [2], тем самым указывая, что пение никогда не может идти вразрез с речевой интонацией. Стихотворная речь является мерной. Мерность же ПР выражена в еще большей степени. Мерность, организованность и характер ПР определяются метро-ритмом и темпом.

Одним из выразительных средств ПР, отличающих ее от РР, является ладовая организация, которая придает ПР специфический характер. Лад, как и интонация, является эмоционально-выразительным средством музыки. В музыке национальный колорит, наряду с мелодико-интонационным строем, метро-ритмической организацией, с языком, связан с ладом. Этническая принадлежность ПР характеризуется определенными мелодическими оборотами (попевками), которыми этнические группы отличаются друг от друга.

Как же происходит трансформация речевого интонационного континуума в направлении его слияния с музыкальным континуумом? Интонация (мелодия) речи обусловлена просодическими нормами речи того или иного

языка. Под просодическими явлениями речи понимаются тональные, динамические и временные характеристики речи, функционирующие на уровне слога, ритмического такта, синтагмы и фразы. В вокальной музыке происходит подчинение акцентной организации слова напеву, речевой интонации музыкальной. Мелодия же связана с просодическими характеристиками слова, фразы и «считается» со степенями свободы просодических характеристик слова и фразы. В стихосложении существует единица стиха — период. Это ритмическая единица, состоящая из двух или более стихотворных строк и составляющая часть строфы. Причем период — это интонационно завершенная ритмическая группа. В музыке период — это музыкальное построение, выражающее законченную мысль. Период делится на две части, которые называются предложениями. Предложение состоит из двух фраз. В певческом тексте единицы стиха и единицы мелодии — период, предложение, фраза — совпадают. Просодическая организация и характеристики стихотворной фразы и интонационная и ритмическая организация музыкальной фразы не противоречат друг другу. Фразовое ударение, совпадающее со словесным, обязательно совпадает с выделяемой нотой (звуком) музыкальной фразы. Выделяемая нота (звук) музыкальной фразы может не совпасть со словесным ударением только тогда, когда от этого не страдает коммуникативная функция языка, и объясняется проявлением других функций языка (как правило, эмотивной функции). Определенные мелодические обороты (попевки), характеризующие музыку этнической группы, обязательно связаны с просодическими характеристиками слов и фраз. Поэтому понятна мысль Е. Образцовой, одной из выдающихся оперных певиц нашего времени: «Я всегда пою на языке оригинала, так как есть м у з ы к а я з ы к а (разрядка моя.— *Т. С.*) и никакой, даже самый лучший перевод не может совпасть музыкально с оригиналом» [3]. Мелодические обороты (попевки) связаны с «музыкой языка» и не могут идти с ней вразрез. В. Ф. Кухарский пишет об интонационно-смысловом единстве между текстом и мелодией, об их ритмической соподчиненности в китайской музыке: «В мелодии, в музыкальной декламации мы никогда не услышим хотя бы малейшего отступления от фонетических законов живой разговорной речи; восходящая слоговая интонация всегда будет претворена в восходящей мелодии и т. д., а никак не наоборот. В противном случае пение или вокальная декламация актера будут попросту не приняты слушателем и вызовут разве что раздражение аудитории» [4].

Для адекватного анализа лингвистических и паралингвистических явлений в пении необходимо рассмотреть формы существования музыки и как составной ее части вокальной музыки. О формах существования музыки ведутся дискуссии и высказываются разные мнения [5].

Понятно, что нет музыки вне звучания. Звучащая музыка — одна из форм бытия музыки. Звуковая материя так же естественна и органична для музыки, как и звуковая субстанция для языка. Что же представляет собой нотная запись? Нотная запись, в отличие от звучащей музыки, есть преобразованная форма бытия музыки. Разумеется, это не естественная форма существования музыки, а подсобный инструмент, способ «задержать», «схватить» музыку. Музыкальное произведение в нотной записи (знаках) есть свернутое содержание, т. е. представляет собой кодирование мыслей и чувств в нотных знаках. Нотная запись есть форма фиксации информации и выполняет функцию аккумуляции информации [1]. При нотной фиксации музыкальное произведение опредмечивается, как и при звучании, во времени и пространстве (в последнем случае значение одной из осей координат равно нулю, следовательно, можно говорить о реали-

---

[1] В связи с проблемой фиксации нотами следует вспомнить, что пока нет еще такого единого, отработанного, выдержавшего испытание временем и практикой способа записи танцев, жестов, поз, мимики, как нотная запись. По истории записи танцев, жестов, поз, мимики в нашей отечественной литературе необходимо отметить монографию С. С. Лисициан [6], где она, наряду с историей видеографической записи, предлагает новый метод записи движений.

зации в плоскости). Звучащее музыкальное произведение объективно и реально в основной своей форме функционирует в пространстве и во времени. То же музыкальное произведение в виде нотной записи как одна из форм предметного бытия музыки и способа существования музыкального произведения отражает объективно-реальные время и пространство. Относительно воспроизведения музыкального произведения в видеографической нотной записи следует признать, что «наш „опыт" и наше познание все более приспособляются к *объективному* пространству и времени, все правильнее и глубже их *отражая*» [7, с. 195].

Если говорить о музыкальном произведении, которое получило отражение в сознании и которое в любое время можно воспроизвести «про себя», «во внутреннем слухе», то такое музыкальное произведение также представляет собой одну из форм существования музыки: оно, как и звучащая музыка, может вызвать чувства — интрасубъективно, иначе внутри субъекта. И когда я вспоминаю и «проигрываю музыку про себя», то это происходит во внутреннем чувстве в тех же измерениях, в которых музыка объективно существует, и дает «объективно-правильное представление» о музыке. Все это связано с историей развития человека как вида, его мозга и отражательных способностей мозга, в связи с приспособлением к окружающей среде. «Если ощущения времени и пространства могут дать человеку биологически целесообразную ориентировку, то исключительно под тем условием, чтобы эти ощущения отражали *объективную реальность* вне человека: человек не мог бы биологически приспособиться к среде, если бы его ощущения не давали ему *объективно-правильного* представления о ней» [7, с. 185]. Музыка как специфической художественный способ отражения объективной действительности объективно правильно отражает время и пространство. Во всех формах существования музыкального произведения существует упорядоченность нот (звуков) во времени.

Рассматривать нотную запись как «нехудожественный», а звучащую музыку как «художественный» предмет — это некорректное различение данных понятий. В нотах есть музыкальное и немузыкальное. Музыкальные произведения, как уже говорилось выше, есть художественное отображение объективной действительности, а художественность есть то, что объединяет музыкальные произведения разных композиторов. Так как нотная запись есть способ фиксации музыкального произведения, то, естественно, в ней фиксируется основная имеющаяся в произведении художественная информация, которую можно фиксировать с помощью нотной записи. Понятно, что коннотативность, формально сопутствующая музыкальному произведению, нельзя изобразить посредством нот. Однако это не значит, что нотная запись должна быть противопоставлена звучащей музыке как нехудожественная форма. Графическое изображение произведения нотами у музыканта-профессионала воплощается в художественное. Такое противоречие раскрывает сущность музыки как семиотической системы.

Из четырех функций языка, а именно коммуникативной, эмотивной, волюнтативной и контактоустанавливающей [8, с. 507], только эмотивная и коммуникативная функции характеризуют пение. На первом месте стоит эмотивная функция. Не случайно Б. Покровский называет оперную партитуру зашифрованным чувством [9], тем самым выделяя главную функцию в опере, в пении. Эмотивная функция в первую очередь, наряду с содержанием в целом, отражается в мелодии, причем зависимость от коммуникативной функции, т. е. передачи некоторого «интеллектуального» или «логического», содержания, может быть минимальной, ибо мелодия может существовать как «песня без слов» — вокализ и использоваться в других жанрах музыки. Словесный текст переводится на другой язык, а мелодия остается неизменной, ибо она понятна носителям другого языка, т. к. чувства и эмоции общепонятны. Остальные две функции языка играют незначительную роль в характеристике ПР и певческого текста, хотя на музыку в принципе перекладывается любой словесный текст, который может обладать мелодией, соответствующей смыслу текста. Как уже говорилось, естественная форма существования музыки — это зву-

чание, в нем передаются все характеристики ПР. ПР противопоставляется певческому тексту. В певческом тексте, кроме словесного текста, мелодии, отражается диапазон, темп.

В пении смысловую информацию несет не только вербальная сторона вокальной речи, но и интонация (мелодия) произведения и тембр голоса исполнителя. Последние выражаются в пении явно и различны у различных певцов. А. Моль считает, что семантические аспекты языка и музыки близки друг другу и приблизительно равноинформативны [10]. Потому нам понятны чувства, передаваемые в вокальной речи на неизвестном иностранном языке, при условии верного кодирования чувств композитором. Вычисления А. Моля относятся к письменной речи и зафиксированным нотами мелодиям. Однако мы еще не умеем измерять информацию тембральной выразительности голоса. Таким образом, возникает проблема тождества и различия, с одной стороны, между ПР, представленной в виде нотных знаков, и живым исполнением, с другой стороны, между певческой речью разных исполнителей одних и тех же вокальных партий в одной и той же тональности и на одном и том же языке.

Хотя фоника не для всех стилей имеет одинаковое значение (эстетическая роль звуков и других фонетических средств языка), независимо от функционального стиля одним из главных компонентов ПР становится эстетическая информация, заключенная в стихе, мелодии и голосе исполнителя. При пении коммуникативная и эстетическая функции языка, мелодии слитны и выступают воедино. В пении эстетическая функция — это не только свойство языка художественного произведения и мелодии, но и впечатление от тембра голоса певца. В опере используется природная типизация голосов. Поэтому голоса различаются друг от друга, а затем в разных амплуа используются в опере. В отличие от драмы, где сегодня границы амплуа расширены и практически актер драмы «всеяден» и может исполнять любые доступные ему роли (следовательно, эстетическая информация становится ниже), в опере различают несколько видов голосов: мужские — бас, баритон, тенор, женские — контральто, меццо-сопрано, сопрано. Иначе говоря, в опере используется природная стилизация голоса. Обычно низкие голоса имеют характер темного, низкого, мощного звучания. Л. Б. Дмитриев [11] связывает деление голосов на лирический и драматический со способностью первого передавать всю лирическую гамму чувств, а второго — со способностью выражать самые сильные драматические ситуации, с большим динамическим размахом этого «крупного» голоса. Определение, какому голосу дать ту или иную роль, в какой окраске, в каком «цвете» должна звучать вокальная партия, связано с психологией образа. Когда говорят, что такая-то оперная партия отвечает творческим возможностям певца, то имеется в виду не только то, что певец может спеть эту партию чисто технически, что внешние данные актера (певца) близки к внешнему облику героя (с помощью соответствующего костюма, прически и грима), но и по тембру голоса подходит для этой партии. Тип голоса, а следовательно, постоянный «цвет» голоса обычно коррелирует с возрастом оперного персонажа. Тут определенная логика, связанная с ролью, с психологией образа, с чувствами персонажа, с поведением и поступками его и возрастом. Ведь не зря в оперных театрах партию юной Розины в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник» исполняет колоратурное сопрано, хотя известно, что первоначально Россини написал эту партию для меццо-сопрано. Однако как бы хорошо с точки зрения техники ни была бы исполнена партия меццо-сопрано, все же меццо-сопрано по тембру и динамическим возможностям ближе к передаче сильных чувств в драматических ситуациях, где может требоваться сила голоса и густота тембра. Поведению, поступкам и возрасту Розины больше подходит подвижный, легкий, прозрачный голос колоратурного сопрано. Таким образом, экспрессивные и апеллятивные, иначе паралингвистические, возможности колоратурного сопрано больше подходят, чем меццо-сопрано. С точки зрения языка рассмотренное явление нерелевантно.

Тип, постоянный «цвет» голоса — тембр, манера пения, «атака звука» (мягкая, твердая), «полетность» голоса и ряд аналогичных явлений будут

относиться к паралингвистическим явлениям. Из них тон является базисной единицей в музыке, а тембр и тип голоса базисной единицей в вокальной науке. Остальные перечисленные явления не будут базисными явлениями. Действительно, при поступлении в специальное учебное заведение или в театр определяют качество голоса субъективно, оценивая голос как красивый, богатый обертонами, бархатный, сильный, мягкий и т. п. Но не существует единицы, по которой объективно (в частности, на основе измерений с помощью инструментов) можно было бы сказать: красота голоса одного певца равна стольким-то единицам, а другого стольким. В ПР существуют паралингвистические признаки, выделяемые относительно легко на слух, но довольно сложно при помощи аппаратуры. Эти признаки (пол, возраст, самочувствие, эмоциональное содержание, выраженное не мелодически, а тембрально) являются лингвистически нерелевантными. В пении огубленность у некоторых певцов сохраняется в большей степени, что объясняется удобством для певца с точки зрения технологии голосообразования. Это особенно проявляется у низких голосов при пении грустных и печальных по настроению вокальных произведений. Как известно, при огублении гласного речевой тракт удлиняется и формантные частоты понижаются, создается характерный «темный» тембр. Этот же эффект получается опусканием гортани и корня языка. Такой эффект в фонетической науке известен как компенсаторный. Типичное светлое звучание сопрано и тенора требует более высокого звучания всех формант, что достигается некоторыми певцами раскрытием рта в ширину с улыбкой.

Вокальная речь отличается от разговорной. Эти различия состоят в следующем. Субстанция фонемы поющего, кроме пучка дифференциальных признаков, включает звуковысотную характеристику, тогда как в РР субстанция фонемы говорящего не имеет четкой звуковысотной характеристики, зависящей от тональности. Тонкость и развитость фонемного (тембрового) слуха, вероятно, связаны и с количеством гласных в языке. Очевидно, что чем больше число гласных, тем тоньше развит тембровый слух. Одно из различий между ПР и РР касается дыхания. В речи дыхание поверхностное, участвуют главным образом верхние части легких, возобновляется оно чаще и легче, совпадая с границами ритмического такта, синтагмы, фразы. Подсвязочное давление в процессе речи небольшое, в пении же действия мускулов-выдыхателей регулируются продолжительностью поддержки необходимого подсвязочного давления. Длительность гласных в пении более продолжительна, она строго определяется характером музыкального произведения, его темпом, структурой мелодии. Высота звука при пении строго фиксирована. Она определяется мелодией вокального произведения и его тональностью, тогда как в РР высота (субъективно) или основной тон произвольны, обусловлены просодическими нормами речи того или иного языка. В РР основной тон изменяется в пределах одной октавы, в пении изменение основного тона, особенно в операх, происходит в пределах двух октав. Нормальный диапазон частоты мужского голоса в речи приблизительно 100-250 кол./сек., женского голоса 250—500 кол./сек. В РР используется грудное звучание, голосовые связки работают всей своей массой, тогда как в пении используется не только грудное, головное звучание, но и так называемый микстовый, или смешанный, искусственный регистр. При этом, если в грудном регистре голосовые связки работают полностью, всей своей массой, то в верхнем регистре, где звук микстуется, работают края голосовых связок, а гортань, как правило, у всех голосов, за исключением колоратурных сопрано, опускается [11, с. 475—483]. В пении, как показывают исследования французского ученого Р. Юссона, колебания голосовых связок происходят в результате коркового приказа и слухового экстероцептивного регулирования, а во время речи обычный контроль не является корковым [12]. Интересны его наблюдения над голосами при пении и речи. Характерные элементы разговорного и певческого голоса очень часто бывают совершенно противоположными: у тенора звук разговорного голоса бывает низким, у баса — обычно высоким, при мощном певческом голосе — слабый разговорный голос и наоборот.

Анализ спектров певческих гласных показывает, что певческий гласный характеризуется следующим образом: 1) основной для данного гласного тембр имеет составляющие частот ниже 2500 гц; 2) у другого тембра составляющие выше 2500 гц (по традиции мы называем его «певческой формантной областью»); 3) певческая формантная область связана с такими важнейшими качествами голоса, как блеск и полетность; 4) певческая формантная область у разных певцов имеет разную ширину и разные амплитудные характеристики; 5) присутствие певческой форманты в исследованных нами спектрах звуков, спетых оперными певцами-казахами, показывает, что певческая форманта характерна для пения и на казахском языке и, вероятно, зависит главным образом от технологии голосообразования [13]; 6) присутствие певческой форманты не зависит от типа голоса. О певческой форманте, характерной для певцов разных школ и различных национальностей, писали такие ученые, как С. Н. Ржевкин [14], В. А. Бартоломью [15], Л. Б. Дмитриев [11], В. П. Морозов [16], Р. Юссон [12] и другие. Область певческой форманты связана с наиболее чувствительной зоной слуха. Л. Б. Дмитриев пишет, что у мастеров вокального искусства в области высокой певческой форманты сосредоточено до 30—35% всей звуковой энергии голоса; у неопытных певцов, а также в речи, даже когда она «поставлена», т. е. у дикторов и актеров, высокая форманта достигает только 5-7%. Каждая гласная обладает своей собственной генетической мощностью и долготой. Но как только речь становится поэтическим текстом песни, то длительность гласного слога, будь он широкий или узкий, становится подвижной и зависимой от ритмического строя песни и звучит вместе с окружающими согласными столько, сколько этого требует длительность ноты, на которую приходится этот слог.

В результате измерения дикции певцов-казахов выяснилось, что она зависит от высоты нот, пропеваемых певцом: чем выше нота, тем хуже дикция. Разборчивость вокальной речи ухудшается на переходных нотах диапазона голоса. В диапазоне каждого певца имеется определенный участок наилучшей дикции, соответствующий центру голоса. Существует также корреляция между темпом исполняемого произведения и произношением. Медленные темпы создают благоприятные условия для сверхтщательного, а если необходимо, то и для гипертрофированного произнесения отдельных звуков и слогов со строгим соблюдением норм литературного произношения.

Авторское содержание текстовой музыки будет приблизительно однозначно воспринято как исполнителем, так и слушателем. Поэтому авторское, исполнительское и слушательское «содержания» будут в большей степени тождественны, чем в музыке непрограммной, «чистой». Однако тождество этих «содержаний» не будет абсолютным даже в вокальной музыке. Гераклит говорил: «В одну и ту же воду нельзя войти дважды», подобно этому и каждое исполнение будет тождественно авторскому и в то же время будет другим.

Если подвергнуть таксономическому описанию и сопоставлению одну и ту же вокальную партию в исполнении разных певцов на одном и том же языке, то оно показывает, что реализуемые в певческой речи, в исполнительском содержании: 1) дифференциальные признаки одни и те же, 2) фонемы — сегментные единицы — также одинаковы, 3) одинаковыми будут и супрасегментные характеристики. Таким образом, все лингвистически значимые единицы будут одними и теми же, т. е. постоянными элементами, сферой устойчивого в вокально-словесном знаке. В чем же различие? Различия будут заключаться в плоскостях экспрессии и апелляции [2]. Причем эти признаки в указанных областях представляют собой эстетические ценности. Рассматриваемые ценности (знаки), обнаруживаемые в речи, а не в языке, являются переменными элементами, относятся к сфере изменчивого в вокально-словесном знаке. Вокальный образ, идеал оперной партии лежит исключительно в области экспрессии и апелляции

[2] Ср.: «Все, что служит в речи для характеристики говорящего, выполняет экспрессивную функцию» [17, с. 24]; «Апеллятивные средства служат для того, чтобы вызвать, „возбудить“ в собеседнике известные чувства» [17, с. 30].

вокальной речи певца. Образ в опере как знак — явление сложное и состоит не только из вокального, но и из сценического образа, тем более если речь идет о герое литературном и нам знакомы многие его характеристики (возраст, характер, поведение, внешность и т. п.). Идеальный образ получается тогда, когда авторское, исполнительское, слушательско-зрительское «содержание» совпадают. Для примера возьмем становление образа Ленского, как вокального, так и сценического, в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». П. И. Чайковского особенно волновал вопрос соответствия внешности персонажей их голосу.

В пении знак является материально-идеальным и выступает как носитель идеи, связанной с образом персонажа; эта идея у исполнителя отражается в спектре звуков, накладываясь на сегментные и супрасегментные единицы. Образ Ленского читателям известен по школьной литературе, как и певцу-исполнителю, его прекрасно знал и П. И. Чайковский. Такую идею, как юношеский возраст Ленского, в вокальном образе несут не только слова поэта и мелодия композитора, но и постоянный «цвет» голоса певца, его тембр. Учитель в школе или режиссер перед спектаклем могут лишний раз напомнить, что Ленскому восемнадцать лет, но мы не поверим, если со сцены не зазвучит лирический тенор и только лирический тенор. Юноша в жизни может обладать басом, баритоном, тенором, но согласно своему возрасту, поведению, поступкам, т. е. по логике образа, Ленский должен был быть и есть лирический тенор, тенор теплого, нежного серебристого тембра. Такому типу голоса и написал П. И. Чайковский эту партию. Ушло в прошлое время, когда Ленского пели певцы, не только не соответствующие по внешним данным этому образу (Мазини), но не владеющие в достаточной степени русским языком или обладающие драматическим тенором (Н. Фигнер, Д. Усатов), способным выражать самые сильные чувства, но менее пригодным для передачи лирической гаммы чувств (тенор более грудного насыщенного звучания, особенно на верхнем отрезке диапазона). Все они пели партию Ленского, но не создали образа Ленского, хотя прекрасно исполняли другие оперные партии. Впервые в истории оперного искусства вокальный и сценический образ Ленского, отвечающий высоким требованиям литературного источника и замыслу композитора, был создан Л. В. Собиновым [18, 19] и продолжается славной плеядой советских певцов. Такие явления, как тембр голоса, тип голоса, представляют собой паралингвистические феномены в языке, а с позиции профессионального оперного пения они — самостоятельные явления, играющие большую роль в создании образа. Тип голоса в опере и профессиональном пении является самостоятельной базисной единицей [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Будагов Р. А.* Человек и его язык М., 1976, с. 219.
2. *Асафьев Б. В.* Речевая интонация. М.— Л., 1965, с. 7.
3. *Образцова Е.* Жить значит петь.— Советская культура, 1980, 22 июля, с. 3.
4. *Кухарский В. Ф.* Китайская традиционная музыкальная драма.— В кн.: О музыке и музыкантах наших дней. М., 1979, с. 433.
5. *Корыхалова Н. П.* Интерпретация музыки. Л., 1979.
6. *Лисициан С. С.* Запись движения (кинетография). М., 1940.
7. *Ленин В. И.* Материализм и эмпириокритицизм.— Полн. собр. соч. М., 1961, т. 18.
8. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
9. *Покровский З.* Размышления об опере. М., 1979, с. 110.
10. *Моль А.* Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966, с. 76.
11. *Дмитриев Л. Б.* Основы вокальной методики, М., 1968, с. 542.
12. *Юссон Р.* Певческий голос. М., 1974.
13. *Татубаев С. С.* Тайны звука (очерки по фонетике казахского пения в сравнении с речью). Алма-Ата, 1978.
14. *Ржевкин С. Н.* Некоторые результаты анализа певческого голоса.— Акустический журнал, 1956, т. 2, вып. 2.
15. *Barthlomew W. A.* A physical definition of good voice quality in the male voice.— Journal of the Acoustic Society of America, 1934, v. 6.
16. *Морозов В. П.* Тайны вокальной речи. Л., 1967.
17. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960, с. 24, 30.
18. *Владыкина-Бачинская Н.* Собинов. М., 1960.
19. *Вакарин М.* Театральные воспоминания.— Советская музыка, 1949, № 4.

[3] Проблемы исследования голоса разрабатываются в МГУ.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

КРУЧИНИНА И. Н., ЛОПАТИН В. В.

ЗАМЕТКИ О ПРАЖСКОЙ «РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ»

Вышедшая в 1979 г. в Праге двухтомная «Русская грамматика» [Т. I — Фонемика. Морфофонемика. Графика и орфография. Морфология (с. 1—664); Т. II — Синтаксис. Указатели (с. 665—1094)] написана коллективом известных чешских русистов, сотрудников грамматического отделения Института иностранных языков Чехословацкой Академии Наук — В. Барнетовой, Е. Беличовой-Кржижковой, О. Лешкой, З. Скоумаловой и В. Страковой. Книга содержит систематическое описание русского литературного языка, ориентированное на чешских специалистов и потому совмещающее собственно описательные задачи с сопоставительным подходом. Сопоставление русского языка с чешским последовательно проводится при изложении каждой из тем (как правило, в специальных параграфах).

Перед нами фундаментальный труд, не только учитывающий достижения современной русистики, но и отмеченный своеобразием концепции, в значительной степени опирающейся на чешскую грамматическую традицию.

В открывающих книгу разделах «Фонемика» и «Морфофонемика» совмещаются теоретические принципы, близкие к Ленинградской фонологической школе, и приемы генеративной морфонологии с ее глубинными репрезентациями морфем. Обширный раздел «Фонемика» содержит подробное описание репертуара фонем с артикуляционной и акустической точек зрения, позиционных ограничений фонематических противопоставлений, аллофонов, а также в главе «Фонемика и слово» — общую характеристику явлений слогораздела и ударения. Особо следует отметить главу «Фонемика и семантика», где выявляется фонематическая специфика отдельных отмеченных в этом отношении лексических групп — иноязычных заимствований и интернационализмов, сложносокращенных слов, собственных имен (имен и отчеств), а также междометий, в том числе звукоподражательных. В этой нетрадиционной для подобных фонематических разделов главе, как и в главе «Сосуществующие системы фонем и их представление» (екающая схема распределения гласных и эллиптический стиль), эксплицированы все отклонения от традиционно сложившейся фонематической системы русского литературного языка.

В непосредственно обращенном к грамматике разделе «Морфофонемика» в качестве основной единицы морфофонемного уровня языка выдвигается морфофонема как обобщенный ряд чередующихся фонем, представленный в морфофонематической записи главным своим членом. Большое внимание уделяется в этом разделе типам чередований, в особенности чередованиям, связанным с морфофонемой ⟨#⟩ (т. е. чередованиям гласных с нулем), видам морфем, содержащих это чередование, и механизму его проявления, а также условиям чередований согласных и в этой связи классификации суффиксов с точки зрения вызываемых ими типов чередований согласных на морфемном шве.

Предложенные в этом разделе принципы разграничения морфофонематических и фонематических явлений, а также применения морфофо-

нематической и фонематической записей используются в последующих разделах книги, посвященных плану выражения морфологических категорий, словоизменению и словообразованию; поэтому они заслуживают специальной оценки с точки зрения их практической применимости в грамматическом описании. В этом плане могут быть отмечены следующие спорные моменты.

Вызывает сомнение целесообразность последовательного отражения в грамматических разделах книги тех фонем, которые в русской советской фонологической традиции получили название «слабых»: ср., например, /k/ в /rok/ (*рог*) (с. 101), /f/ в /'fsta-l/ (*встал*) (с. 371), /a/ на месте *о* в /ba'jatca/ (*боятся*) (с. 379). Чередования сильных фонем со слабыми (или, по терминологии авторов грамматики, «чередования на фонематическом уровне..., связанные с схемами распределения фонем», с. 101) всецело принадлежат фонологии и на этом уровне абсолютно автоматичны, а потому для морфологии они интереса не представляют. И хотя, касаясь вопроса о типах чередований, авторы и отмечают, что «основное внимание... уделяется в дальнейшем неавтоматическим чередованиям, не связанным с схемами распределения фонем», которые «можно назвать морфологическими чередованиями» (например, /k/ | /č/ в *рука — ручка*, /s/ | /š/ в *писать — пишу*, /o/ | /Ø/ в *конёк — конька́*; с. 101),— они не отказываются в дальнейшем от передачи фонологических чередований, не разграничивая в принимаемой системе транскрипции чередований двух принципиально различных типов и тем самым загружая собственно грамматические разделы излишней информацией. Особенно это заметно в описании именного словоизменения, где для всех типов склонения флексии передаются не только в морфофонематическом виде, но и в фонематическом (с указанием слабых фонем, выступающих на месте сильных) и даже в фонетическом (см., например, с. 453). Уровень сильных фонем, наиболее существенный для грамматики, не будучи выделен в особом виде записи, оказался неоправданно затушеванным.

Что же касается морфофонематической транскрипции, то в ней сделан упор не на передачу сильных фонем, а на передачу морфофонем. Морфофонема понимается как ряд чередующихся фонем, в том числе и фонем, чередующихся с нулем (к такому чередованию приравниваются и различные случаи усечения морфем и основ в целом). В результате морфофонематическая запись, составляемая из фонем, репрезентирующих морфофонему в качестве ее главного члена, передает морфемы и основы в наиболее абстрактном, глубинном облике, нередко весьма далеком от их поверхностной материальной структуры: ср., например, ⟨n'os-l-Ø⟩ (*нёс*, с. 100), ⟨ruk#k-a⟩ (*ручка*, с.101), ⟨#k#k-a⟩ (суф. *-очк-а*, например, в слове *тумбочка*, с. 118), ⟨tolk'nu-o-t⟩ (*толкнёт*, с. 373), ⟨'maza-o-t⟩ (*ма́жет*, с. 373), ⟨čitaj-l-a⟩ (*чита́ла*, с. 374), ⟨govo'r,i-a-t⟩ (*говора́т*, с. 377) и т. п.

Естественно, что при таком понимании предмета морфонологии все «морфологические» чередования должны описываться на фонематическом уровне, отсутствуя на морфофонематическом и не отражаясь в морфофонематической записи. Однако авторы вводят в грамматику и понятие «чередований морфофонем», т. е. «чередований, получающихся в результате сопоставления разных, соотнесенных друг с другом морфофонематических структур», например, чередований ⟨o⟩ | ⟨a⟩ и ⟨s,⟩ | ⟨š⟩ в *выпросить — выпрашивать*, причем оговаривается, что такие чередования связаны «большей частью с различиями членов видовых пар» (с. 101). Границы понятия чередования морфофонем остаются в книге неясными. Неясно, например, на каких основаниях чередование «заднеязычная — шипящая» интерпретируется в *рука — ручка* как чередование фонем: (/'ručka/, с. 101), а перед суффиксом суперлатива — как чередование морфофонем: ⟨-k-ejš-oj⟩ → ⟨č-ajš-oj⟩ → /čajšaj/, ср. *строжайший* (с. 497 — 498), аналогично чередование *с' — ш* в *просит — прошу* — как чередование фонем (с. 375), а в *выпросить — выпрашивать* — как чередование морфофонем. Подобные вопросы возникают и в связи с трактовкой усе-

чения основ: если усечение «полной» глагольной основы последовательно трактуется как явление фонематического уровня (например: ⟨govo'r,i-⟩ → /gava'r,-aščaj/, с. 371), то усечение основы прилагательного в таких, например, случаях, как ⟨korot # k-e⟩ → ⟨korot-Ø-e⟩ (/ka'roče/) (*короткий — короче*) — как явление морфофонематического уровня (с. 151).

Представляется, что понятие чередования морфофонем требует дальнейшего теоретического обоснования и более тесного «увязывания» с общей (морфо)фонематической концепцией грамматики. Одновременно подобные факты говорят и о том, насколько еще слабо разработана и не общепринята система подачи морфонологических явлений в грамматиках.

За морфофонематическим разделом следует небольшой раздел «Графика и орфография» (с. 131—143), в котором речь идет преимущественно о графике, а собственно морфологический раздел книги открывается краткой главой о морфемах (с. 148—156), непосредственно связывающей фонематическую и морфофонематическую проблематику с морфологической. Здесь кратко излагаются такие важные понятия морфемики, как морфема и типы морфем, алломорфы, типы морфематических структур.

Раздел «Морфология» состоит из двух основных частей — «Морфологические категории» и «Формы словоизменения». В главе, посвященной словоизменению (с. 369—521), словоизменение глаголов и имен предстает как последовательно и непротиворечиво изложенная, полная система правил. Закономерности глагольного основообразования базируются здесь на постулате Р. О. Якобсона о единой полной основе глагола, преобразуемой по определенным правилам. При описании глагольного спряжения заслуживает внимания введение понятия комплексных (составных) окончаний, под которое подводятся не только такие факты, как ⟨-o-š⟩, ⟨-o-t⟩, ⟨-u-t⟩ (*-ешь, -ет, -ут*), но и такие, как ⟨-l-Ø⟩, ⟨-l-a⟩, ⟨-l,-i⟩ в формах прошедшего времени. Необходимое внимание уделяется акцентной системе.

Центральным и основным понятием морфологии являются в грамматике морфологические категории (они рассматриваются на с. 157—368). Как в самом понимании морфологических категорий, так и в их описании (сначала описываются глагольные категории, затем именные) прослеживается четкая и последовательно проведенная концепция. «Под морфологическими категориями понимаются частные системы грамматических форм, описываемые в плане содержания при помощи определенной совокупности семантических различительных признаков; напр., категория лица описывается при помощи двух семантических различительных признаков: признака персональности и признака активности в диалогической паре „говорящий — адресат“... Формы, соотнесенные на основании некоторого признака, составляют элементарное морфологическое противопоставление» (с. 157), причем один из членов противопоставления выступает как маркированный (признаковый), а другой — как немаркированный (беспризнаковый). «Семантические различительные признаки, на которых строится некоторая категория, образуют, как правило, иерархии; напр., по признаку персональности противопоставляются формы 1-го и 2-го лица, вместе взятые, форме 3-го лица, по второму же признаку противопоставляется форма 1-го лица (как маркированная — „говорящий“) форме 2-го лица (как немаркированной — „неговорящий“), тогда как для формы 3-го лица этот признак безразличен (т. е. противопоставление „говорящий::неговорящий“ реализуется только в рамках маркированности по признаку персональности)» (с. 157—158). Семантические различительные признаки и основанные на них формальные противопоставления пронизывают описание каждой из морфологических категорий и, как бы ни были спорны отдельные из интерпретаций [ср., например, с одной стороны, интерпретацию падежных противопоставлений, основанную на известной концепции Р. О. Якобсона и в некоторых деталях ее развивающую, но, на наш взгляд, лишь усиливающую ее априорность и отвлеченность, или, с другой стороны, вполне оправданное, с нашей

точки зрения, ограничение семантического различительного признака категории глагольного вида понятием комплексности (целостности) действия], делают это описание строгим и систематичным.

В трактовке плана содержания морфологических категорий авторы последовательно придерживаются схемы: от морфологических (или структурных) значений как семантического инварианта (неотделимого от определенной формальной структуры) к функционально-семантическим категориям — основным функциям грамматических форм и к функциональным транспозициям в сфере употребления.

Сам состав морфологических категорий несколько расширен по сравнению с традиционным составом категорий русской грамматики. Авторы выделяют две аспектуальные категории — категорию вида и категорию способов глагольного действия, а среди залоговых категорий — наряду с категорией залога «в узком (более грамматическом) смысле слова», т. е. категорией пассива—непассива,— более широкую категорию рефлексива—нерефлексива (т. е. возвратности). Отметим попутно, что так называемый возвратный пассив глаголов несовершенного вида (*Дом строится рабочими* и т. п.) рассмотрен здесь как один из разрядов возвратных глаголов и, таким образом, поставлен, вряд ли справедливо, вне категории залога в узком смысле, хотя сами авторы подчеркивают, что «в сфере функционального употребления» эта форма «практически находится в распределительной дистрибуции по отношению к кратким отпричастным формам страдательного залога (*дом строился*::*дом был построен*)» (с. 286); в то же время в собственно залоговую оппозицию включаются фактически вышедшие из употребления формы типа *был читаем*, *критикуем*. В данном случае авторы предпочли строгость схемы отражению реальных языковых отношений.

Наряду с родом в узком смысле слова, в состав категории рода включается система форм, выражающих одушевленность—неодушевленность.

Как видим, само понятие и термин «морфологическая категория» трактуются в книге более широко и, несомненно, менее строго, чем в современной советской русистике (ср., например, работы А. В. Бондарко). Так, «категория способов глагольного действия» представляет собой, по сути дела, ряд «категорий» (по другой трактовке — ряд лексико-грамматических разрядов), выражающих различные модификации протекания действия. То же отчасти касается и так называемых разрядов возвратных глаголов, хотя они и в большей степени доступны интерпретации в рамках инвариантного семантического противопоставления (трактуемого авторами грамматики как противопоставление по признаку «ограниченной направленности действия», с. 282).

Авторы предлагают новое, нетрадиционное понимание границ выделяемых ими морфологических категорий. В наибольшей степени это относится к способам глагольного действия, сфера которых (справедливо ограниченная морфемно выраженными, «характеризованными» способами) расширяется в книге до границ внутриглагольного модификационного словообразования, и, таким образом, в систему способов глагольного действия включается ряд нетрадиционных способов. Среди них в первую очередь необходимо назвать «пространственно-результативный способ» (пространственную модификацию результативного действия) и «качественно-обстоятельственные модификации результативного способа действия», к которым относятся способ, обозначающий повторное действие (*перешить*, *воссоздать*, *реорганизовать*), и результативно-негативный (аннулирующий) способ (*отколоть*, *разлюбить*, *дезорганизовать*, *дисквалифицировать*) (с. 251—252). Такое расширение традиционных рамок способов глагольного действия представляется нам оправданным, поскольку «канонические» рамки несколько искусственно сужают лежащее в основе выделения способов глагольного действия понятие модификации характера протекания действия.

Особое место среди категорий (как глагольных, так и именных) отведено категориям так называемых «форм словоизменительной транспо-

зиции», осуществляющих «перевод» слова в иную синтаксическую сферу. Набор таких форм для глагола традиционен: это причастия, деепричастия и инфинитив; состав форм адъективной словоизменительной транспозиции менее традиционен: к полной адъективной парадигме авторы относят, кроме так называемых кратких форм (маркированных предикативных), еще и так называемые качественные наречия (маркированные неатрибутивные формы), т. е. полная парадигма прилагательных выглядит так: *правильный...*, *правилен...*, *правильно* (с. 332—333) (взгляд на «качественные наречия», более характерный для чешской грамматической традиции, однако, не чуждый и русским грамматистам, в частности, разделявшийся А. М. Пешковским). Для каждой из форм словоизменительной транспозиции определяется ее категориальная структура.

Завершает раздел о морфологических категориях глава «Местоименные слова и их категории» (с. 350—368). Местоименность понимается здесь как «своеобразное рамочное значение», проходящее «через все части речи в собственном смысле слова, выступая в виде местоимений субстантивных, адъективных, адвербиальных, а также количественных» (с. 351). Содержащееся здесь описание «частных разрядов» местоимений соотносит их с соответствующими частями речи неместоименных слов и выявляет специфику выражаемых местоименными словами категорий.

Избранная авторами концепция морфологии естественно оставляет на втором плане традиционно центральную морфологическую классификацию — части речи. Авторы специально останавливаются на этом вопросе в заключающей первый том небольшой главе «О частях речи в русском языке» (с. 654—664). Здесь подчеркивается автономность трех основных аспектов слова, на основании которых и разграничиваются в грамматиках части речи,— «категориально-формального строения», «конфигуративной формы» (синтаксического окружения) и «лексико-семантического содержания» (обобщенного значения). В соответствии с таким взглядом на грамматическую классификацию слов авторы предлагают три параллельные классификации слов: 1) на категориально-морфологические разряды [с двумя основными подразделениями — спрягаемые и склоняемые слова, вне которых, естественно, оказываются наречия (кроме «качественных») как чисто синтаксический класс, выделяющийся «на некатегориальной основе», с. 661]; 2) на основные синтаксические разряды (а также более дробные подразделения, среди которых оказываются, между прочим, предикативы) и 3) на основные семантические разряды слов (собственно наименования; квантификаторы, среди которых — числительные; идентификаторы-индикаторы — местоимения: наконец, формативы — предлоги, союзы, связки). Состав разрядов слов, выделяющихся на основе каждой из этих трех классификаций,— неодинаковый, «отношение между ними асимметрическое» (с. 664). Этим и определяется тот факт, что традиционная классификация частей речи оказалась в грамматике в значительной степени размытой. Среди знаменательных частей речи незыблемым осталось, пожалуй, лишь противопоставление глагола и имени; традиционные существительные и прилагательные выступают преимущественно как формальные классы (соответственно) «родовых несогласуемых имен» и «родовых согласуемых имен» (с. 447). Что же касается служебных слов и междометий, то они освещаются лишь во втором, синтаксическом томе. Нельзя не признать, что избранный авторами подход к частям речи — один из возможных путей преодоления хорошо известной противоречивости традиционной системы частей речи. Привлекателен этот путь и тем, что он четко ограничивает сферу морфологии формально выраженными в структуре слова значениями и потому он последовательно грамматичен.

Примыкающий к морфологии «Очерк словообразовательной системы русского языка» (с. 522—654) не претендует на полноту и носит вспомогательный характер. Его задача — показать «взаимоотношения между словообразованием и грамматикой». В разделе проводятся «семантические параллели между морфологическими категориями и семантикой словообразовательных типов», «определяются продуктивные разряды сло-

вообразовательных средств, на которые опираются словоизменительные типы, представляющие в лексической реализации открытые ряды словоформ», наконец, устанавливаются связи словообразования с синтаксисом, т. е. роль словообразовательных средств в построении синтаксических конструкций (прежде всего речь идет о влиянии словообразовательной структуры глагола на «семантическую перспективу» и через нее на синтаксическое оформление конструкции, с. 522). Раздел состоит из двух частей — «Глагольное словообразование» и «Именное словообразование» (первое разработано подробнее), в которых и осуществлены поставленные задачи.

В главе «Глагольное словообразование» справедливо обращается особое внимание на специфику морфемной структуры глагольной основы. В соответствии с чешской грамматической традицией, конечные отрезки глагольных основ типа *-и-*, *-е-*, *-ова-*, *-ну-* рассматриваются как основообразующие (тематические) суффиксы, лишь вторично (секундарно) выполняющие словообразовательную функцию, и соответственно образование глаголов «без присоединения собственно словообразовательной морфемы», только при участии основообразующего суффикса,— как особый способ («прием») словообразования («тематическая суффиксация», в отличие от «собственно суффиксации», с. 527). В связи с выделением тематических суффиксов словообразовательные глагольные форманты, состоящие из «собственно словообразовательного суффикса» и тематического элемента (*-нича-*, *-ирова-*, *-ствова-* и т. п.), рассматриваются как сложные (комплексные) словообразовательные морфемы (с. 525). При этом постулируется возможность двоякого и даже троякого членения одной и той же словоформы (из которых противоположны друг другу «бинарное» и «посегментное» членение: ср., например, *морал-изирова-*, *затверде-вај-* и *морал-из-ир-ов-а-*, *за-тверд-е-в-а-ј-*, с. 525); остается, однако, не вполне ясным морфемный статус всех вычленяемых в последнем случае минимальных отрезков основы.

Изменение сочетаемости префиксальных глаголов изложено в компактном виде как система трансформаций определенных исходных конструкций, характеризующихся изменением синтаксического места связанных с глаголом слов.

Авторы словообразовательного раздела пытаются последовательно провести через все описание словообразовательных моделей деление на три основные «общесемантические категории» (предложенное применительно к чешскому языку М. Докулилом): транспозицию, модификацию и мутацию, хотя и отмечают, что сам язык в ряде случаев не дает четких оснований для разнесения словообразовательных фактов по трем указанным рубрикам (с. 530). Особенно много сомнений вызывает ограничение авторами сфер транспозиции и модификации в рамках глагольного словообразования. Так, отнесение к транспозиции отыменных глаголов типа *грубеть* или типа *веселить* (с. 529) противоречит изложенному здесь же пониманию словообразовательной транспозиции («синтаксической деривации») как такого явления, при котором «словообразовательный элемент... придает исходной основе облик и общекатегориальные свойства характеризуемой им части речи, не внося при этом ничего нового в ее лексико-семантическую структуру» (с. 529): разве значения становления признака и каузирования признака можно считать тождественными с лексико-семантической точки зрения значению самого признака, выраженному прилагательным? Сказанное относится и к таким типам отыменных глаголов, как *джигитовать*, *бродяжить* (с. 534, 545), и др.

Для разграничения модификационных и мутационных значений в рамках глагольной префиксации авторы используют «семантико-синтаксический критерий»: как модификационные рассматриваются лишь те префиксальные образования, в которых сохраняется «интенциональная (лексико-синтаксическая) перспектива исходной основы» (с. 243); при этом область модификационных значений, как уже отмечалось, совпадает с областью способов глагольного действия. Напротив, как мутационные изменения основы рассматриваются все префиксальные образования,

в которых «существенно меняется... интенциональная структура» глагола (с. 243), в частности, все глаголы с транзитивирующими префиксами (с. 560). Представляется, что указанному принципу разграничения мутации и модификации в сфере внутриглагольного словообразования противоречит безоговорочное отнесение типов глагольной «рефлексивации» (т. е. образования глаголов с «возвратным» аффиксом *-ся*, носящим, как известно, последовательно интранзитивирующий характер) к модификационной сфере. При всем том знаменательна и оригинальна сама попытка связать типологию словообразовательных значений с синтаксической сочетаемостью слов.

Н есогласуется с принципами синхронической описательной грамматики рассмотрение глагольных оформителей нерусских основ в одном ряду со словообразующими глагольными суффиксами, причем обрусение заимствованных основ, не соотносительных в заимствующем языке с каким бы то ни было мотивирующим словом, приравнивается к словообразовательной модификации (с. 531 и сл.). Недостатком словообразовательного раздела грамматики следует считать также терминологическую неупорядоченность: например, единицы, для которых в русской грамматической традиции закрепился термин «способы словообразования», называются в книге и «словообразовательными приемами», и «средствами», и «видами».

В отличие от главы «Глагольное словообразование», в главе «Именное словообразование» изложение оказывается наиболее фрагментарным и поверхностным; в частности, в ней почти совсем не учитываются различия словообразовательных типов, связанные с частью речи мотивирующих слов.

Второй том «Русской грамматики» посвящен синтаксису простого и сложного предложения.

Синтаксис простого предложения представлен в в книге двумя отделами: синтаксисом элементарных синтаксических структур (структурных основ предложения) и синтаксисом коммуникативных типов предложения. В первом отделе содержится классификация структурных основ по принципу односоставности/двусоставности с внутренним делением каждого вида основ по характеру выражения сказуемого на основы глагольного типа (с центральным компонентом — глагольным сказуемым) и основы именного типа (с центральным компонентом — именным сказуемым). Здесь же рассматриваются производные структуры, образующиеся из основных способом их факультативного распространения, и модификации структурных основ, включая явления перехода двусоставных предложений в односоставные. Тематически к этому отделу тяготеют стоящие особняком главы, посвященные контекстным видоизменениям структурных основ, эллипсису и квазипредложениям.

Центральным понятием синтаксиса коммуникативных типов предложения является модальность — трехуровневая категория, включающая в свой объем целеустановочную модальность, модальность правдивости (утвердительность — отрицательность) и модальность достоверности (возможность/недостоверность — достоверность). На основе целеустановочной модальности выделяются четыре коммуникативных типа предложения: повествовательный, оптативный, побудительный и вопросительный. Целеустановочной модальностью организуется парадигма коммуникативных типов предложения, в соседстве с которой рассматриваются и инфинитивные конструкции. К проблематике этой части относится описание способов модальной модификации сказуемого.

Главной отличительной особенностью синтаксиса структурных основ является вовлечение учения о сочетательных свойствах глаголов в учение о предложении и снятие фундаментальной для современной русской синтаксической науки оппозиции словосочетания и предложения. Валентность глагола «проецируется» в элементарные структурные схемы предложения и провозглашается теоретической основой синтаксического компонента «Русской грамматики». Изучение структуры предложения с учетом дистрибуции ее центрального компонента — глагола имеет свои сла-

бые и сильные стороны. В советском языкознании этот вопрос достаточно обстоятельно обсуждался при подготовке грамматик русского языка (1966—1972 гг.), большое внимание уделяется ему и в синтаксических исследованиях (см., например: Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976). Включение глагольных связей в структурный минимум (основу, формулу, модель, схему и т. п.) предложения может быть оправдано с нескольких точек зрения. Ставшее широко популярным сравнение предложения со спектаклем, который дает себе говорящий, как раз исходит из понимания глагола как потенциального носителя целой ситуации, не только называющего какое-либо действие, но и предопределяющего распределение «ролей» между его участниками. С признанием лексико-синтаксической сочетаемости глагола релевантной для структуры предложения могут быть расширены аспекты изучения последнего: становятся возможными развернутое описание его синтагматики и более свободная семантическая интерпретация синтаксических отношений, открываются дополнительные перспективы всестороннего функционального обследования разных типов предложения, выявления их иерархической соотнесенности друг с другом и установление различий по системно значимым признакам.

Вместе с тем неизбежны спорные моменты и трудности. Прежде всего встает традиционный вопрос о роли и месте неглагольных предложений и предложений без Vf в системе русского синтаксиса. В решении этого вопроса авторы книги идут, в основном, по пути подведения подобных конструкций под разнообразные структурные схемы глагольных предложений; некоторая их часть попадает в раздел квази-предложений, т. е. синтаксически неоформленных слов-высказываний, транспонированных в позицию предложения. Так, номинативные экзистенциальные конструкции типа *Ночь. Тишина.* рассматриваются в «Русской грамматике» как «особая разновидность» структурной основы N_n — Vf, т. е. на высшей ступени иерархизации предложения отождествляются с двусоставными глагольными конструкциями *Девочка спит*; *Ребенок плачет*; *Публика аплодировала* и под. С другой стороны, предложения *Ночь. Тишина.* отграничиваются от квази-предложений типа *Запущенный липовый парк. Мшистые скамейки. Заглохшие аллеи*, которые квалифицируются как высказывания с транспонированным именительным представления. Это отграничение мотивируется тем, что именительный представления не может быть соотнесен с конструкциями, в состав которых входит глагол *быть* в личной форме, тогда как экзистенциальные предложения, по мнению авторов «Русской грамматики», всегда парадигматичны. Дискуссионно решается также вопрос об инфинитивных предложениях. Прежде всего необычен тот факт, что на уровне элементарных синтаксических структур, или структурных основ предложения, инфинитивные предложения вообще не выделяются. За исключением широко понимаемого инфинитива представления, который аналогично именительному представления отнесен к числу квази-предложений, инфинитивные конструкции квалифицируются, в основном, как вторичные структуры, являющиеся результатом синтаксической модификации двусоставных предложений. Характеристика инфинитивных предложений ограничена, главным образом, детальным рассмотрением их роли в выражении разнообразных модальных значений. На уровне модификаций — но уже не модальных, а экспрессивных — вводятся в описание и фразеологизированные (по преимуществу тоже номинативные) конструкции типа *Ай да мы!*; *Вот удружила!*; *Ох уж эта молодежь!*; *Жена есть жена*; *Парень как парень* и под., а также конструкции с «именительным восклицательным» (*А склады!*; *А цветы!*; *А молодежь!*) и «родительным восклицательным» (*Народу! Цветов!*). Нетрудно заметить, что с использованием понятия модификации задача приведения всей массы разнообразных именных (в широком смысле) предикативных конструкций к «глагольному виду» становится для авторов «Русской грамматики» вполне разрешимой; см. их исходную констатацию: «состав любого предложения можно свести к своего рода костяку, ядром которого будет личная форма глагола» (с. 670).

Исключение конструкций без Vf из числа типологически релевантных структурных основ предложения существенно упрощает процедуру классификации последних. В значительной степени условным становится, например, их деление на основы с глагольным сказуемым, с одной стороны, и именным — с другой, поскольку последние также оказываются в конце концов глагольными. Отличие усматривается только в том, что личный глагол в них лексически неполнозначен, имеет характер связки и выступает в сочетании с именной формой. Как пишут сами авторы, «разграничение структурных основ с глагольным и именным сказуемым представляет собой на самом деле вопрос частной классификации глаголов в зависимости от обязательной детерминации глагола объектным, обстоятельственным или предикативным детерминантом» (разрядка наша.— *К. И., Л. В.*) (с. 719). Выше уже отмечалось, что деление структурных основ по характеру выражения сказуемого перекрещивается с их делением по принципу двусоставности — односоставности. Ядро структурной основы двусоставного предложения представляет собой основанное на предикации отношение между подлежащим и сказуемым в форме Vf; конструктивным ядром односоставного предложения является глагол в безличной форме. Согласно определениям пражского «Синтаксиса», двусоставными называются «предложения, в структурную основу которых входит именительный подлежащего и сказуемое (в случае их распространения — состав подлежащего и состав сказуемого), а односоставными — «предложения, в структурную основу которых не входит именительный подлежащего» (с. 681). Тем самым устанавливается дифференциация основообразующих компонентов: одни из них (подлежащее и сказуемое, или одно сказуемое) участвуют в выражении предикативного значения и определяют типологические признаки элементарной синтаксической структуры, другие («детерминанты») призваны заполнить «пустые» места, обусловленные семантической недостаточностью глагола-сказуемого, т. е. придать элементарной синтаксической структуре смысловую завершенность. Эта дифференциация известным образом корректирует тезис о глагольной валентности как теоретической первооснове пражского «Синтаксиса». С учетом наличия глагольных детерминантов и их количества среди двусоставных и односоставных основ выделяются основы: 1) без глагольного детерминанта; 2) с одним детерминантом сказуемого; 3) с двумя детерминантами сказуемого. Эта самая общая классификация служит базой для дальнейших конкретизаций структурных основ в зависимости от формы приглагольных детерминантов и их объектного или обстоятельственного характера. В конечном итоге вырисовываются три уровня представления структурной основы предложения и три ряда соответствующих понятий. Первый и самый общий уровень — это уровень элементарных синтаксических структур (структурных основ предложения) в собственном смысле слова; второй — уровень синтаксических реализаций («разновидностей») структурных основ, или уровень структурных схем предложения; третий — уровень семантических реализаций («вариантов», «подтипов») структурных схем предложения. Так, например, структурная основа N_n — Vf — N_x, где N_x — зависимый объектный детерминант, может синтаксически реализоваться в виде структурной схемы N_n — Vf — N_a, где N_a — объектный детерминант в форме вин. пад., и семантически специфицироваться в виде следующих комбинаций, или вариантов: *кто* Vf *кого/что*; *кто* Vf *что*; *кто* Vf *кого*; *кто/что* Vf *кого*; *кто/что* Vf *кого/что*; *что* Vf *кого*; *что* Vf *кого/что*; *что* Vf *что*; *кто/что* Vf *что*.

По вполне понятным причинам, авторы отказываются от подробного рассмотрения семантических вариантов. Основное внимание они уделяют описанию синтаксических аспектов предложения и перечислению его структурных схем. Этому описанию предпосланы общая сравнительная характеристика морфологических категорий, непосредственно или опосредованно участвующих в оформлении синтаксических отношений (падеж, лицо, число, род, залог, вид, время, наклонение), и указание «приемов»,

при помощи которых происходит сцепление отдельных составных компонентов в единое целое (предикация, согласование, управление, примыкание). Как предупреждают сами авторы, характеристика отдельных структурных схем и их возможных реализаций дается лишь в самых общих чертах, как правило, с учетом расхождений между русским и чешским языками. Тем не менее объем сведений, включаемых в эту обобщенную характеристику, достаточно широк: с разной степенью полноты отражаются и лексико-семантическая специфика глагола-сказуемого, и особенности его оформления, и характер связи с детерминантом, и семантические функции последнего; отмечаются явления вариативности в выражении подлежащего и детерминанта и их наиболее существенные (нередко взаимообусловленные) категориальные ограничения; во многих случаях указываются условия употребления структурной схемы, степень ее продуктивности, системные связи. Неравномерность, неполноту или приблизительность некоторых характеристик иногда можно объяснить общей недостаточной разработанностью соответствующих участков синтаксиса; вместе с тем нельзя упускать из вида и сугубо субъективной трудности, возникающей в связи с намерением авторов каталогизировать структурные типы предложения с учетом всех облигаторных валентностей глагола; в результате количество только непроизводных структурных схем, описываемых «Русской грамматикой», оказалось чрезвычайно большим, почти необозримым. Последнее обстоятельство привело также к тому, что некоторые специфические проблемы сочетаемости слов вообще не получили своего освещения; приходится констатировать, что синтаксис словосочетания вошел в книгу в существенно редуцированном виде.

Авторы различают два статуса структурных основ (схем) предложения: системно-языковой («уровень системы языка») и речевой («уровень реализации системы языка»). Согласно концепции пражского «Синтаксиса», значительное количество структурных типов предложения не находит себе места в системе языка, а обнаруживается только в речи. Кроме инфинитивных предложений, о которых по другому поводу уже говорилось выше, это — пассивные конструкции, обобщенно-личные и неопределенно-личные предложения, многие безличные. Все они характеризуются как вторичные (производные) структуры, т. е. рассматриваются как результат тех или иных формальных видоизменений (модификаций) исходных структурных основ. Понятие модификации структурной основы охватывает три круга явлений: 1) неполноту ее воплощения (незамещенность тех или иных обязательных приглагольных позиций, в том числе позиции подлежащего — в тех случаях, когда это не влечет за собой восприятия действия как замкнутого в себе процесса); 2) пассивизацию (устранение из позиции подлежащего фактического или потенциального производителя действия); 3) исключение подлежащего из числа основообразующих компонентов, результатом чего является переход структурных схем двусоставного (личного) предложения в структурные схемы односоставного (безличного) предложения. С уровнем речевой реализации авторы книги связывают и описание способов распространения структурных основ факультативными детерминантами и средств их модального и экспрессивного осложнения. Рассматриваются два вида факультативных детерминантов: 1) по преимуществу обстоятельственные, распространяющие сказуемостный состав структурной основы, и 2) атрибутивные, распространяющие непредикативные компоненты. В рамках распространения описывается модальная и фазисная модификация глагольного ядра структурной основы, результатом которой является составное сказуемое (производные конструкции типа *Я стал/должен читать книгу* в отличие от исходных типа *Я читаю книгу*), а также замещение той или иной обязательной или факультативной позиции рядами однородных членов и формальная организация подобных рядов (виды связи, особенности согласования сказуемого с подлежащим в случае осложнения, распространения или замещения последнего). С наибольшей полнотой и тщательностью разработана в книге проблема факультативной детерминации сказуемостного состава.

Явление неполноты структурной основы рассматривается дважды-первый раз в общем виде — в связи с вопросом об отношении структурных основ к языку и речи и второй раз — более подробно и обстоятельно — в связи с явлением контекстной обусловленности предложения, его зависимости от синтаксического окружения и внеязыковой ситуации (раздел «Эллиптические предложения»). Под углом зрения контекстных модификаций описывается в книге порядок слов и актуальное членение предложения, а также экспрессивные осложнения и средства выражения экспрессивности: морфологические (переносное употребление форм времени, наклонения, лица — у глагола, рода, числа и падежа — у имени), синтаксические (транспозиции коммуникативных типов предложения, отрицательной/утвердительной формы, модификации актуального членения и некот. др. явления), лексические (оценочно-характеризующие слова и частицы, обращения, междометия, здесь же — экспрессивные употребления форм дательного и именительного падежей). На уровне экспрессивных модификаций рассматривается достаточно широкий круг фразеологизированных предикативных конструкций, о чем уже говорилось выше.

С переходом от описания структурных основ предложения к описанию его коммуникативных типов в центре внимания оказывается область модальных значений, т. е. та область синтаксиса, которая отражает отношение говорящего к объективной действительности через оценку предметного содержания предложения (= высказывания) с точки зрения реальности, желательности и т. п. Данное отношение определяется в книге как целеустановочная модальность и кладется в основу понимания коммуникативного типа предложения. Основным средством выражения («базисом») целеустановочной модальности признана морфологическая категория наклонения, которая находится в соответствии с «модальной рамкой» предложения, т. е. определенной комбинацией семантических признаков, приписываемой отдельным коммуникативным типам. Авторы определяют модальную рамку как «своего рода глубинную семантику, наслаивающуюся на синтаксическую схему» (с. 814). Система коммуникативных типов представляет собой синтаксическую парадигму предложения в узком смысле слова. Членами этой парадигмы являются предложения повествовательные (модальная рамка «заявляю *x*»), оптативные (модальная рамка «заявляю, что считаю желательным *x*»), побудительные (модальная рамка «заявляю, что считаю желательным, чтобы ты сделал *x*»), вопросительные (модальная рамка «хочу узнать *x*»). Данная парадигма организована по принципу бинарности: невопросительные коммуникативные типы с общим семантическим признаком «заявляю *x*» противопоставлены в ней вопросительному коммуникативному типу с модальной рамкой «хочу узнать *x*». Соответствие между парадигмой коммуникативных типов предложения, с одной стороны, и «модальной парадигмой глагола» (системой наклонений) — с другой, не является однозначным; так, изъявительное наклонение может оформлять предложения повествовательные, оптативные (обычно в сочетании с частицами *да* и *пусть*) и вопросительные. То же самое относится, очевидно, и к сослагательному наклонению. Коммуникативные типы предложения различаются своими транспозиционными возможностями: одни из них сравнительно легко поддаются перемещению в область иных (парадигматически соотносительных) модальных значений, у других — эта способность отсутствует или проявляется ограниченно. Как уже отмечалось, в тесной связи с коммуникативными типами рассматриваются модальные свойства инфинитивных предложений; здесь же получает дальнейшую разработку проблема модальных модификаций сказуемого, в общем виде затронутая при характеристике способов распространения глагольного ядра структурных схем предложения. Как более частные виды модальных значений описываются в книге модальность правдивости, содержащая оценку предицируемого признака с точки зрения его наличия или отсутствия в действительности, и модальность достоверности, в целом соответствующая тому, что в советской русистике принято называть субъективной модальностью предложения. В рамках модальности правдивости рассмат-

риваются синтаксические аспекты негации (общее и частное отрицание, модифицирующие способности отрицания, отрицание в его отношении к коммуникативным типам предложения, вторичные функции отрицательных предложений). Во взаимодействии с целеустановочной модальностью описывается в книге модальность достоверности.

Характеризуя раздел «Простое предложение» в целом, следует прежде всего отдать должное стремлению авторов представить динамическую картину русского синтаксиса. Раздел написан на высоком теоретическом уровне и отличается новизной и смелостью подхода ко многим, порой остро дискуссионным, проблемам. Некоторые недостатки изложения (не всегда полная эксплицитность, терминологические непоследовательности, особенно в употреблении таких ключевых слов, как «реализация» и «модификация»), а также тот факт, что содержащиеся в книге решения не всегда приемлемы или, по меньшей мере, дают новый импульс к возобновлению традиционных дискуссий (об уровнях представления предложения; статусе структурных основ; синтаксической производности и членении синтаксиса в плане дихотомии «язык — речь»; обязательных и необязательных глагольных связях и безглагольных предложениях; структуре синтаксической парадигмы и мн. др.), не заслоняют важного: определенности и непротиворечивости авторских позиций, недвусмысленности их точек зрения. Раздел содержит немало весьма интересных частных наблюдений и выводов, в ряде случаев обусловленных новыми принципами организации синтаксического материала.

Теоретические установки «Русской грамматики» относительно раздела «Сложное предложение» содержатся в общем введении в синтаксис. Предлагаются как будто два понимания сложного предложения: широкое, согласно которому оно определяется как единица, состоящая по крайней мере из двух предложений, и узкое, в соответствии с которым оно характеризуется как элементарная синтаксическая структура, состав которой осложнен предложением. Очевидно, что, с известными оговорками, последнему определению может удовлетворять только сложноподчиненное предложение. Осложнение элементарной синтаксической структуры предложением характеризуется как факт синтаксической транспозиции: «если в позиции компонента синтаксической структуры предложения как элементарной самостоятельной синтаксической единицы выступает предложение же, то мы имеем дело с вторичной функцией этого предложения» (с. 667).

Оставляя в стороне вопрос о целесообразности столь широкого понимания термина «транспозиция» и применения его к области проявления регулярных и органических свойств предложения (в данном случае — естественного свойства предикативных конструкций вступать в связи друг с другом), обратим внимание на некоторые трудности, с которыми, на наш взгляд, столкнулись авторы книги. Прежде всего, есть повод говорить об известном раздвоении их позиций при классификации сложноподчиненных предложений. Книга содержит две такие классификации — традиционную и новую, ориентированную на систему понятий, изложенную в разделе «Простое предложение». Описание конкретных видов сложноподчиненных предложений осуществляется, в основном, в рамках первой классификации; вторая классификация практически мало используется. Нельзя не отметить также теоретического несоответствия между интерпретацией придаточности как вторичного способа оформления позиций в составе простого предложения, с одной стороны, и допущением возможности конденсации некоторых видов придаточного предложения в инфинитив или существительное, с другой (см., например, §§ 1569, 1604, 1606).

Изложенное выше понимание сложного предложения не оказало, впрочем, существенного влияния на характер его описания, которое следует, в основном, традициям чешских грамматик. Специфика чешской синтаксической науки (в первую очередь школы Я. Бауэра) находит свое отражение прежде всего в классификациях сложного предложения, а именно — в невыделении бессоюзных конструкций в качестве самостоя-

тельного типа и рассмотрении их в рамках сочинения/подчинения; в делении сложноподчиненных предложений на относительные, изъяснительные и обстоятельственные («адвербиально-детерминантные»); в интерпретации сложноподчиненных предложений с союзами типа *то... то...* как соединительных, а не разделительных; в выделении среди сложносочиненных предложений таких самостоятельных типов, как градационный, следствия/вывода, пояснения и обоснования, а среди сложноподчиненных — предложений со значением орудийным и ограничительным. Характерной чертой является весьма широкое понимание формального аппарата сочинительной связи: на правах вторичных средств сюда включается достаточно большое число подчинительных союзов, относительных местоимений и местоименных наречий (в тех случаях, когда выражаемые ими значения приближаются к сочинительным). При этом, естественно, устанавливается довольно большое число несобственно-подчинительных конструкций, квалификация которых осуществляется иногда под углом зрения омонимии (см., например, § 1593).

При описании конкретных типов сложного предложения авторы, как и в других разделах книги, широко пользуются приемом сопоставления русского и чешского языков. Как правило, это не только не вызывает возражений, но и представляется вполне уместным; однако в отдельных случаях обращает на себя внимание излишняя категоричность, а иногда и неоправданность запретов и ограничений, налагаемых на русский синтаксис (см., например, §§ 1568, 1643, 1564, 1605; вне рамок сопоставления — §§ 1538, 1569).

Как и раздел «Простое предложение», эта часть «Синтаксиса» представляет интерес. Она, бесспорно, привлечет к себе внимание русистов как одна из попыток такого описания сложного предложения, при котором на первый план выдвигаются не столько формальные, сколько содержательные и функциональные характеристики данной синтаксической единицы.

Интерес к разработке и описанию грамматического строя русского языка в настоящее время очень велик. Опубликованная чешскими русистами грамматика, оригинальная по концепции и цельная по исполнению, дает новый импульс для исследований в этой области.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1982

РЕЦЕНЗИИ

Русская грамматика.— М.: Наука, 1980. т. I — 784 с.; т. II—710 с.

Публикация полного описания грамматического строя национального литературного языка всегда является событием в лингвистической науке. Труды подобного рода имеют значение не только для носителей описываемого языка, но представляют также большой интерес с общелингвистической точки зрения, так как авторам, исследующим грамматическую систему данного языка, неизбежно приходится предварительно решать целый ряд методологических и методических проблем. Если даже многие из теоретических предпосылок описания языка существуют в научной лингвистической традиции, то все равно возникает вопрос выбора той или иной лингвистической концепции и необходимость ее последовательного проведения в процессе анализа конкретного языкового материала. Даже языки, служившие (как, например, русский язык) объектом многочисленных описаний, всегда имеют участки, недостаточно исследованные или изучавшиеся с позиций, столь различных по своим теоретическим предпосылкам, что практически результаты проводившихся работ частного порядка оказываются несводимыми. Поэтому сам «банк данных» (как иногда в современной лингвистике называют первоначально накопляемый материал исходных фактов языка) неизбежно требует пополнения и дополнительной перепроверки.

Задача авторов рецензируемого труда осложнялась еще тем обстоятельством, что с самого начала была поставлена цель совместить в пределах одной работы научное описание грамматического строя русского языка с его оценкой и, следовательно, с рекомендациями по его нормативному использованию (Предисловие, с. 3). Именно вследствие этой второй задачи возникла необходимость тщательного отбора тех форм современного русского языка, которые могут считаться нормативными с точки зрения языкового узуса и их выделения среди многообразия форм и значений, которыми располагает каждый живой язык (с. 13).

Введение в текст изложения стилистических и других специальных характеристик для приводимых форм и конструкций помогает читателю ориентироваться среди разнообразных грамматико-структурных вариантов, имеющихся в русском языке, и выбирать из них тот, который принадлежит к литературно-нормативным. Неоспоримым достоинством «Русской грамматики» является разнообразие материала, на который опирались авторы при формулировке выдвигаемых ими правил, и включение большого корпуса литературных произведений различной жанровой и стилевой принадлежности. Кроме того, учтена живая разговорная речь, хотя, к сожалению, ни в Предисловии, ни во Введении не указаны методы ее фиксации и проверки: сплошная магнитофонная запись спонтанной речи наблюдаемых или предварительная подготовка тематических опросов, отбор самих информантов и т. д.

Изложение начинается с описания звуковой стороны русского языка и формулирования закономерностей фонетики, фонологии, ударения и интонации. Включение звукового уровня языка в состав трудов, в которых подвергается рассмотрению грамматический строй того или иного языка, прочно вошло в лингвистическую традицию. Оправданием в данном случае служит не только желание сообщить читателю некоторый объем общих фонетических сведений (большинство из них он может найти в любом курсе «Введения в языкознание»), но, главным образом, то, что фонетические сведения подаются как непосредственно связанные с особенностями грамматических структур русского языка. Это относится не только к разделам, посвященным интонационным моделям (§§ 150—171), к которым мы еще вернемся, разбирая главы, касающиеся синтаксической проблематики, но и к характеристике фонетических явлений, соотносительных с грамматическими формами. Указывается, например, что «словоформы могут состоять из одного, двух и более звуков» (с. 15), устанавливается связь между слоговым строением и словоформой (с. 22). Подробно разработаны вопросы позиционных изменений звуков и сочетаний звуков, допускаемых фонетическими закономерностями русского языка (§§ 33—115). Большое число таблиц в главе, посвященной фонетике, и, особенно, в главе, посвященной фонологии, помогает усвоению системных отношений звуков речи. Единственное соображение, которое хотелось бы высказать по поводу разделов «Фонетика» и «Фонология», касается вопроса об их соотношении. Каждый из этих аспектов языка дан изолированно. Хотя на с. 69 указано, чем отличается фонема от звука речи (§ 117), нигде не охарактеризовано отношение фонологии к фонетике в ц е л о м. Было бы полезно в заключительных параграфах, посвященных фонологии (или, наоборот, до изложения раздела «Фонетика»), указать на взаимо-

отношения фонетики и фонологии как двух аспектов звуковой стороны языка.

Раздел, посвященный «Основным понятиям морфемики», содержит описание тех значимых частей слова, которые служат строительным материалом для процессов словообразования и создания системы словоформ. Основываясь на положении, что слово, являясь одной из основных единиц языка, манифестируется в словоформах, авторы определяют слово как нелинейную, обобщенную единицу. Это утверждение правильно в том смысле, что в потоке речи как значимый отрезок вычленяется только та или иная словоформа (§ 173), однако есть опасность (в связи с применением подобных определений) превращения слова из лексико-грамматической реальности языка в некую абстрактную модель, существующую в отвлечении от своих модификаций. Это впечатление несколько сглаживается при дальнейшем ознакомлении с разделами, трактующими проблемы морфонологии, благодаря обилию удачно подобранных примеров и их детальному анализу. Особенно важно то, что авторы, где только это возможно, стараются внести в изложение формальных структур их семантическое обоснование. Например, указывая на ограничения в употреблении суффиксального морфа имен прилагательных *-н-* в его соединениях с морфом суффикса *-ис* | т | - (*ненавистный*, но *пессимистичный*), авторы напоминают, что «употребление морфов обусловлено не формальной структурой соседнего морфа, а соседним морфом в целом как носителем определенного значения» (с. 126).

Для описания процессов словообразования отведено 320 с. Изложение материала проходит под знаком выяснения отношений между мотивирующим и мотивированным словом. Этот подход помогает выявить динамику словообразовательных процедур, чему также способствует использование понятия «словообразовательной цепочки», т. е. целостного ряда однокорневых слов, которые находятся друг к другу в отношениях последовательной мотивированности. Если началом подобной цепочки служит немотивированное слово (*старый*), то в качестве последнего ее звена выступает то слово, которое характеризуется наивысшей ступенью мотивированности (*старый* → *стареть* → → *устареть* → *устарелый* → *устарелость*) (с. 133). Семантические параметры мотивации могут быть весьма разнообразными, и нам кажется, что авторы «Русской грамматики» правы, когда пишут, что «исчерпывающее рассмотрение всех слов, имеющих более чем одну мотивацию, — задача словообразовательного словаря языка» (с. 135). В противоположность этому задача грамматики сводится к характеристике словообразовательных типов со стороны их мотивации. Словообразовательный формант как носитель словообразовательного значения должен обладать свойством повторяемости, хотя сама степень регулярности (а также и продуктивности) для разных словообразовательных типов может быть весьма разнообразной Как же сочетаются словообразовательные типы с другими формами распределения лексического состава языка по различным грамматическим группировкам и рядам?

В описательных грамматиках разных языков, в том числе и во многих нормативных грамматиках русского языка, словообразовательные типы указываются в связи с классификацией по частям речи, с большей или меньшей детализацией в зависимости от существующих в языке лексико-грамматических разрядов. Подобная форма подачи материала (хотя быть может излишне традиционная) дает возможность продемонстрировать взаимосвязи словообразовательных и словоизменительных процедур. Авторы рецензируемой грамматики пошли по иному пути и расположили материал по частям речи в н у т р и раздела книги, посвященного словообразованию, давая формальные и семантические характеристики мотивирующих слов и указывая общее значение словообразовательного типа и значения подтипов. Положительной стороной подобного расположения исследуемого материала является воссоздание очень полной и целостной картины словообразования в русском языке, однако достигнутая таким путем системность описания не компенсирует целого ряда потерь.

Основной теоретический вопрос, который возникает в этой связи, можно было бы сформулировать следующим образом: связаны ли типологически словообразовательные процедуры и та или иная их специфика с дистрибутивными классами и подклассами, проявляющими себя грамматически в построениях коммуникативно значимых моделей. Грамматическая, в том числе и морфологическая, система языка не может считаться лишь сеткой, наброшенной на словарный состав языка, так что какие-то группы лексем попадают в те или иные ячейки этой сетки. На смену бывшей в моде десятка два лет тому назад теории «уровневого» расслоения языка в мировой лингвистике все больше укрепляется убеждение о глубоких типологических связях между различными подразделениями единиц языка и, следовательно, взаимозависимостях различных классификационных группировок. Сами авторы «Русской грамматики» констатируют, что «грамматический строй (грамматика языка) представляет собой единство нескольких систем, каждая из которых объединяет в себе грамматические средства, близкие по характеру формальной организации и отвлеченных значений, по функциям в языке, а также по характеру отношений как друг к другу, так и к единицам других подсистем грамматики» (с. 8). Однако на деле это «единство нескольких систем» не показано, возможно, потому, что при подаче конкретного языкового материала внимание исследователей сосредоточено на формальной организации этого материла и на самих процедурах, используемых для этой организации. Этими критическими замечаниями мы никоим образом не хотим создать впечатления у читателей «Русской грамматики», что в ней отсутствует семантическая и функциональная трактовка материала языка. Но семантические характеристики даются по ходу

дела в «измельченном виде», и поэтому не представлена общая картина функционально-семантических основ грамматического строя языка.

Зато отдельные системы, отношения внутри этих систем и процедуры, в них используемые, освещены очень подробно. Следует выделить в этой связи раздел «Морфонологические явления в словообразовании» (с. 413—452), обычно отсутствующий в описательных грамматиках, в котором в сжатой и ясной форме исследованы морфонологические преобразования как основ мотивирующих слов, так и аффиксальных элементов словообразовательных рядов. Написанные с учетом последних достижений в этой сравнительно новой области языкознания, разделы книги, посвященные морфонологии, явятся стимулом для проведения дальнейших исследований не только на материале русского, но и других языков. Выполнили авторы «Русской грамматики» обещанное ими выделение продуктивных и непродуктивных моделей и элементов словообразования. Очень тщательно анализируются семантические контуры производных (мотивированных) слов, принадлежащих к различным частям речи, связи с мотивирующими словами, степень продуктивности, а для глаголов — характер управления. Указывается место ударения, чередования гласных и согласных фонем, отмечаются нерегулярные чередования (например, нерегулярное чередование в глаголах *пустить* — *пускать*, *воскликнуть* — *восклицать* — с. 352).

Обильный материал и большая степень детализации при исследовании отдельных типов словообразования неизбежно создают опасность превращения грамматики в грамматический справочник, но авторы умело выходят из затруднения, давая обобщающие разделы. Например, в §§ 964—975 систематизированы все словообразовательные значения глаголов, а также и средства выражения этих значений. Таким образом, хотя значения передаваемые при употреблении того или иного словообразовательного глагольного аффикса, отмечались и при описании отдельных типов, новой в указанных параграфах является сама отправная точка описания — от характеристики обобщенного значения к типам, передающим это значение. Такие же разделы-обобщения даны и при описании словообразования других частей речи.

Распределение слов по частям речи всегда было и остается одним из самых трудных и спорных вопросов общей грамматики. Авторы «Русской грамматики» считают, что слова группируются в части речи на основании того обобщенного значения, которое отвлечено от лексических и грамматических значений всех слов данного класса и на основании характерной для каждого класса совокупности грамматических категорий (с. 453).

Соглашаясь с авторами в том, что «в центре морфологии стоят части речи и характеризующие их морфологические категории, существующие в определенных системах форм...» (с. 453), читатель вправе поставить вопрос: как связаны (или как обусловлены) эти грамматические (морфологические) категории с тем обобщенным значением, которое присуще тому или иному классу слов, т. е. той или иной части речи. Такие обобщенные значения, как значение предмета и процессуального и непроцессуального признака, слишком абстрактны, чтобы оперировать ими как рабочими определениями. Они справедливы в целом, именно потому, что очень абстрактны, но вопрос в том, можно ли найти единое семантическое основание для объединения категориальных признаков той или иной части речи и ее грамматико-парадигматических модификаций. Видимо, недостаточно констатировать, что значение того или иного лексико-грамматического разряда допускает или не допускает оформление его членов определенной морфологической категорией, как, например, это наблюдается в случае ограничений в употреблении категории множественного числа в отношении существительных, лексическое значение которых препятствует оппозиции «единичность» — «множественность» (с. 472).

Семантическая характеристика лексико-грамматических разрядов внутри группировок по частям речи дана в «Русской грамматике» четко и выразительно — для всех знаменательных частей речи приведен большой и интересный материал. Думается, что можно принять общее определение лексико-грамматических разрядов слов, как таких подклассов той или иной части речи, которые «... обладают общим семантическим признаком, влияющим на способность слов выражать те или иные морфологические значения или вступать в противопоставления в пределах морфологических категорий» (с. 459). Примеры, иллюстрирующие это определение, даются в связи с описанием морфологических категорий, характерных для отдельных частей речи. Возможно, что анализ значений, присущих лексико-грамматическим подклассам, можно было бы подтвердить более наглядным образом, если бы авторы объединили эти два воплощения категориальных значений, т. е. значение отдельных лексико-грамматических разрядов и значения форм грамматических рядов, морфологически воплощающих грамматические значения падежа, числа, времени, наклонения и т. д. В этом случае было бы легче показать не только семантику, но и функциональную сторону форм лексико-грамматических разрядов.

Видимо, должны дифференцироваться грамматики теоретические, описательные, нормативно-предписывающие, а также грамматические труды общелингвистической направленности, однако богатство и многомерность материала грамматического строя русского языка неизбежно стимулируют грамматическую мысль и наталкивают на общетеоретические выводы. Хорошо известно, что русский язык обладает обширной и очень разветвленной парадигматикой. Представить ее в систематизированном и полном виде — задача очень сложная. Авторы «Русской грамматики» прекрасно справились с ней, и для словоизменительных классов — частей речи — по полноте материала и

его строгой систематизации рецензируемая грамматика не имеет себе равных. Особенно подробно дано изложение труднейшей части морфологии русского языка — морфологии глагола. Несмотря на значительное количество монографических исследований, посвященных отдельным видам глаголов и характерным для них категориям, многие вопросы остаются до конца не решенными, отчасти из-за двойственности самого исследуемого явления. К таким вопросам, например, относится категория залога.

Составители «Русской грамматики» справедливо относят залог к категориям смешанного типа (с. 456). Действительно, характер противопоставлений залоговых форм имеет своеобразную специфику, и осложненность парных противопоставлений не может быть целиком отнесена за счет «вмешательства» лексического уровня языка. Во многих случаях это осложнение приходится скорее отнести к области взаимодействия двух аспектов грамматического уровня языка — морфологии и синтаксиса. Поэтому для полноты характеристики залоговых значений приходится прибегать и к некоторым семантико-синтаксическим структурам (см. замечания о двучленных и трехчленных конструкциях в §§ 1465—1467). В разделах о способах глагольного действия (§§ 1413—1437) имеется некоторое повторение того материала, который был описан в связи с префиксальными и суффиксальными глаголами в разделах словообразования, однако это повторение оправдано тем, что в указанных параграфах к группам выделяемых глаголов авторы подходят уже с точки зрения передаваемых значений, а не со стороны морфемного строения глагольного слова. Полезен небольшой раздел (с. 641—646), посвященный взаимным связям морфологических категорий глагола. Хотелось бы, чтобы именно вопросы функционально-семантических возможностей различных грамматических группировок системы языка получили в «Русской грамматике» более полную трактовку, чем это мы находим в данной редакции книги.

Нельзя сказать, чтобы вопросы семантики были в книге забыты или обойдены: авторы «Русской грамматики» говорят о значении грамматических форм. В частности, очень полезно выделение центральных и периферийных значений, как, например, в случае разбора значений падежей, когда указано, что «...одни значения, наиболее весомые, главенствующие для данного падежа, являются центральными, основными, другие составляют семантическую периферию данного падежа» (с. 479). Последнее положение помогает понять, почему «отдельные значения у разных падежей могут сближаться или совпадать, но системы значений в целом, у разных падежей никогда не совпадают» (там же). Аналогичные соображения высказываются и при описании других морфологических категорий, воплощаемых в парадигматике знаменательных частей речи. Все же, обобщая впечатления, остающиеся после ознакомления с главами, посвященными морфологии, можно сказать, что авторы «Русской грамматики» больше уделили внимания грамматическим процедурам, чем функционально-семантической стороне результатов этих процедур.

Хорошо известно, что при описании грамматического строя любого языка исследователь стоит перед выбором: идти ли от «форм к значению» или от «значения (функции) к форме». В процессе речевой коммуникации эти две стороны языка слиты, хотя, разумеется, понимание содержания высказывания идет через опознание, восприятие языковой формы. В процессе научного анализа лингвист вправе выбирать то или иное направление, однако важно то, где и как расставить акценты, что выделить как самое главное и существенное в языке. Описание языковых форм и процедур их формирования дает возможность представить сложную, но упорядоченную систему, выдвижение на первый план функциональной значимости процессов, происходящих в языковой системе, может способствовать показу многообразных семантических связей отдельных категорий и отдельных участков структуры языка, выявить их глубинные основы.

Заканчивая рассмотрение первого тома «Русской грамматики», хочется остановиться еще на одном, может быть, частном вопросе. Указывая на комплексность частей речи, т. е. выделяя лексико-семантические разряды для знаменательных слов, и признавая как целое такую традиционно «пеструю» по составу категорию, как наречие, авторы «Русской грамматики» расчленяют класс местоимений и рассматривают самостоятельно только местоимение-существительное (с. 531—539). Разве нельзя было найти того, хотя бы и очень общего и обобщенного значения, которое объединяет все местоимения и местоименные слова? Их назначение, их дейктическое значение относится к тому, что можно назвать «производным» от их функций в языке, но по существу ведь все значимое для языка возникает благодаря функции элементов языка в процессе коммуникативной деятельности человека.

В «Русской грамматике» синтаксису посвящен второй том. Авторы указывают, что «...сфере синтаксиса специально принадлежат те языковые единицы, которые непосредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое с реальной действительностью...» (с. 5). По-видимому, такое понимание роли синтаксиса в языке обусловило внимание авторов к семантической стороне синтаксических моделей и к подробному анализу смысловых подчинительных связей в пределах словосочетания. Синтаксическими единицами считаются словосочетание, простое предложение и сложное предложение. Определяя словосочетание как синтаксическое объединение, состоящее из знаменательного и формы другого знаменательного слова, соединяемых на основе подчинительной связи, авторы анализируют словосочетания, исходя из лексико-грамматического характера подчиняющего слова. Такой подход следует

считать очень удачным потому, что он позволяет проследить дифференциацию общих и частных значений, отметить в отдельных случаях совместность приглагольных связей — сильных и слабых (с. 52—53), а главное — установить сходства и различия синтаксических потенций различных частей речи. В отличие от академической грамматики 1952 г. трактовке словосочетаний во втором томе «Русской грамматики» отведено сравнительно небольшое число страниц. Но все самое существенное, что характеризует этот раздел синтаксиса, дано так ярко и выразительно, что расширения этого раздела дополнительными примерами не требуется, тем более, что в известной мере положения и идеи, высказанные авторами в разделах о словосочетании, поддержаны материалом раздела «Синтаксис формы слова» (с. 422 — 460).

Центральное место в изложении синтаксиса занимает анализ простого предложения. В § 1890 формулируются те теоретические предпосылки, на которых основан дальнейший анализ синтаксических комплексов. Правильно отмечена сложность и взаимозависимость синтаксических единиц в реальности языковой коммуникации: «Минимальные единицы сообщения, которые вычленяются из потока речи и могут быть рассмотрены как единицы синтаксические, в реальной языковой действительности существуют, таким образом, не изолированно друг от друга, а как части более сложного языкового комплекса, связанные внутри этого комплекса определенными отношениями друг с другом» (с. 83). В целях возможности лингвистического анализа и определения простого предложения вводится понятие структурной схемы предложения, с той оговоркой, что структурная схема предложения и построенные на ее основе предложения заключают в себе несколько иерархически организованных языковых значений (с. 85). Следовательно, понятие структурной схемы предложения, не обедняя семантического анализа, позволяет дать обобщенное опеределение простого предложения как высказывания, «...в основе построения которого лежит отвлеченный грамматический образец. . ., специально предназначенный языком для построения отдельной относительно самостоятельной единицы сообщения» (там же). В дальнейшем изложении все типы и виды такой относительно самостоятельной единицы сообщения подвергаются детальному семантическому и структурному анализу.

В одной рецензии невозможно дать разбор всех интересных положений и решений, предлагаемых авторами «Русской грамматики» в разделах, посвященных синтаксическому строению языка. Хотелось бы отметить, однако, два момента. Очень хорошо, что везде, где только это возможно, подробно освещается интонационная сторона предложения, и, второе, что обращено достаточно внимания на порядок слов. Под влиянием распространенной идеи, согласно которой в языках флективного типа порядок слов, якобы, не столь уж важен, в описательных грамматиках русского языка перестали интересоваться этой важнейшей частью построения речевых образований. Отрадно видеть, что авторы «Русской грамматики» выделяют коммуникативную и структурно-семантическую роль порядка слов в языке.

Описание сложного предложения дано в книге с достаточной степенью полноты. Естественно, что синтаксические построения подобного рода тянут за собой отрезки речи большего объема, поэтому вопросы синтаксической организации текста (или некоторых отрезков текста), а также проблемы количественного порядка (объем предложения) были бы нелишними в части «Синтаксис», тем более, что в современной лингвистике уделяется много внимания вышеуказанным сторонам языковых образований.

Что же можно сказать в целом о «Русской грамматике»? В этом монументальном труде представлено полное и очень тщательное изложение богатства строевых и семантических возможностей русского языка. Обилие примеров и их анализ создают надежную основу для новых и интересных положений, высказанных ее авторами. Трудно было бы ожидать, чтобы все в подобном труде было «новаторским». Наоборот, использование богатого наследия русской лингвистической традиции и отдельных положений современной зарубежной лингвистики в сочетании с творческими идеями авторского коллектива служат залогом успеха «Русской грамматики» 1980 г. Критические замечания в нашей рецензии имеют дискуссионный характер. Каждый лингвист должен понимать всю трудность задачи, поставленной перед авторами «Русской грамматики», и все лингвисты должны быть им благодарны, что эту трудность они сумели преодолеть.

Ярцева В. Н.

Михайловская И. Г. **Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв. (Нормативный аспект).** — М.: Наука, 1980. 254 с.

Русская историческая лексикология отнюдь не бедна исследованиями, посвященными различным аспектам состава и функционирования лексики русского языка от древнейших времен до хронологических границ современности. Однако по мере того как развивается эта отрасль языкознания, по мере того как предлагаются ответы и решения, возникают новые вопросы, вырисовываются новые проблемы. С особой очевидностью стали обнаруживаться эти новые вопросы и проблемы в связи с обострившимся интересом к генетическому и функциональ-

ному статусу современного русского литературного языка, к особенностям формирования и развития русского литературного языка древнейшего периода. Само собой разумеется, что проблемы системных связей в лексике представляются в этом аспекте особенно интересными и актуальными.

Материалом исследования Н. Г. Михайловской послужили: цикл памятников, посвященных св. Борису и Глебу, Повесть временных лет, Хроника Георгия Амартола и Пчела. Этот языковой материал достаточно объемен (тем более с учетом списков), а главное — достаточно представителен как часть всего корпуса литературных текстов XI—XIV вв. Почерпнутые из названных памятников языковые факты вполне могут представить наиболее типичные черты системных связей в лексике русского книжно-письменного языка рассматриваемой эпохи.

Исследование системных связей слов автор монографии осуществляет в пределах тематических и лексико-семантических групп, исходя из того, «что состав тематической группы определяется кругом обозначений реалий и действий, относящихся в основном к социально-производственной стороне жизни, а состав лексико-семантических групп зависит от связей их компонентов на уровне отношений их значений. Несколько формализуя, можно сказать, что в первом случае исследователь идет от реалии к слову, а во втором — от слова к реалии, ибо изучение семантических отношений единиц дает представление о тождестве и различии обозначаемых ими явлений» (с. 126—127). В соответствии с распределением аспектов исследования лексики по двум названным группам книга Н. Г. Михайловской имеет две главы: I — «Лексическая вариантность в списках древнерусских памятников» и II — «Семантические и стилистические связи компонентов в лексико-семантических группах». В работе имеются также Введение и Заключение, кроме того, предлагаются вводные замечания и выводы в каждой из двух глав.

Обращение к сложным и малоразработанным проблемам русской исторической лексикологии потребовало от Н. Г. Михайловской постановки и решения многочисленных частных задач.

В первой главе автор монографии стремится определить характер контекстов, содержащих вариантность, установить семантическую взаимосвязь внутри тематических групп, выяснить идентичность вариантов по словообразовательным моделям, определить тождество и различие вариантов по грамматическим формам, охарактеризовать варианты по их локальной прикрепленности (общелитературное — диалектное), определить семантические и стилистические отношения парных вариантов, установить соответствие древнерусских вариантов греческим параллелям (в контекстах из переводных памятников), определить, насколько варианты старорусских списков отвечают древнерусскому словоупотреблению, на основе привлечения работ по старославянской лексической вариантности (Л. П. Жуковской, А. С. Львова, Е. М. Верещагина и др.) сопоставить лексическую вариантность в древнерусских памятниках с вариантностью в старославянских памятниках.

Во второй главе Н. Г. Михайловская выясняет, насколько велика семантическая общность членов одной группы и насколько существенны различия между ними, какие факторы определяли реализацию значения слова (сочетаемость, контекстуальная соотносимость с понятийно близкими словами, антонимичность в пределах контекста, содержание контекста и др.), существовала ли зависимость (и какая именно) между значением слова и его грамматической (и отчасти словообразовательной) формой, какие факторы, определяющие семантику слова, являются особо важными для одного грамматического класса, а какие — для другого, какой характер имеет жанрово-стилистическая дифференциация между словами-компонентами, какова степень употребительности компонентов, принадлежащих к одной лексико-семантической группе, с одной стороны, в языке оригинальных произведений, с другой — в языке переводных.

В краткой рецензии, конечно, нет возможности (да и нужды) рассматривать подробно, как решается каждая из поставленных задач в отдельности. Однако можно и должно сказать, что все названные задачи анализируются и решаются в книге, на все поставленные вопросы предлагаются аргументированные ответы, которые не вызывают принципиальных возражений.

Успешному решению поставленных Н. Г. Михайловской задач, несомненно, способствует правильный выбор исходных теоретических позиций. В частности, очень важно последовательное внимание к двум аспектам языка: аспекту системы (строя) и аспекту функционирования (употребления), «которые нередко пересекаются и как бы „накладываются“ один на другой...» (с. 12), но тем не менее не должны смешиваться и отождествляться. Особенно плодотворным для осуществления предпринятого Н. Г. Михайловской исследования оказывается постоянное внимание к функциональному аспекту лексики и столь же постоянное обращение к текстам и контекстам как явлениям языковой реальности, в которых единицы лексического яруса представлены не только в их «внутриярусных» парадигматических и синтагматических связях, но и в их отношениях к языковым единицам других ярусов, а также в их отношениях к соотносительным внеязыковым категориям. Совершенно правильно и принципиально важно суждение Н. Г. Михайловской, что «... в каждом тексте проявляются такие тенденции в языке, которые не существуют абстрактно, но находили свое выражение через практически претворенную речь людей далекого прошлого» (с. 124). Столь же важен для исследования и другой тезис: «В языке древнерусских памятников находили выражение не только мировоззренческие установки средневековья, но и реальные особенно-

сти общественного устройства» (с. 244).

Монография Н. Г. Михайловской относится к числу таких исследований, в которых явственно заметен решительный поворот от описания состава древнерусской лексики к анализу семантических и стилистических связей внутри тех или иных лексических групп и к анализу особенностей отбора и организации словесного материала в тех или иных типах текстов. Ценность разрабатываемого Н. Г. Михайловской аспекта исторической лексикологии проявляется, в частности, в его очевидной связи с общими проблемами истории русского литературного языка, понимаемой как историческая стилистика. Анализ системных связей в лексике древнерусских памятников различных типов может дать несравненно больше для суждений об истоках древнерусского литературного языка и его жанрово-стилевой дифференциации, чем традиционный анализ состава лексики древнерусских текстов. Исследование Н. Г. Михайловской построено на материале памятников, которые должны представлять древнерусский литературный язык, так сказать, «в целом». Но разрабатываемый в книге аспект историко-лексикологических разысканий может быть отлично применен для сравнения языка различных групп древнерусских текстов и для сопоставления языка древнерусских и церковнославянских памятников. Таким образом, предлагаемая Н. Г. Михайловской методика исследования является весьма перспективной.

Из многих интересных и важных для истории русского языка выводов и наблюдений, содержащихся в рецензируемой работе, отметим два: 1) «Весьма показательным является тот факт, что лексическая вариантность представлена почти исключительно общелитературными словами, не имеющими локальных ограничений» (с. 113) и 2) «В сопоставлении с вариантностью, отраженной в языке старославянских памятников, вариантность в древнерусском языке отличается бо́льшим лексическим разнообразием, лишь отчасти совпадая с той, которой характеризуются списки евангельских текстов» (с. 123).

Как и всякий научный труд, работа Н. Г. Михайловской может вызвать некоторые замечания, главным образом дискуссионного порядка. Из замечаний общего плана сделаем одно. Выше отмечалось как положительное качество рецензируемой книги постоянное внимание ее автора не только к аспекту системы (строя), но и к аспекту функционирования (употребления) в лингвистических исследованиях. Однако Н. Г. Михайловская не всегда внимательна к тому, что в языковедческих разысканиях речь может идти об употреблении языковых единиц и об употреблении языка, что далеко не одно и то же (о необходимости строгого различения этих соотношений писал, в частности, В. А. Аврорин [1]). Последовательное разграничение указанных соотношений представляется не безразличным для проводимого в монографии анализа тематических и лексико-семантических групп.

Другие замечания носят в основном частный характер. Хотя на с. 124 говорится о тех существенных ограничениях, которые накладывались на категорию индивидуальности в древнерусской литературе и древнерусском литературном языке, в монографии постоянно и без всяких оговорок говорится об индивидуальном словоупотреблении, стиле, индивидуальных чертах, индивидуальных языковых вкусах, индивидуальных языковых склонностях и т. п. Даже при самом нестрогом понимании индивидуальности вряд ли можно без серьезных доказательств толковать об «индивидуальности» языка древнерусских авторов или переводчиков.

Столь же свободно без всяких временных и функциональных ограничений, оперирует автор рецензируемой работы и термином «норма». Правда, это отражает господствующее в современной русистике представление, но все же: если норма была всегда и есть во всех разновидностях языка, то чем она отличается от узуса, с одной стороны, и от языковой системы — с другой?

На с. 235, обсуждая вопрос о том, определяет ли значение слова его сочетаемость, или, наоборот, сочетаемость первична по отношению к семантике, Н. Г. Михайловская «...присоединяется к тем исследователям, которые считают сочетаемость порождением семантики слова». А на с. 140 читаем: «У слова *земля* значение „народ, население" зависит в основном от семантики глаголов, используемых в контексте...». Не следует ли из заявления на с. 235, что сочетаемость слова *земля* с теми или иными глаголами порождается семантикой этого слова?

На с. 244 говорится: «Сравнение количественных данных употребления компонентов лексико-семантических групп в языке переводных и оригинальных текстов говорит о том, что наибольшее лексическое разнообразие проявляется в языке переводных памятников...». Нет оснований оспаривать этот вывод, однако вызывает сомнение утверждение, что «этот факт, по всей видимости, объясняется тем, что переводчик в Древней Руси был более свободен в выборе языковых средств, чем непосредственный создатель оригинального текста». Вряд ли лексический состав тех или иных памятников определялся главным образом субъективными факторами. Надо полагать, решающее значение имели все же факторы объективные.

На с. 169 о слове *языкъ* говорится: «Значение „народ" при его соотнесенности с названием конкретной народности, национальности, племени сближается со значением „язык, наречие"». Приведенные примеры показывают, что слово *языкъ* в них не сближается со значением «средство общения, наречие», а просто имеет такое значение. Примеры подобных неточностей не единичны, но они, очевидно, в той или иной степени неизбежны в работах, подобных рецензируемой.

В целом монография Н. Г Михайлов-

ской представляет собой серьезное, вполне завершенное в пределах поставленных проблем, написанное хорошим литературным языком, логичное по композиции научное исследование. Нет сомнения, что оно будет способствовать дальнейшей углубленной и новой по методике разработке проблем истории русского литературного языка старшего периода и русской исторической лексикологии, а также будет полезно для лексикографической работы. Наблюдения и выводы Н. Г. Михайловской могут быть использованы и в практике вузовского преподавания истории русского языка.

Горшков А. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аврорин В. А.* Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975, с. 29, 33.

Федоров А. И. **Сибирская диалектная фразеология.** Отв. ред. Тимофеев К. А.—Новосибирск: Наука, 1980. 192 с.

Бурный рост фразеологии как самостоятельной дисциплины, характерный для последних трех десятилетий, привел к специализации аспектов исследования фразеологических единиц (ФЕ). Один из них — анализ диалектных ФЕ — приобретает сейчас особое значение потому, что он имеет широкий выход в проблематику историко-этимологического, сопоставительного и лингвогеографического изучения фразеологии. До недавнего времени, однако, диалектная фразеология оставалась лингвистической «золушкой»: не случайно Б. А. Ларин избрал для своего основополагающего доклада на данную тему в 1959 г. афористичный эпиграф, характеризующий состояние исследований в данной области,— «Як би у мене було пшоно та сіль, то я б зварив кашу,— та жаль, що немає сала!» [1].

Трудами многих советских диалектологов положение сейчас значительно улучшилось. Изданы диалектные фразеологические словари [2, 3] [1], защищено около десяти кандидатских диссертаций по данной проблематике (Б. Ф. Захаров, М. В. Орел, Н. К. Пахотина, К. Н. Прокошева, Л. А. Бутарева и др.), написано более 300 статей [2]. Монография А. И. Федорова, в которой обобщаются некоторые результаты этих трудов, является важной вехой в исследовании русской диалектной фразеологии. В четырех главах этой книги ставятся и во многом решаются важные проблемы теории и практики анализа диалектных ФЕ.

В первой главе рассматривается место фразеологии среди значимых единиц в русском языке и его диалектах. Роль слова и ФЕ в номинативном процессе, разграничение свободных сочетаний и ФЕ в диалектах, отношение последних к другим типам устойчивых сочетаний — вот круг вопросов, которые получили здесь широкое освещение.

Вторая глава посвящена характерным признакам диалектной фразеологии. Упор делается на выявлении специфики фразеологического значения. Учет этой специфики служит основой для классификации ФЕ в зависимости от их функций в предложении.

В третьей главе анализируется сложная проблематика фразеологической вариантности и фразеологической синонимии. Автор полемически решает проблему синонимии вообще и фразеологической синонимии в частности, определяет свое понятие «диалектная фразеологическая синонимия», выявляет синонимические отношения диалектных и общерусских фразеологизмов и касается некоторых вопросов определения и классификации фразеологических вариантов.

Четвертая глава содержит ценные наблюдения о процессах становления сибирской диалектной фразеологии, о ее употреблении и архаизации. А. И. Федоров особо останавливается на фразеологизации речевых метафор, сравнительных конструкциях и тавтологических словосочетаниях. В нескольких словах им оценивается и современное состояние диалектной фразеологии. В Заключении подводятся итоги конкретного анализа. Ценным источником для будущего исследования фразеологии и паремиологии Сибири является Приложение (с. 177—189) — словарик сибирских пословиц и поговорок, записанных автором в 1963—1977 гг. в диалектологических экспедициях.

Опытный диалектолог и фразеолог, А. И. Федоров справедливо подчеркивает принципиальное различие между функционированием региональной лексики и региональной фразеологии уже на первом, «собирательском» этапе. Если диалектная лексика фиксируется легко, «массированно», то диалектная фразеология употребляется в особых ситуациях речевого общения и потому ее фиксация требует особой подготовки и особого искусства.

Не меньшие трудности характерны для описания и интерпретации зафик-

[1] Материалы для региональных словарей ФЕ содержатся также в книге [4] и др.

[2] Во Введении к рецензируемой монографии А. И. Федоров, правда, пишет, что «из семи тысяч статей и монографий по фразеологии диалектной фразеологии посвящено лишь около двадцати работ» (с. 3). Эта статистика — видимая опечатка, ибо лишь перу самого А. И. Федорова принадлежит более 20 публикаций по русской диалектной фразеологии.

сированных в полевых условиях диалектных ФЕ. Что считать диалектной ФЕ? Где граница между диалектизмом и общенародным, разговорным или просторечным фразеологизмом? Какие сочетания, записанные в говоре, следует считать устойчивыми, фразеологическими, а какие — свежими и индивидуально-речевыми метафорами, сравнениями или перифразами? Объективно и осторожно констатируя сложность ответа на эти вопросы, А. И. Федоров предлагает следующие основные критерии разграничения диалектных ФЕ как языковых единиц и свободных словосочетаний с переносным значением: 1) регулярность употребления при относительно постоянном окружении ФЕ и окказиональный ситуативно-речевой характер употребления свободных сочетаний; 2) этимологический элемент содержания диалектных ФЕ, их внутренняя форма, отражающая часто повторяющиеся явления, факты жизни, быта, обычаи, привычки; 3) варьируемость диалектных ФЕ в компонентном составе одного или нескольких говоров; 4) архаичность фразеологических диалектизмов в структурно-синтаксическом и компонентном отношениях (с. 26—27). С учетом этих критериев диалектная ФЕ определяется в книге как «... относительно целостное словосочетание со сложной семантической структурой, единица, обладающая устойчивостью компонентов и модели их сочетаемости, что обеспечивает ей не разовое, а повторяющееся употребление в системе одного или нескольких говоров, и выполняющая в речи экспрессивно-оценочную функцию» (с. 16, 42).

Эту дефиницию, так же как и критерии выделения диалектных ФЕ в целом, можно признать приемлемыми и объективными. Особо важно здесь подчеркивание экспрессивно-оценочной заряженности ФЕ, которая является несомненной семантической спецификой данной единицы языка. Заостряя этот момент во многих местах книги (с. 42—43, 112 и др.), А. И. Федоров справедливо объясняет его решительным перевесом коннотативных элементов фразеологической семантики над номинативными (с. 13—20, 129 и др.). Именно в этом заключается и идеографическая специфика фразеологии. Не случайно, по верным наблюдениям автора, абсолютное большинство ФЕ употребляется в диалектной речи для характеристики различных качеств, признаков, действий и состояний человека: число таких единиц — 95% от всего количества устойчивых оборотов (с. 112). Этим же фактом можно объяснить, как кажется, и заметное преобладание негативно-оценочных ФЕ над позитивно-оценочными.

При конкретном описании материала, правда, эти четкие критерии выделения ФЕ иногда нарушаются самим автором рецензируемой монографии. В корпус диалектной фразеологии им включается целый ряд единиц, семантика которых не обладает экспрессивностью, оценочностью и коннотативностью фразеологического типа. Так, здесь приводится составные термины и номенклатуры типа *бака мячевая* «гриб-трут на деревьях», *белка боровая* «белка, обитающая в смешанном лесу», *белая грыжа* «женская болезнь — бели», *барнаульские пимы* «праздничные, украшенные узором валенки» и т. п. Теоретически А. И. Федоров также справедливо отсекает пословицы от фразеологического корпуса, поскольку воспроизводимость пословиц и воспроизводимость ФЕ — различного типа (с. 40—41). На практике, однако, он иногда описывает пословицы как ФЕ: *Свой ум—царь в голове*, *Где плохо лежит—брюхо болит* (с. 108). Показательно, тем не менее, что именно четкие критерии определения фразеологии, выработанные А. И. Федоровым, и позволяют объективно идентифицировать диалектные ФЕ и отсеять нефразеологические.

А. И. Федорову несомненно удалось выполнить поставленную задачу — показать сибирскую фразеологию во всем ее семантическом многоцветии, дать ее функционально-семантическую классификацию и выявить некоторые закономерности ее образования. Это удалось потому, что автор использует огромный фактический материал, который существенно пополнился со времени выхода в свет его (в соавторстве с Н. Т. Бухаревой) словаря сибирской фразеологии [3]. Этот материал насчитывает 6 тыс. ФЕ, занесенных на 12 тыс. карточек, причем большая часть материала, описанная в книге, вводится в научный оборот впервые.

Проблема классификации такого огромного материала, конечно, нелегка. При своей классификации автор исходит из самого главного — из семантики ФЕ. Ведущим принципом поэтому являются семантико-тематический (с. 60) или функционально-семантический (с. 48), которые дают возможность учесть множество коннотативных характеристик сибирской диалектной фразеологии. В то же время структурно-грамматическая семантика является общим дифференциалом, который отслаивает один семантический ряд ФЕ от другого. Так, внутри глагольных ФЕ выделяются такие ряды, как «ФЕ, характеризующие действия, движения человека, способы передвижения», «ФЕ, характеризующие трудовые действия, их результаты, процессы и отношение к ним», «ФЕ, характеризующие действия, связанные с обрядами, обычаями, играми, с народным этикетом» и др. (с. 59—86).

Такая комбинация структурно-грамматических и тематико-семантических принципов, действительно, помогает классификационно организовать разнообразный фактический материал. Связь структурной и семантической моделей во фразеологии — органична и конструктивна. Поэтому неожиданным и противоречивым кажется утверждение А. И. Федорова, что «между структурным типом фразеологической единицы и ее семантикой и функцией в предложении нельзя найти закономерных соответствий» (с. 112). Ведь то, что их найти можно, доказал практическим анализом сам автор книги. Показательно, например, семантическое различие фразеологии, соот

носительной с именами существительными, и глагольной фразеологии: если первая характеризует, как правило, людей, животных, предметы или явления окружающего мира по какому-либо признаку, свойству, то вторая — по способу, результату или процессу деятельности.

В книге А. И. Федорова немало удачных интерпретаций отдельных проблем, связанных с диалектной и общей фразеологией. К ним относится объяснение механизма архаизации ФЕ, с дифференцированием архаизации слов и архаизации ФЕ; обоснование важности внутренней формы для функционирования ФЕ в народных говорах; учет экстралингвистических факторов, обусловливающих семантическую специфичность ФЕ; описание истории отдельных ФЕ, например, в *котах ходит* (*щеголяет*); *в сапогах ходит* (что означает «очень дорого и о товаре)» (с. 24—25) и др. Автор не боится постановки самых острых вопросов, которые стремится объективно разрешить. Так, он успешно полемизирует с А. И. Молотковым, который трактовал фразеологическое значение как лексическое, и доказывает особый коннотативный характер семантики ФЕ (с. 15); подвергает сомнению тезис Л. И. Ройзензона о том, что релевантным признаком сравнений-ФЕ является воспроизводимость, выдвигая на передний план фигуральность, идиоматичность их значения (с. 165—166); опровергает широкое понимание синонимического ряда, предложенное В. И. Кодуховым (с. 121). Острая постановка некоторых вопросов самим автором монографии несомненно вызовет плодотворную лингвистическую полемику.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, решаемых А. И. Федоровым, является, как кажется, его абстрактно-логическая интерпретация синонимии. На с. 115 автор полемизирует с традиционным определением синонима, которое предлагает А. П. Евгеньева. «Синонимами следует считать слова,— пишет А. П. Евгеньева,— обозначающие одно и то же понятие, тождественные или близкие по значению слова, которые определенным образом соотнесены в данное время в языке и служат детализации и различению тонких смысловых оттенков понятия или выражению экспрессивных, стилистических, жанровых и иных различий» [5]. А. И. Федорову кажется непоследовательным видеть в синонимии при общности обозначения одного и того же понятия «тождественные или близкие по значению слова». Поэтому он предлагает считать синонимами лишь «...такие слова, которые, указывая на общий денотат, имеют одинаковое сигнификативное значение, отражающее одну и ту же мысль (понятие, представление)» (с. 121). Термин «сигнификативное значение», употребленный в этой дефиниции А. И. Федоровым, имеет здесь предельно суженную семантику — какой бы степени обобщенности она ни была, ибо «... денотат синонимичного знака указывает на класс обозначаемых предметов; сигнификат — на общие признаки их, отраженные в сознании человека» (с. 121). Следовательно, сигнификативное значение — это значение, отражающее лишь один понятийный признак и не допускающее никаких видовых или классификационных вариаций обозначения понятия. Такое сужение термина «синоним» (переносимое им и на фразеологическую сферу) ведет к тому, что даже таким традиционным «классическим» синонимам, как *лингвистика*, *языкознание* и *языковедение* он отказывает в синонимическом статусе, учитывая несколько сдвинутую семантическую «перспективу их употребления» (с. 123—124). Вряд ли подобную оригинальную трактовку синонимии следует признать правильной.

Традиция употребления термина «синоним» показывает, что единственно удовлетворительный критерий определения синонимии — это совпадение в обозначении, что отражено и в буквальном значении греко-латинского по происхождению слова *синоним*. Отступление от этой древней традиции у А. И. Федорова приводит к отрицанию самого понятия синонимии, столь важного для постижения семантических свойств языковой системы.

Фразеологическая синонимия в этом отношении — не исключение. Дискуссии здесь кажутся продуктивными лишь тогда, когда они способствуют уточнению границ или сфер распространения фразеологических синонимов и конкретизируют возможные способы синонимической группировки материала, но не в том случае, если в результате их отрицается существование фразеологических синонимов вообще на том лишь основании, что между ними существуют семантические различия какого-либо рода. Семантическая дифференцированность синонимов вообще и фразеологических синонимов в частности — вполне естественное явление, ибо абсолютно тождественных знаков, т. е. синонимов «в чистом виде» в языке, как правило, не бывает, поскольку это противоречит прагматической (в широком смысле слова) функции языка. При таких различиях, однако, в лексической и фразеологической системах всегда выделяются компактные блоки лексем и фразем, объединенных общностью (гораздо реже тождественностью) отношения к денотату.

Узко сигнификативный подход к фразеологической синонимии кажется неправомерным потому, что он строится на ложной посылке о гомогенности синонимии как лингвистического явления. Опыт изучения диалектной лексики и фразеологии показывает, однако, что синонимия в принципе гетерогенна, и потому при ее исследовании можно говорить лишь о ее разных масштабах — например, о синонимии в пределах литературного языка, о синонимии литературной, просторечной и разговорных сфер употребления, о междиалектной и даже межъязыковой синонимии [см. 6]. Разумеется, в каждом таком случае речь идет о синонимии различного семантического объема, но тем не менее описываемый при этом материал будет

удовлетворять основному требованию понятия синонима — равнозначности.

Следует отметить, что в практическом анализе сибирского материала А. И. Федоров сам нарушает свои теоретические установки и приближается к традиционному пониманию фразеологической синонимии. От этого диалектная фразеология только выигрывает, ибо именно отказ от принципа сигнификативной тождественности фразеологических синонимов приводит автора к конструированию полноценных синонимических рядов, элементы которых отличаются и внутренней формой, и экспрессивной тональностью и структурой. Ср., например, ряд «говорить вздор, пустословить, попусту болтать»: *ватлать языком*; *веревки скать* (*вить*); *колоколить без пути*; *лясалки точить*; *ляскать* (*брякать*, *тренькать*) *языком*; *трепать языком как боталом*; *околесицу плести*; *плести несвойску*; *разговоры размузыкивать*; *огород городить*; *собирать* (*молотить*, *нести*, *болтать*, *боронить*, *плести*) *вокруг головы да в пазуху*; *болтки болтать*; *бузу пороть* (с. 138).

К методологическим недочетам рецензируемой работы относится также явная переоценка сибирской специфики анализируемых ФЕ в лингвогеографической проекции: «Сибирский крестьянин, таежный охотник, рыбак и т. п. обладают другой системой слуховых и зрительных представлений по сравнению с жителями крупных городов и населенных пунктов Европейской России. А это должно найти свое отражение в семантике диалектных значимых единиц» (с. 10). Естественно, что определенная диалектная специфика в отражении действительности в речи сибиряков имеется. Однако придавать ей статус «другой системы слуховых и зрительных представлений», как нам кажется, ошибочно: это в основном та же система общерусской народной речи.

В книге же к чисто сибирским диалектизмам относятся многие обороты, которые широко известны и за пределами сибирского ареала: *катить бочку на кого-нибудь* (с. 13); *ни с виру, ни с болота* (с. 14); *ботало осиновое* (с. 17); *прожить век за холщовый мех* (с. 162); *по-за лонилони* (с. 162), *на кулак слезы мотать* (с. 163) и др. Показательно, что для некоторых из перечисленных диалектных ФЕ «несибирский» ареальный статус бесспорно доказан. Так, ФЕ *ни с виру, ни с болота* не только ареально описывается, но и этимологически интерпретируется Л. А. Ившако: эта ФЕ зафиксирована по ее материалам, в псковских, смоленских говорах и в белорусском языке [7]. Видимо, переоценка А. И. Федоровым узкосибирской специфики описанного материала обусловлена тем, что в его монографии ареальный и лингвогеографический аспект изучения диалектной фразеологии не получил освещения. Этот аспект пока вообще, к сожалению, остается наименее разработанным. При этом именно ареальный подход к диалектной фразеологии поможет решить многие вопросы сравнительно-исторического изучения фразеологических систем разных языков.

В книге А. И. Федорова, естественно, не могли найти отражения все возможные аспекты исследования диалектной фразеологии Сибири. Те же аспекты, которые связаны с основными особенностями ФЕ,— и прежде всего семантическая специфика этих единиц,— получили здесь всестороннее освещение. Эта книга, насыщенная свежим материалом и полемически заостренными идеями, не только подводит некоторые итоги исследования диалектной фразеологии в нашей стране, но и открывает новые перспективы ее изучения.

Мокиенко В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ларин Б. А.* О народной фразеологии.— В кн.: *Ларин Б. А.* История русского языка и общее языкознание. М., 1977, с. 149.
2. *Прокошева К. П.* Материалы для фразеологического словаря говоров северного Прикамья. Пермь, 1972.
3. Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири. Сост. Бухарева Н. Т., Федоров А. И. Под ред. Филина Ф. П. Новосибирск, 1972.
4. Вопросы фразеологии. Вып. VI. Самарканд, 1972.
5. *Евгеньева А. П.* Основные вопросы лексической синонимики.— В кн.: Очерки по синонимике современного русского литературного языка. М.— Л., 1966, с. 29.
6. *Мокиенко В. М.*— ВЯ, 1980, № 4.— Рец. на кн.: *Коготкова Т. С.* Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). М.: Наука, 1979, 336 с.
7. *Ивашко Л. А.* Заметки по диалектной фразеологии.— В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1969, с. 257.

Булахов М. Г. **Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность.** — Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1981. 272 с.

В январе 1981 г. научная общественность широко отмечала 120-летие со дня рождения выдающегося ученого, филолога-слависта акад. Евфимия Федоровича Карского. Многие журналы поместили статьи о жизни и деятельности Е. Ф. Карского, в Минске состоялось торжественное юбилейное заседание Отделения общественных наук АН БССР, на котором были заслушаны доклады о жизни и творчестве, о значении наследия ученого. К этой же дате приурочена и книга М. Г. Булахова.

Небольшая по формату, тщательно и

любовно оформленная, книга предназначена для широкого круга читателей, но в первую очередь для лингвистов, филологов, славистов широкого профиля.

Предваряет книгу слово «К читателям» акад. В. И. Борковского, в котором, в частности, говорится: «В книге М. Г. Булахова читатель найдет высокую и в то же время объективную оценку всего того, что сделано академиком Е. Ф. Карским, ученым исключительного таланта и поразительной трудоспособности».

Автор ставит целью познакомить читателей с важнейшими этапами творческого пути Е. Ф. Карского, показать, как формировалась концепция ученого, какое значение имели его исследования в области славяноведения вообще и белорусистики в частности.

Вся жизнь этого необыкновенного человека — самоотверженный труд, и глава «Жизненный путь Е. Ф. Карского» знакомит с основными вехами научной, педагогической, организаторской, редакторской, общественной деятельности ученого. Сын учителя, получив, начальное образование в Ятранском народном училище Новогрудского уезда, среднее — в Минской семинарии, высшее — в Нежинском историко-филологическом институте (1881—1885 гг.), Карский уже в студенческие годы проявил незаурядные способности и склонность к научной работе, что поддержали и чему в большой степени способствовали институтские учителя-филологи — известный русский языковед проф. Р. Ф. Брандт и историк древнерусской литературы проф. М. И. Соколов.

Первые научные работы Карского опубликованы в годы студенчества, и уже тогда он проявляет интерес к фольклору, публикует записи белорусских песен и приступает к исследованию белорусского языка, итогом которого явилась книга «Обзор звуков и форм белорусской речи» (М., 1886).

В течение 1885—1893 гг. Е. Ф. Карский преподает русский и старославянский языки, а также русскую литературу во второй Виленской гимназии, в эти годы он подготовил учебное пособие «Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским» (Вильно, 1888), которое выдержало 19 изданий.

В 1891 г. Карский успешно сдал магистерский экзамен на историко-филологическом факультете Варшавского университета, а в 1893 г. был назначен преподавателем русского языка в этом учебном заведении. Он продолжает работу над изучением белорусского языка и издает исследование «К истории звуков и форм белорусской речи» (РФВ, 1890—1893). За научные труды совет Киевского университета в 1893 г. присудил ему ученую степень магистра русского языка и словесности. В этот же год Карский был назначен преподавателем, а затем доцентом кафедры церковнославянского и русского языка историко-филологического факультета. В 1896 г. за подготовку и издание «Западно-русских переводов псалтыри в XV—XVII веках» совет Московского университета присудил Карскому степень доктора филологии. С 1897 г. Карский — ординарный проф. Варшавского университета. В 1898 г. он избран чл.-корр. Общества любителей древней письменности.

В последующие годы разносторонние научные интересы и занятия Карского — изучение письменных источников, история славянских языков и палеографии, неослабевающее внимание уделяет он изучению народных говоров, проверяя точность прежних этнографических и филологических записей, собирая материалы по фонетике, грамматическому строю и словарному составу белорусских говоров, а в 1899 г. произносит блестящую речь «О влиянии поэтической деятельности А. С. Пушкина на развитие русского литературного языка» на торжественном акте Варшавского университета.

В 1901 г. Е. Ф. Карский был избран чл.-корр. по Отделению русского языка и словесности Российской Академии наук; с 1905 г. назначен редактором крупнейшего филологического органа — журнала «Русский филологический вестник», с 1905 по 1910 гг. — он выборный ректор Варшавского университета.

Результатом огромной работы в диалектологических экспедициях, изучения истории, этнографии, устного народного творчества и литературного творчества белорусов, глубокого анализа языковых явлений стал фундаментальный многотомный труд «Белорусы» (I т. — Варшава, 1903 г.; 1-я 2-я, 3-я части II тома соответственно в 1906 г., 1911 гг., 1912 г.; т. III — М., 1916 г.). Это исследование — крупнейшее научное событие в отечественной филологии первой четверти XX в. Признанием заслуг ученого явилось избрание его в 1916 г. ординарным академиком Российской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Вскоре после этого Карский переехал в Петроград.

Последний период жизни ученого насыщен разносторонней деятельностью. «Он был членом Правления и Президиума Академии наук, директором Музея антропологии и этнографии, председателем Словарной комиссии, Комиссии по русскому языку, членом комиссии „Наука и научные работники“, редактором журналов „Известия ОРЯС“, „Известия по РЯС“ Академии наук, членом Редакционно-издательского совета, сотрудником Научно-исследовательского института при Петроградском-Ленинградском университете, профессором филологического факультета этого университета, председателем комиссии по открытию в Минске Белорусского государственного университета. В советский период Карский много сделал для установления научных связей с зарубежными учеными-славистами». И наряду со всеми этими обязанностями и занятиями Карский не прерывал плодотворной научно-исследовательской работы, публикуя оригинальные исследования и статьи по вопросам филологии.

В 1925 г. Е. Ф. Карский был избран почетным членом Общества любителей российской словесности, в 1927 г. — почетным членом Общества письменности

и искусства в Ленинграде, в 1929 г.— членом (академиком) Чешской академии наук. 29 апреля 1931 г. Евфимий Федорович скончался.

Вот лишь пунктиром намеченные вехи, даты жизни, за которыми — самоотверженный труд, благородная преданность и любовь к науке, честность и принципиальность в решении научных проблем, неуклонный рост ученого, преданность своему народу. Все это удалось показать М. Г. Булахову в книге о выдающемся филологе-слависте.

В небольшой по объему рецензии трудно отметить и осветить столь полно, как это сделано в книге, заслуги Е. Ф. Карского в различных областях филологической науки.

В главе «Е. Ф. Карский как языковед-славист» отмечается, что Карский занимался как традиционными вопросами славяноведения, так и совершенно новыми аспектами этой комплексной науки. При этом он изучал старославянские письменные памятники в лингвистическом и палеографическом отношении, и среди них, например, «Надпись Самуила 993 г.»; «Листы Ундольского, отрывок кирилловского евангелия XI века...»; «Мстиславово евангелие»; создал учебное пособие, в котором факты старославянского языка сопоставляются с определенными явлениями дренерусского и современного русского языка («Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским»); специальные работы посвятил исследованию отдельных грамматических явлений; постоянно вел критико-библиографическое обозрение славистических трудов.

В главе «Е. Ф. Карский как славист-палеограф» дана характеристика трудов и оценка вклада Карского в развитие палеографии. Исследованиями в этой области Евфимий Федорович занимался с 90-х гг. XIX в. до конца 20-х гг. нашего века, решая как частные вопросы этой науки, так и общие проблемы развития славянской письменности, истории славянских языков и литератур. Важным этапом работы Карского в области палеографии явился выход в свет монографии «Очерк славянской кирилловской палеографии...» (Варшава, 1901), отвечавшей и научным и учебным целям, превосходившей все ранее вышедшие пособия и труды по палеографическим проблемам. В этот же период выходит работа Е. Ф. Карского «Образцы славянского кирилловского письма с X по XVIII век» (Варшава, 1901, 2-е изд.— 1902). Актуальность работ Карского в области палеографии сохранилась и до нашего времени; в 1979 г. была переиздана «Славянская кирилловская палеография» (1-е изд.— Л., 1928), сразу же ставшая библиографической редкостью.

В главе «Исследования Е. Ф. Карского по русскому языку» подчеркивается, что на протяжении всей жизни ученого русский язык был предметом преподавания и предметом всестороннего научного изучения, а частности, и со стороны истории русской лексики, и морфологии, и исторической ономастики и т. д. Книга «История русского языка. Лекции, читанные в 1912/13 акад. году студентам имп. Варшавского университета...» (Варшава, 1913 г.) явилась систематизированным изложением исторической фонетики и грамматики русского языка.

Наблюдения, анализ фактов и выводы в области исторического синтаксиса русского языка, представленные в ряде работ Карского, широко используются и современными исследователями исторического синтаксиса русского языка и сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков.

Велика заслуга Карского в том, что он один из первых заинтересовался языком Пушкина и подошел к решению важных проблем пушкиноведения; изучал язык и стиль, синтаксический строй произведений Н. В. Гоголя; дал анализ новаторской деятельности М. В. Ломоносова, что нашло отражение в речи «Значение М. В. Ломоносова в развитии русского литературного языка» (1911 г., опубликовано в Варшаве в 1912 г.). Много времени и сил отдал Е. Ф. Карский изучению диалектов русского языка и проблем диалектологии. Наиболее крупный труд его в этой области — «Русская диалектология. Очерк литературного русского произношения и народной речи великорусской (южновеликорусских и северновеликорусских говоров), белорусской и малорусской (украинского языка)» (Л., 1924). Ценным вкладом в историю науки о русском языке явились работы Карского о лингвистической деятельности ученых и научных коллективов, и среди них «Очерк научной разработки русского языка в пределах СССР» (Сб. ОРЯС, 101, № 1. Л., 1926).

В главе «Вопросы украинского языкознания в трудах Е. Ф. Карского» отмечается, что вопросы украинистики занимают важное место в общей лингвистической концепции ученого. Карский исследует малоизученные письменные памятники, освещающие историю украинского языка (например, «Малорусский Луцидарий по рукописи XVII в. Текст, состав памятника и язык», Варшава, 1905); анализирует отдельные явления фонетики, лексики, грамматики украинских говоров, соседних с белорусскими и русскими; изучает историческое взаимодействие восточнославянских языков и взаимоотношения их в настоящее время.

Последняя самая большая глава «Е. Ф. Карский — основатель белорусского языкознания» посвящена характеристике ценнейшего наследия ученого по белоруристике. Справедлива оценка М. Г. Булахова, отметившего, что Карскому «выпала завидная доля основателя всех отраслей белорусской филологии, в том числе и белорусского языкознания нового времени. Е. Ф. Карскому принадлежит огромная заслуга в изучении как старобелорусского языка, так и современного белорусского народного языка во всем многообразии его говоров» (с. 171).

В книге М. Г. Булахова дан список литературы об акад Е. Ф. Карском и биб-

лиография основных его филологических трудов.

М. Г. Булахов проделал огромную работу по изучению и осмыслению наследия Карского. Он сумел в четкой и сжатой форме изложить основные принципы и положения ученого, показать неувядающую силу и актуальность его трудов, столь богатых тщательно отобранным достоверным фактографическим материалом, принципиальную позицию ученого, и, что особенно хочется подчеркнуть, дать оценку творчества Е. Ф. Карского с позиций современной науки. М. Г. Булахов нашел форм и стиль изложения, благодаря которым даже сложные и специальные вопросы становятся понятны любому заинтересованному читателю.

Книга написана с большим уважением к титаническому труду ученого, с гордостью за славного сына белорусского народа. Хочется от души поблагодарить ее автора — М. Г. Булахова,— который так много уже сделал и продолжает успешно трудиться в области истории науки.

Морозова С. Е.

Eckert R. **Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen,** (Systemfragmente aus der Terminologie der Waldimkerei). —**Berbin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1981.** 159 S. (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte 81).

Можно с полной уверенностью сказать, что эта сравнительно небольшая монография вызовет живой интерес со стороны всех славистов, балтистов и индоевропеистов, работающих в области исторической лексикологии. Для этого достаточно оснований. Прежде всего, очень притягателен объект исследования — бортническая терминология, т. е. древнейший лексический пласт, связанный с одной из самых ранних отраслей хозяйственной деятельности. Априори очевидна вероятность обнаружения здесь архаизмов различных уровней, и автор базирует свою работу на их анализе. Он ведется параллельно на славянском и балтийском материале, и это еще один важный аспект исследования — привлечение архаичной бортнической терминологии к освещению балто-славянской проблематики. Далее, в центре внимания находятся фразеологизмы, так что предметом анализа являются собственно соотносительные архаичные минимальные тексты в славянских и балтийских языках, и на этом материале освещаются теоретические вопросы балто-славянской фразеологии. Наконец, интерес к работе возрастает в связи с тем, что ее автор хорошо известен глубокими и разносторонними исследованиями по истории славянских и балтийских языков, и настоящая монография представляет собою их закономерное продолжение и развитие.

Непосредственным объектом изучения являются две группы балто-славянских соответствий в бортнической терминологии: 1) термины, содержащие глагол со значением «лезть», слав. **laziti*, литов. *kõpti*, лтш. *kāpt*) в качестве структурного компонента (т. е. фразеологизмы типа слав. **laziti medъ* «вынимать мед», литов. *kõpti medų* «кто же») или образованные от этого глагола (типа слав. **lazьba* «выемка меда», лтш. *kapšana* «то же»); 2) термины, содержащие глагол гнезда и.-е. **dhē-* (лтш. *dēt*, слав. **děti*) или его производные в качестве структурного компонента (фразеологизмы типа польск. *dziać barć* «устраивать борть», лтш. *dēt dori* «то же») или являющиеся производными от основы этого глагола (типа слав. **děľь* «борть», лтш. *dējējs* «кто выдалбливает борть, улей»). Ограничение объекта исследования этими двумя группами восполняется чрезвычайной тщательностью, с которой собран и проанализирован соответствующий материал. Р. Эккерт использовал диалектные, исторические, этнографические, фольклорные источники, так что работа демонстрирует почти исчерпывающий материал, дополнения к которому могут быть лишь единичными и не принципиальными (например, нелишним было бы в работе польск. *rozdiewać bory bartne* «увеличивать количество бортей на лесной делянке» [1], которое является производным от типа «aushölen» + «Baum», представленного польским *dziać drzewo*, см. с. 119, но могло бы быть использовано как пример особой, хотя и поздней, конструкции). Полнота материала явилась надежным основанием для включения в рассматриваемые этимологические гнезда некоторых лексем, ранее от них отделявшихся (например, польск *leżaja*, русск. диал. *лежея*, белорусск. диал. *лежея*, *лежая* «приспособление для подъема бортника на дерево», истолкованные как производные от **lězti*, **laziti*, см. с. 48—49 работы), а также для подтверждения уже известных этимологических гипотез (например, о принадлежности к гнезду **laziti* русск. *лазбéнь* «кадушка», с. 44—45; о вхождении группы лужицких лексем с корнем **dēd-*, типа н.-луж. *dźědźica* «сосна с бортью», в.-луж. *dźědźić* «вынимать мед», в гнездо праслав. **děti*, что подтверждается обнаружением близкого соответствия с корнем **dēd-* в балтийских языках — лтш. *dēdinât* «выдалбливать борть», с. 94—101). Фронтальный обзор материала позволил также уточнить значения отдельных образований (см. о русск. *улазный мед*, с. 15—16; о польск. *łaźbień*, с. 43—44). Однако

вряд ли можно согласиться с авторским толкованием русского сочетания *дѣльное бортное дерево* как избыточного нарощения синонимов (с. 128): этому противоречит существование негативной конструкции *недѣльное бортное дерево* (с. 129).

Обширный материал продуманно систематизирован. Стройность исследования несколько нарушается лишь введением в качестве самостоятельных разделов в гл. II, В I 6 и 7, В II 2 балтийского материала иной семантической структуры («beuten» + «Honig», «beuten» + «Bienen»), нежели тема главы («klettern» + +...),— литов. *drevėti* (*medų*), лтш. (*medu, bites*) *dravēt* «вынимать мед» (с. 67—69): как семантическая параллель к в.-луж. *dźědźić* (*měd, pčoły*), эти материалы были бы более уместны в III главе (с. 124).

Тщательная выборка материала дала автору возможность сделать существенные лингвогеографические выводы, в частности — о распространении анализируемой бортнической терминологии на южнославянские языки (ср. серб.-хорв. *lȁziti med*, с. 141), что опровергает установившиеся представления и расширяет перспективы для изучения этой сферы славянской лексики, ликвидируя противопоставление северно- и южнославянских языков.

Анализ материала ориентирован в двух направлениях: это исследование структурных и семантических характеристик терминов (фразеологизмов и отдельных лексем) и сопоставление терминологии балтийских и славянских языков. В исследовании фразеологизмов Р. Эккерт решает несколько задач: очерчивается круг древнейших фразеологизмов с их структурными архаизмами (ср. праслав. **laziti bъčely*, литов. *kópti bites* — конструкции с винительным падежом направления) и первичной семантикой, рассматриваются различные направления изменения фразеологизмов. На славянском и балтийском материале прослежены десемантизация и преобразование компонентов фразеологизмов (типа др.-русск. *ладити пчелы*, с. 10), образование тавтологических сочетаний (литов. *bitkopauti medą* «вынимать мед», при функционировании в этом значении первоначально одного глагола *bitkopauti*, с. 59—60), обновление архаичных структур (праслав. **laziti bъčely* → русск. *лазить пчел*, с. 7—8; литов. *bites kópti* → *bitėms kópti*, с. 51—52; кстати, термин «обновление», предложенный для этого типа изменений Р. Н. Поповым, представляется более адекватным, нежели авторское Nominalisierung, с. 147, мотивация которого неясна), семантическое развитие фразеологизмов (ср. лтш. *bišu dēļējiņš* «пчеловод», в.-луж. *pčoły dźědźić* «вынимать мед» при первичном бортническом значении **dē(d)-* «выдалбливать», с. 123—125). Интересный материал иллюстрирует свертывание фразеологизмов в сложения (обычно свертывание сопутствует образованию производных, см. ср.-русск. *медолазъ*, с. 17, литов. *bitkopis, bìtkopauti*, с. 58—60), эллиптическое сокращение фразеологизмов до одного слова (см. ст.-польск. *połazić*, *połazbić* «вынимать мед», с. 38—39, литов. *kopinėti* «то же», с. 61—62, 71) и образование бортнических терминов в форме одной лексемы на базе одного из элементов фразеологизма (белорусск. *лазенне* «выемка меда», с. 30), что справедливо толкуется автором как показатель связи фразеологии и лексики (с. 149).

На базе фразеологизмов в этой архаичной сфере Р. Эккерт рассматривает проблему фразеологических вариантов. Постановка проблемы вариантности для древних языковых уровней представляется правомерной и даже необходимой, поскольку наличие отношений вариантности является важным фактором развития. Интересен предложенный автором опыт выделения различных типов вариантности древних фразеологизмов: морфологической вариантности, лексической вариантности, синонимии (с. 150). Нельзя не согласиться с авторским замечанием о сложности дифференциации отдельных типов, но тем большее недоумение вызывает чрезмерный лаконизм и нечеткость характеристики структурных синонимов (с. 150; как структурный синоним здесь указано сочетание **laziti medъ*, но понятие синонимии предполагает наличие хотя бы двучленного отношения, т. е. еще одного сочетания). Указывая на трудность различения отношений производности фразеологизмов и вариантности их на примере литов. *kópti medų* — *iškopti medų* — *iškopti medų iš drevės* (с. 151), автор обращается по существу к диахроническому плану (соотношение *iš*-префикса и *iš*-предлога), что несовместимо с процедурой выявления отношений вариантности, которые принадлежат синхронному плану.

Анализ отдельных лексем, являющихся терминами бортничества, оказался в монографии в значительной степени производным от анализа фразеологизмов, что отражает реальные отношения производности терминов-лексем от терминологических фразеологизмов: речь идет о глаголах, обособившихся в результате эллиптического сокращения фразеологизмов, в которых эти глаголы были семантически связанными компонентами (см. выше), или о производных от этих глаголов. Соответственно семантика терминов-лексем, как правило, производна от семантики фразеологизмов (ср. слав. **laziti medъ* «вынимать мед» — **laziti* «вынимать мед», **lazьba* «выемка меда», **ulazъ* «выемка меда», «вынутый мед»). Но один случай в этом отношении обособлен: это слав. **lazivo* «приспособление для подъема на бортное дерево», производное от **laziti* в его несвязанном значении «влезать», т. е. в значении, не обусловленном фразеологизмом **laziti medъ* или другими подобными с их семантикой «вынимать мед». В работе приведен и вариант этого отглагольного имени — **lězivo* (белорусск., русск. *лезиво*, с. 47—48). Представляется, что эта вариантность заслуживает особого внимания, так как не имеет аналогии в бортнической терминологии гнезда **laz-*. Именно образование **lazivo* от **laziti* в несвязанном его значении является обязательным условием вариантности это-

го имени с *lězivo, образованным от *lězti, которое не входит в фразеологизмы с бортнической семантикой. Это еще одна иллюстрация взаимозависимости лексики и фразеологии.

Значительное внимание уделено словообразовательной характеристике лексем, в целом очень детальной и обоснованной. Возможны лишь некоторые критические замечания. Так, мнение Несовича о том, что белорусск. *лазобка* является уменьшительным к *лазьбень* (с. 44), следовало сопроводить соответствующими коррективами о словообразовательных связях слова (*лазобка* от *lazьba). Вряд ли можно иллюстрировать связь словообразовательных моделей с тематическими группами примерами типа белорусск. *лазбень*, русск. диал. *лазьбень*, польск. диал. *łazbin'* (с. 152), так как лексемы подобных групп являются скорее не параллельными образованиями отдельных славянских языков, а продолжениями праславянских лексем. При этом полезно отметить, что все словообразовательные модели, представленные в рассмотренной лексике, относятся к актуальному словообразовательному фонду славянских и балтийских языков в их древнейшем состоянии. Таковыми были для праславянского языка даже образования от основы настоящего времени *ded(j)-/*děd(j)-, структура которых явно архаична для более поздних уровней.

В целом осуществленное Р. Эккертом исследование двух групп фразеологизмов и лексем, относящихся к области бортнической терминологии, в их изменениях и взаимосвязях представляет собою весомый вклад в изучение этой архаической сферы лексики славянских и балтийских языков.

Пожалуй, самым интересным аспектом монографии является сопоставление славянского и балтийского материала, лексического и фразеологического. Лексический материал обнаруживает значительное количество балтийских и особенно славянских бортнических терминов, принадлежащих к гнезду с корнем *dē-. Балтийские и славянские лексемы иногда тождественны лишь по корню/основе, причем это может быть архаичная по структуре редуплицированная основа, ср. лтш. *dēdinât* «выдалбливать борть» — в.-луж. *dźědźić* «вынимать мед» (с. 94—95). Возможно тождество по корню и по словообразующему суффиксу: ср. лтш. диал. *dējala* «дерево, которое годится для устройства улья» — русск. диал. *дель* «борть» (с. 101—102), но производящие основы в этих именах имеют различную структуру. Цельнословное соответствие представлено лишь в одном случае, в паре причастий лтш. *dēts* «выдолбленный» (*priedīte dēta* «выдолбленная для устройства улья ель») — слав. *dětъ «то же», но славянское причастие имеет бортническую семантику лишь в составе более сложных структур: это сложения ср.-русск. (*борть*) *новодетъ*, *стародетъ* «(дерево) с новым или старым ульем, бортью» или производное ст.-польск. *dzietwa*, *dziatwa* «устройство борти или улья в дереве» (с. 104—107, хотя последнее имя может быть производным и от *dětь, ср. др.-русск.-ц.-слав. *благодѣть* и отношения праслав. *dětь «дети» — *dětva [2]). Далее, нельзя не отметить регулярность структуры пассивного причастия прошедшего времени и для славянских, и для балтийских языков, так что тождество этих отглагольных образований в данном случае целиком подчинено тождеству производящих глаголов: лтш. *dēt* — слав. *děti. В свою очередь это соответствие есть лишь рефлекс единства индоевропейского источника, и исключительно балто-славянской характеристикой этого соответствия является развитие бортнического значения «вырезать, устраивать (борть)». Итак, семантическое тождество сопровождается весьма редко тождеством материальным.

Соотносительные балтийские и славянские устойчивые словосочетания уже неоднократно использовались как перспективный материал для реконструкции древней материальной и духовной культуры (ср., например, русск. *навья косточка* — литов. жемайт. *naujōs/norės kaulas* [3], слав. *božьja + *korv- + suff. dimin.— литов. *diēro karvýtė* «божья-коровка» [4, с. 135—136]). Заслугой Р. Эккерта является исследование двух значительных групп фразеологизмов в одной семантической сфере — бортнической терминологии и опыт обобщен я типов балто-славянских соответствий на уровне фразеологизмов (с ориентацией на исторический аспект).

При сопоставлении славянских и балтийских фразеологизмов прежде всего обнаруживается тождество их семантических моделей и тождество в развитии их значений. Известно, что сходные условия бортничества явились базой для возникновения такого тождества даже в неродственных языках: ср. «влезать на дерево» → «доставать мед» не только в славянских и балтийских, но и в финно-угорских языках [5, с. 278]. Учитывая факты этого рода, автор приходит к выводу, что семантические фразеологические соответствия (тип *c* у автора, например: праслав. *laziti bъrtь — литов. *kopinėti drevės*) ничего не дают для суждения о родственных связях (с. 145). Представляется, что этот вывод излишне категоричен. Исследования в области балто-славянских языковых отношений показали сложную природу схождений этих языков, необходимость сочетания гипотезы более тесного родства с гипотезами контактов на различных хронологических уровнях. Семантические схождения фразеологизмов могут быть именно следствием древних контактов. Кроме того, следует считаться с возможностью замены членов древних фразеологизмов [4, с. 136], которая превращает материально-семантические соответствия в чисто семантические. Наконец, отражение действительности в языковых семантических моделях не зеркально, оно преломляется в призме семантики каждого языка, а поэтому тождество семантических моделей должно быть необходимым элементом генетической общности.

Все сказанное выше о значении семантических фразеологических соответствий не мешает согласиться с Р. Эккертом

в том, что наибольшую ценность для изучения балто-славянских отношений представляют соответствия фразеологизмов одновременно в плане содержания и в плане выражения (полные фразеологические соответствия, тип *a*, по терминологии автора, с. 143—144). Однако автор несколько преувеличивает степень точности формального соответствия в случае лтш. *dēt dravu* (*dori*) — польск. *dziać drzewo* «устраивать борть» (с. 144), так как лтш. *dravu*, *dori* и слав. * *dervo* представляют собою различные производные от одного корня. Кстати, это единственный обнаруженный автором в исследованном материале случай полного фразеологического соответствия.

Третий тип соответствий фразеологизмов, выделяемый Р. Эккертом,— частичные фразеологические соответствия (тип *b* у автора, с. 144—145). Тождество семантической структуры здесь сопровождается генетическим тождеством лишь одного компонента. Отнесенный сюда автором материал представляется неоднородным: ср. польск. *dziany dąb* «дуб с бортью» — лтш. *dēt ozoliņu* «выдалбливать борть в дубе» (с. 145) и праслав. * *laziti medъ* — литов. *kópti medų* (с. 144). В первой паре генетически тождественны глагол и отглагольное имя, которые являются семантически связанными компонентами фразеологизмов. Во второй паре генетически тождественны имена, семантически не связанные. Поскольку речь идет о соотношении фразеологизмов, принципиально важным представляется генетическое тождество семантически связанных компонентов. Это тождество сближает (хотя и не отождествляет) отношения в первой паре с типом полного фразеологического соответствия. Что же касается второго случая, то не имена определяют специфику этих сочетаний как фразеологизмов и их вхождение в фразеологизмы ничего не добавляет к их заданному родству. Главной характеристикой отношений в этой паре остается тождество семантической структуры. Поэтому представляется необходимым различение этих двух типов отношений. Указанные сложности в типизации соответствий на уровне фразеологизмов не умаляют важности и не противоречат своевременности постановки такой проблемы, первое решение которой осуществлено на очень интересном и в основном тщательно проработанном материале.

Надежность материала, сочетание актуальных проблем и детальность их разработки — все эти достоинства монографии Р. Эккерта заслуживают самого пристального внимания широкого круга лингвистов и делают ее существенным вкладом в сравнительно-историческую лексикологию и фразеологию.

Варбот Ж. Ж.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Karłowicz J.*, *Kryński A.*, *Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. T. 5. Warszawa, 1912.
2. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. Paris, 1974, p. 711.
3. *Иванов В. В.*, *Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 68.
4. *Топоров В. Н.* Балтийские и славянские названия божьей коровки (Coccinella septempunctata) в связи с реконструкцией одного из фрагментов основного мифа. — В кн.: Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». 11—15 декабря 1978 г.: Предварительные материалы. М., 1978.
5. *Gauthiot R.* Des noms de l'abeille et de la ruche en indoeuropéen et en finno-ougrien. — MSLP, 1910, t. 16, fasc. 4, p. 278.

Petrus Statorius. **Polonicae grammatices institutio.** — Köln — Wien: Böhlau Verlag, 1980. S. XXXIX + 216 («Slavistische Forschungen», № 26).

В серии «Slavistische Forschungen» вышло факсимильное издание первой грамматики польского языка «Polonicae grammatices institutio» Петра Статориуса-Стоеньского (1568 г.). Публикацию подготовил Р. Олеш. Воспроизведен экземпляр памятника, хранящийся в библиотеке им. Чарторыских в Кракове. Текст публикуется без изменений, сделана новая нумерация страниц.

«Грамматике» предпослано обширное Введение, написанное Р. Олешем и В. Курашкевичем (с. V—XXXIX), где содержатся сведения о Статориусе, его деятельности и о содержании публикуемого труда. Авторы Введения осветили вопросы, возникавшие в связи с изучением памятника у историков польского языка (А. Брюкнер, П. Зволиньский, К. Нич), и изложили свои наблюдения, в которых много нового, в частности, когда речь идет об источниках, привлеченных составителем грамматики.

Петр Статориус был родом из Франции, образование получил в Лозанне, но бо́льшую часть жизни (1549—1591 гг.) провел в Польше. Это был общественный деятель периода Реформации, ученый, знаток языков — латыни, греческого, древнееврейского, итальянского. Он преподавал языки, переводил на польский текст библии (Статориус — один из переводчиков «Брестской библии», 1563 г.). «Грамматика польского языка», написанная на латинском языке,— самый крупный труд Статориуса. В предисловии к «Грамматике» он пишет о своем стремлении показать, что польский язык не так труден и беспорядочен, как принято было думать. Стремление сделать польский язык доступным для западноевропейских ученых отвечало духу времени, эпохе Ренессанса. Перед Статориусом стояла задача впервые изложить правила польской грамматики. Задача эта, трудная сама по себе, ослож-

нялась тем, что в польском языке XVI в. шли процессы интеграции, формировалась литературная норма. З. Клеменсевич отмечал, что в этот период «наслаивались друг на друга и сталкивались различные диалектные и региональные тенденции, осуществлялись различные попытки нормализации» [1]. Одним из наиболее сложных был вопрос о текстовых источниках, на которых должна была основываться «Грамматика». Статориус решил этот вопрос, выбрав в качестве основного источника одно произведение — поэму М. Рея «Облик достойного человека» [2] (десять тысяч строк). Из этого источника взято около 75% всех примеров, содержащихся в «Грамматике». Остальные примеры извлечены из произведений Я. Кохановского или взяты из устной речи [1]. В предисловии к рецензируемой публикации Р. Олеш и В. Курашкевич констатируют, что Статориус, наряду с текстовыми источниками, несомненно, пользовался существовавшими латинско-польскими словарями, прежде всего словарем Я. Мончиньского [3] и «Лексиконом» Ф. Мымера [4].

В труде Статориуса содержится богатый лексический и фразеологический материал польского языка XVI в. Проведенная им классификация речевого материала базируется на современной ему лингвистической теории. Статориус систематизировал наблюдаемые им явления и дал полное, фундаментальное описание грамматических особенностей польского языка. Однако в своем труде он опирался не на славянскую грамматическую традицию (как, например, М. Смотрицкий), а на традиции латинистов, черпая оттуда не только терминологию, но и представления о грамматических категориях.

Свой труд Статориус начинает с описания фонетики польского языка (с. 7—21) и исходит из букв латиницы, расположенных в алфавитном порядке. Ему были известны одиннадцать гласных звуков польского языка. Объясняя произношение, Статориус сравнивал их с латинскими звуками, однако подчеркивал различия, существовавшие между гласными *a*, *o*, *e* открытыми и суженными, обозначавшимися как *á*, *ó*, *é*. Им описаны 34 согласных звука, которые он делил на мягкие и твердые.

В «Грамматике» имеется описание частей речи. В разделе об имени (с. 22—93) рассматривается категория рода существительных, степени сравнения прилагательных, склонение числительных, система падежей в целом. Статориус считал, что в польском три склонения — соответственно роду существительных. Каждый тип склонения описан детально, насчитывается около ста пятидесяти парадигм существительных, выделенных автором «Грамматики».

Далее Статориус останавливается на изменении прилагательных по родам и падежам. Специальный раздел посвящен классификации и склонению местоимений (с. 93—103). Раздел о глаголе содержит попытку описать систему времен, наклонений и определить типы спряжения польского глагола. Автор перечисляет пять времен польского глагола: presens — *piszę*, imperfektum — *pisałem*, perfektum — также *pisałem*, plusquamperfektum — *pisałem był*, futurum — *będę pisał* (с. 108). Шесть наклонений польского глагола выделены им соответственно латинским образцам. Очень подробно, с большим иллюстративным материалом рассмотрены в «Грамматике» значения глагольных приставок (с. 109—122). Польские примеры переводятся на латинский и поясняются. Наименее удачной оказалась попытка описать систему спряжения польского глагола. Отметим, что в «Грамматике» хорошо представлены глагольные формы двойственного числа, зафиксированные во всех временах и наклонениях.

Автор «Грамматики» дал очень подробное описание значений польских предлогов (с. 166—169) и союзов (с. 170—173).

Последняя часть книги — синтаксис (с. 175—216), где рассмотрены некоторые именные конструкции с родительным, дательным и винительным падежами. В разделе о глаголе изучается управление, описаны функции инфинитива, перечисляются средства, при помощи которых в польском языке обозначается время и место действия. Внимание автора привлекли безличные предложения (с. 204—207) и некоторые типы сложных предложений.

Полонисты неоднократно обращались к «Грамматике» Статориуса как источнику сведений о польском языке XVI в. Лексемы и словосочетания, содержащиеся в этом памятнике и получившие лингвистическую трактовку того времени, являются для них ценным материалом.

Статориус распознавал некоторые наиболее яркие диалектные черты польского языка, прежде всего — мазурение, которое он расценивал как отклонение от общепринятой нормы польского языка.

Памятник, о котором идет речь, представляет интерес не только для специалистов по истории польского языка и сравнительного языкознания. Для полонистов это также свидетельство развития грамматической мысли и высокого уровня польской культуры XVI в. Труд Статориуса послужил отправной точкой для последующих поколений грамматистов.

Интерес к памятникам подобного жанра не угасает и в нашей стране — примером может служить изданное в 1979 г. в Киеве факсимильное издание грамматики Милетия Смотрицкого.

Стрекалова З. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. Warszawa, 1974, s. 413.
2. *Rej M.* Wizerunek człowieka poczciwego. Kraków, 1558.
3. *Mączyński J.* Lexicon Latino-Polonicum. Królewiec, 1564.
4. *Mymerus F.* Dictionarium trium linguarum. Kraków, 1528.

Маковский М. М. **Системность и асистемность в языке.** Опыт исследования антиномий в лексике и семантике. — М.: Наука, 1980. 210 с.

Понятие системы и системности является, пожалуй, одной из наиболее спорных и в то же время наиболее важных категорий теоретической лингвистики наших дней. Несмотря на огромную литературу, посвященную этому вопросу, существуют значительные расхождения относительно самого существа этого понятия — под системой различные авторы понимают широкий круг явлений, начиная от простой упорядоченности элементов или установления различных отношений между ними (в частности, бинарности) и кончая абстрактным пониманием системы в псевдоматематическом аспекте, характерном для глоссематиков. Практика лингвистических исследований, однако, неизменно порождает сомнение в возможности однозначного использования термина «система» по отношению ко всем уровням языка или к любому отрезку языкового континуума, в качественной однородности понятия системности по отношению к любым языкам, в синхронии и в диахронии. Нередко определенный тип системности, характерный для одного рода объектов (например, органических), сознательно или несознательно переносится учеными на другой вид объектов (например, язык), что обычно ведет к искажению этих последних. На фоне созданной в последние десятилетия так называемой «теории общих систем» (Л. фон Берталанффи) становится особенно очевидным не только неправомерность строгого проведения принципа системности в лингвистике (подобно тому, как в свое время имело место бескомпромиссное рассмотрение звуковых законов, якобы не терпящих исключений), но и возникает мысль о противоречивой природе языковых феноменов.

Крупнейшие языковеды прошлого и настоящего неоднократно указывали, что для лигвистического анализа гораздо важнее учет «аномалий», а не «регулярных» форм, одностороннее рассмотрение которых нередко создает искаженную картину исследуемых явлений (ср. работы В. Д. Уитни, А. Мейе, Ч. Базелла, Э. Пулгрэма, Э. Косериу, Р. А. Будагова, Ф. П. Филина и др.). К сожалению, понятие асистемности, в отличие от понятия системы, не получило специального теоретического освещения в литературе (интересным практическим применением принципа единства асистемности ~ системности в области индоевропеистики является появившаяся недавно книга В. Р. Шмальстига [1]).

Рецензируемая монография М. М. Маковского на основе обширного языкового материала, почерпнутого как из и.-е., так и из восточных языков (в книге приводятся примеры более чем из 130 различных языков и диалектов мира), специально посвящена рассмотрению тех нарушений «сплошной системности» в языке, которые при поверхностном взгляде на языковые факты не представляются вполне очевидными: в книге строится общая теория взаимодействия и тесного переплетения системности и асистемности в языке.

В центре работы М. М. Маковского стоит проведенное им текстологическое исследование средневековых латинско-германских глосс (ср. с. 56—57, 61—69; 103—121; ср. также с. 86—101), в результате которого автору удалось показать, что значение целого ряда наиболее спорных в этимологическом отношении лексем английского и немецкого языков обязано своим происхождением контаминациям созвучных лемм и глосс и ошибкам неграмотных писцов (таковы, например, англ. *big*, *bird*, *bizzare*, *bosom*, *busy*, *dog*, *dye*, *lad*, *lass* и др.; нем. *böse*, *bunt*, *Buhle*, *Bursche*, *Ekel*, *Farbe*, *Fleiß*, *Fleisch*, *Kebse*, *klein*, *leer*, *Minne*, *rein*, *Risiko*, *Weib*, *tauschen*, *Wurst*). Анализируя текст латинско-германских (средненемецких и древнеанглийских) глосс, изданных Л. Дифенбахом [2], автор установил, что многие латинские слова, представленные в виде лемм или глосс, нередко выступали как п а р о н и м ы, т. е. как слова, которые вследствие сходства в написании и частичного совпадения морфемного состава могли контаминироваться как между собой, так и с некоторыми из их германских соответствий. Если учесть, что контаминируемые латинские леммы имели самые разнообразные значения, вполне понятно, что и германские глоссы, соответствующие им, могли воспринять ряд ошибочных (неэтимологических) значений. Приведем пример текстологического анализа, представленного в рецензируемой книге (с. 107—108). В отличие от традиционной этимологии слова *риск* (франц. *risque*, англ. *risk*), весьма спорной и натянутой, автор справедливо полагает, что становление значения рассматриваемого слова, да и самого слова, связано с несколькими параллельными процессами лексико-семантической контаминации. Лат. *riscus* «корзина» (из греч.) соответствовало др.-в.-нем. *huot* в том же значении; последнее могло контаминироваться со своим омофоном др.-сакс. *huoti* «feindlich, erzürnt», ср. др.-исл. *hoetta* «рисковать», совр. швед. *hōt* «угроза». Далее, как указывает автор, лат. лемма *riscus* контаминировалась с *rifta*, в связи с чем становится понятным, в частности, то обстоятельство, что др. -в.-нем. *huota* может выступать в значении «забота». Ср. в связи с этим лат. *defensio* < *de-fendere*, *fendere*, русск. *пасти*, но *опасность* (ср. совр. нем. *Hutung* «pasturage»). Наконец, вульг. лат. *riscus* могло контаминироваться с вульг. лат. *rixa*, в связи с чем автор приводит такие немецкие диалектные слова, как *er-hueten* «Jmd. durchprügeln», *hotten* «treiben», *umen-hutten* «herumstossen». Ср. в связи с этим интересную глоссу у Дифенбаха: *risia. fermentum werck* (ср.-в.-нем. *geverch* «gefährlich»).

Как справедливо указывает автор, лексемы, значение которых возникло в результате лексико-семантической контаминации и паронимии, не могут привле-

каться для фонетического и семантического сопоставления с другими словами при установлении этимологии. То же относится и к так называемым «Buchstabenwörter» (типа англ. диал. *aitch* «очаг» < англ. *hearth*; англ. *ache* «боль» < др.-англ. *hearm* и др.), а также к словам-табу (ср. с. 6: «если слова, обусловленные табу, становятся заимствованиями, то они превращаются в мнимые слова» и в связи с этим анализ англ. *ill*, возводимого автором к лат. *illac* «туда, прочь»). Автор указывает, что в процессе истории слова оно может получать несколько семасиологических связей, что весьма важно учитывать при этимологизировании. На основе подробного исследования (на материале германских языков с привлечением материала территориальных диалектов и жаргона) М. М. Маковский показывает, что подвижные форматив не являются «ни фонологическими, ни словообразовательными элементами, а чисто системо-различительными показателями, лишенными каких-либо других функций» (с. 161).

Поскольку автору удалось выяснить, что в целом ряде случаев изменения значений слов может обусловливаться не генетическими, т. е. иначе говоря, системными причинами, а вызываться к жизни и чистой случайностью, причем вновь возникшие значения носят произвольный, т. е. эволютивно не обусловленный, несистемный характер, он имел достаточно оснований для того, чтобы сделать некоторые важные общетеоретические выводы. Это касается, в частности, антиномий необходимости и свободы, прерывности и непрерывности, а также социального и индивидуального в языке, роли комбинаторики, интеграции и дезинтеграции слов и значений в становлении, относительном равновесии и нарушении стабильности лексико-семантических единиц и континуумов, в которые они входят.

В первой главе (с. 13—52), посвященной общей характеристике лексико-семантических систем, справедливо указывается на то, что в имеющихся специальных работах, как правило, констатируются «готовые» статические качества значений, но не рассматриваются их лингвистические свойства, которые привели к возникновению именно данных значений в результате определенных процессов, а также условия и возможности динамического проявления и взаимодействия этих свойств: «. . . семантические преобразования (даже внешне сходные изменения, происходящие на разных этапах существования языка или в близкородственных языках) имеют неодинаковый лингвистический смысл — они нередко возникают на основе неодинаковых свойств (комбинаций свойств) и сами обладают различными свойствами. Обычно то, что называют „изменения значения", в действительности оказываются либо внутрисистемными, либо межсистемными перемещениями на определенном временно́м срезе существования языка, т. е. мы имеем здесь дело не с диахроническими, а с чисто синхронными преобразованиями, отражающими различные возможности комбинаторики, допустимые или недопустимые в рамках свободы и необходимости, присущих тому или иному лексико-семантическому континууму» (с. 15—16).

Автор утверждает, что в языке часто возникает противоречие (асимметричность) между семемной и лексемной комбинаторикой языковых единиц — совместимые значения нередко сочетаются с несовместимыми лексемами, а в совместимых лексемах реализуются несовместимые значения. Так, синонимический ряд нередко предстает как результат транспозиции одного значения (с теми или иными вариантами, обусловленными системностью) на несколько лексем, не совместимых в одном континууме. На это указывает тот факт, что те же лексемы в другом одновременно сосуществующем континууме (например, в близкородственном языке или на другом этапе существования рассматриваемого языка) уже не выступают как синонимы. С другой стороны, несколько значений, не совместимых в данном континууме, могут сосуществовать, транспонируясь на лексемы, являющиеся частью этого континуума.

Сосуществующие комбинаторные варианты значений постоянно нарушаются и затем снова уравновешиваются на основе разного рода «терапевтических» закономерностей (терминология Ж. Жильерона) Это, в свою очередь, ведет к значительным качественным и количественным перестановкам, «не предусмотренным» условиями того или иного комбинаторного уклада. Именно благодаря нарушениям тех или иных комбинаторных вариантов, пишет автор, в ряде случаев значение слова нельзя признать изначальной характеристикой той или иной лексемы, присущей ей по принципу fûse или возникшей в результате естественного преемственного развития одного и того же значения. Во всех этих случаях речь может идти только о чисто комбинаторном происхождении значений. Более того, любое из значений, возникшее чисто комбинаторно, может в дальнейшем выступать в качестве исходного и подвергаться новым комбинаторным изменениям. Вот почему автор считает неправомерными такие понятия, как основное значение, побочное значение, расширенное значение, суженное значение, весьма произвольно определяемые лингвистами. М. М. Маковский отмечает следующие семантические свойства: разложимость и неразложимость, обратимость и необратимость, одновременность и разновременность, свойство нейтрализации значений, свойство совместимости и несовместимости, свойство постоянства (инвариантности) и вариантности, равносильности (эквивалентности) и неравносильности и др. Все значения, подчеркивается в книге, как и лексемы, существуют в определенной лексико-семантической среде и подвержены процессам «смешения», слияния, растворения (интеграции), с одной стороны, и разложения, дезинтеграции, с другой (с. 43—47) .Кроме того, автор отмечает явления семантической ассимиляции и диссимиляции,

которые в его понимании не имеют ничего общего с семантической синэстезией и контаминацией значений, а представляет собой феномен, связанный с переинтеграцией системы. Именно ассимиляцией и диссимиляцией, обусловленными в конечном итоге комбинаторными процессами, можно объяснить, по мнению автора, явления синонимии и омонимии. Омонимия, в частности, может возникнуть тогда, когда условия системности исключают сосуществование неодинаковых форм, вследствие чего происходит формальное «выравнивание» различных и никак не связанных между собой корней.

Нельзя упускать из виду, указывает автор, что отнюдь не все характеристики, признаки, связи, присущие исследуемому объекту, в одинаковой мере существенны для исследуемого явления. Только в том случае, если данная характеристика или свойство отражает определенные ограничения, накладываемые спецификой данного объекта, она может служить критерием его идентификации. В тех случаях, когда в языке проявляется та или иная закономерность, ее действие может перекрываться параллельным действием других закономерностей, а также факторами социолингвистического, культурно-исторического и психологического характера. Вследствие этого данная закономерность может не проявляться даже в тех случаях, где ее проявление совершенно необходимо, либо манифестироваться иначе и охватывать не те лексико-семантические элементы, которые должны закономерно вовлекаться в данный процесс. При этом каждый семантический континуум никак не «прикреплен» именно к данному слову и только к одному слову, что, однако, вовсе не снимает факта неразрывности слова и значения в данный период их существования и их взаимодействия в процессе развития.

Интересен раздел этой главы, посвященный равновесию языковых элементов (балансу лингвистических потенций). Здесь же формулируется следующая закономерность, которая документируется большим фактическим материалом: «количество не отраженных в языке семантических компонентов цикла находится в прямой зависимости от количества представленных лексем, в которых манифестируется тот или иной из этих компонентов, и в обратной зависимости к количеству представленных в этих лексемах компонентов семантического спектра» (с. 51).

Вторая глава рецензируемой монографии (с. 53—123) посвящена асистемности, обусловленной ошибками. На фоне исследования контаминаций в глоссах и древнеанглийских «слов-призраков» (*ghost-words*) автор делает ряд общетеоретических выводов. В частности, отмечается, что все значения одного и того же слова, представленные в одном или в нескольких родственных языках, отнюдь не всегда являются звеньями одной и той же непрерывной цепи, развивающейся по принципу post hoc, ergo propter hoc. По традиции считается, что представленные семантические элементы являются диахронической цепочкой в конечной инстанции, что между ними нет никаких промежуточных звеньев и сами они не являются промежуточными звеньями, причем каждый из них строго следует друг за другом. В этой связи автор указывает, что одна и та же причина может дать различные результаты, а различные причины — могут иметь одинаковые последствия: «. . .не всякое изменение в языке равносильно эволюции и не всякая эволюция обязательно связана с изменениями» (с. 75). Исследуя проблему свободы и необходимости в языке, автор намечает некоторые общие линии соотношения этих категорий: в пределах многих лексико-семантических систем свобода значения уравновешивается ограниченностью соответствующей «массы» (количества) лексем, их протяженности или вариантности структуры. Следовательно, чем больше слов в той или иной системе, тем они короче; чем больше возникает значений, тем меньше количество слов, в которых они представлены (полисемия). М. М. Маковский показывает, что этимологии, основанные на выявлении ассоциаций, метафоризации и логических переосмыслений значений (часть по целому, целое по части), не могут и не должны отождествляться с выявлением семантических закономерностей, т. к. эти категории и способы их установления носят явно субъективный характер. В связи с этим автор решительно выступает против таких методов семасиологического исследования, как компонентный анализ или анализ по семантическому полю.

В третьей главе (с. 124—162) на большом языковом материале автор показывает, что «в процессе употребления и развития языка общеязыковые, коллективные модели непрерывно преобразуются и видоизменяются в рамках индивидуального использования, в частности, былые запреты общенациональной нормы с течением времени могут превратиться в норму, а нормативные явления нередко утрачивают свою общеязыковую значимость. Вместе с тем многие из таких видоизмененных моделей в дальнейшем выступают уже как общеязыковые и нормативные, подвергаясь дальнейшим преобразованиям на индивидуальном уровне» (с. 149). В этой связи указывается, что многие слова, возникшие на основе индивидуального употребления, основаны на метафоре, нередко давно забытой (ср. франц. *caprice* < лат. *capra*, франц. *calcul* «подсчет» < лат. *calculus* и др.). В главе содержатся интересные списки «ложных друзей переводчика» в славянских языках, а также даются многочисленные примеры энантиосемии в арабском и и.-е. языках, которые автор истолковывает в свете своей концепции соотношения социального и индивидуального в языке.

В книге М. М. Маковского рассматривается не только «нарушение» системных языковых укладов теми или иными асистемными факторами, но и, наоборот, наличие определенной системной организации в рамках асистемных, «нерегулярных» языковых процессов. Этому вопросу специально посвящена четвертая глава. Исследуя константные явления в асистемных языковых средах, автор форму-

лирует пять закономерностей, которые он называет «социолингвистическими универсалиями». В этой главе содержится также оригинальная методика реконструкции социальных диалектов древности.

К книге приложена обширная библиография (368 названий) на русском и западноевропейских языках и резюме на английском языке.

Опечаток или фактических ошибок в книге немного. Отметим, например, на с. 139: санскр. корень *ku* переводится «быть полным» вместо «быть полым»; араб. слово *ǧʿadun* «щедрый» и «жадный» ошибочно приводится дважды в пределах одного и того же списка поляризованных значений в арабском (с. 146 и 147), дважды приводится и др.-исл. *if*, *ef* на с. 58. Отметим также, что англ. диал. «Buchstabenwort» *gee* «to suit» скорее соотносится с диалектным словом *gibe* (с тем же значением), а не с *go*, как указано в работе (с. 58).

Рецензируемая книга М. М. Маковского является одной из первых монографических публикаций, специально посвященных проблеме соотношения системности и асистемности в языке. Нет сомнения в том, что эта книга будет в значительной мере способствовать дальнейшему исследованию многих вопросов, встающих в связи с противоречивой природой языковой системности, например, о единственности или неединственности языковых процессов, о сущности языковой эволюции и др. [ср. интересные и острые вопросы, которые автор ставит в связи с лексико-семантическим анализом слов (с. 18—19)].

Щур Г. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics. A new synthesis. The Pennsslvania State University, 1980.
2. *Diefenbach L.* Glossarium latino-germanicum. Francforti ad Moeni, 1857.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11—20 сентября 1981 г. состоялась Вторая советско-американская конференция по русскому языку. Первая такая конференция состоялась в октябре 1974 г. (см. ВЯ, 1975, № 3). Конференцию проводил национальный Организационный комитет во главе с Р. Брехтом (Мэрилендский ун-т) и Д. Дэвидсоном (колледж Брин Мар), в который вошли представители других учебных заведений, участвовавших в организации конференции: М. Флайер (Калифорнийский ун-т, Лос-Анджелес), Ф. Гладни (Ун-т штата Иллинойс, Урбана), Дж. Левин (Ун-т Дж. Мейсона, штат Вирджиния), И. Уайл (Северо-Западный ун-т, Эванстон), Г. Зиглер (Принстонская школа в Цинциннати). Конференция проводилась при поддержке Американского совета преподавателей русского языка и литературы (АСПРЯЛ), Американской ассоциации содействия славистическим исследованиям, Национального фонда развития гуманитарных наук при активном участии московского Института русского языка им. А. С. Пушкина и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Советская делегация представила 19 докладов и сообщений.

Для того, чтобы облегчить участие в конференции преподавателей различных регионов США, конференция была организована так, что три ее сессии проходили в нескольких местах. Открытие конференции состоялось в Северо-Западном ун-те в Эванстоне близ Чикаго. Конференцию, которую открыл президент АСПРЯЛ И. Уайл, приветствовали представители университетских властей, МАПРЯЛ, департамента народного просвещения. Эванстонская сессия конференции была посвящена методической проблематике и привлекла наибольшее число участников. Секционные заседания были сосредоточены вокруг следующих проблем: обучение русскому языку через русскую литературу, обучение русскому лексикону, новое в обучении русскому языку, интонация и структура высказывания, глагольный вид в русском языке, использование ЭВМ в обучении русскому языку, продвинутый этап обучения русскому языку, проблемы обучения русской морфологии.

В докладах были подчеркнуты некоторые общедидактические и лингводидактические моменты, существенные при построении оптимального курса русского языка для американцев. Американский учащийся, как неоднократно отмечалось в докладах, стремится к соединению интересности занятий и их результативности. Поэтому американские преподаватели критиковали на конференции учебники, выпущенные в США, построенные на заучивании, а отстаиваемые в докладах советских делегатов (М. Н. Вятютнев, О. Д. Митрофанова) принципы активной коммуникативности и индивидуализации, учета реальных коммуникативных интенций, специализации учебников получили одобрение большинства участников конференции. Интерес к живому языку, проявляемый учащимися, отразился во внимании к докладу главы советской делегации В. Г. Костомарова, сделанному на первом пленарном заседании конференции в Эванстоне и посвященному проблеме культуры речи в преподавании русского языка иностранцам, прежде всего в подготовке учителей. Докладчик говорил о таких слагаемых речевой культуры, как языковой вкус, коммуникативная целесообразность и норма. Выступившая в ходе обсуждения К. Чвани (Массачусетский технологический институт — МТИ) подчеркнула важность учета при обучении иностранцев коммуникативной целесообразности; Х. Аронсон (Чикаго) отметил важность различения естественных норм и устанавливаемых подчас искусственных ограничений в употреблении тех или иных языковых явлений; Р. Ротстейн (Амхерст) указал на важность учета в страноведческом аспекте культурного мира, отражаемого родным языком учащихся. Значение межъязыковых сопоставлений структурного характера подчеркивалось в докладе Д. Дэвидсона (Брин Мар) и в других выступлениях. В связи с этим идея подготовки на базе универсального учебника специализированных учебников для разных национальных групп учащихся, развернутая в одном из докладов М. Н. Вятютнева, получила поддержку. Интерес к советской действительности, естественный у тех, кто берется за изучение русского языка, определил как стремление использовать в учебных целях и тексты из советской литературы, и созданные в Советском Союзе или при участии советских специалистов учебники, так и высказанные участниками дискуссии конструктивные предложения о введении в учебники тех или иных тем (Л. Брус, ун-т Южной Калифорнии). На одном из заседаний эванстонской сессии были продемонстрированы возмож-

ности использования для внеаудиторной работы электронно-вычислительных машин. В качестве материала для работы были избраны несколько первых уроков советского учебника «Русский язык для всех». Следует, однако, сказать, что никакого увлечения техническими средствами на конференции не чувствовалось.

М. Гейм (Лос-Анджелес) подчеркнул, что для достижения успеха важно давать учащимся на занятиях по русскому языку все то, что необходимо, и только то, что необходимо. Поэтому немалое место заняли доклады по вопросам содержания обучения русскому языку. Показательны в этом отношении доклады Р. Брехта о теоретических минимумах в изучении русского глагольного вида, П. Прайеста о сравнительно-стилистической характеристике научных текстов, Б. Гэйенс (Брин Мар) и О. Свэна (Питсбург) об ударении в русском глаголе, Л. Хайена (Гаваи) о частотности корней в общенаучной лексике; к докладам этого типа примкнул доклад А. Е. Супруна (Минск), в котором подчеркивалось значение изучения различных видов управления. Значительное внимание было уделено проблематике русской интонации в докладах Е. А. Брызгуновой (Москва), Дж. Лэйк (Амхерст). Лексика нашла отражение в докладах П. Чэнет (Гарвард) о русских эквивалентах английского глагола *use* и М. Бенсона (Пенсильвания) об использовании словарей в обучении русскому языку.

Сессия в конференц-центре Лос-Анджелесского ун-та была посвящена в основном лингвистической тематике. Здесь была господствующей тема глагольного вида. Трудная для любой неславянской аудитории тема вида привлекла внимание многих докладчиков. А. Тимберлейк (Лос-Анджелес) назвал свой доклад «Параметры вида в русском языке» и стремился показать сложную содержательную и формальную структуру глагольного вида. Х. Кучера (Провиденс) предложил дедуктивную модель славянского глагольного вида, построенную на базе фундаментальных понятий *процесса*, *события* и *состояния*, дополняемых категориями *направленности* или *ненаправленности событий* и *процессов*, а также категориями *нединамического* и *обычного* состояния. Такая модель является удобной для сопоставительного анализа, поскольку строится на базе универсальных семантических признаков. Р. Микельсен (Сиэтл) в своем докладе стремился объяснить значение совершенного вида как значение глагола, указывающего на изменение состояния субъекта; при такой интерпретации расширяется понятие состояния, которое и без того не относится к четко определяемым. А между тем ряд американских участников конференции стремился (в какой-то мере как бы развивая положения А. Тимберлейка) представить русский глагольный вид не в обобщенном виде, а напротив, опираясь либо на частные значения или элементы значений, либо на анализ контекстного и, шире, ситуативного употребления видов глагола. Первое направление получило отражение в докладах, посвященных отдельным приставкам и отдельным глагольным формам: Г. Фильдер (Лос-Анджелес), М. Флайер (Лос-Анджелес), Джулс Левин (Риверсайд). Контекстный же анализ был ярко представлен в двух докладах Р. Брехта, описывающих использование глагольных видов в различных ситуациях, характеризуемых высказыванием, а в частности, ситуацию приближения. Н. Меррил (Лос-Анджелес) связывал употребление вида с некоторыми обозначениями количества в высказывании: с родительным части и со словами *каждый* и *все*. В лингводидактическом плане осветил проблематику русских глагольных приставок М. Лаунер (Флорида); Э. Кленин (Лос-Анджелес) показал историческое развитие системы значений глаголов с приставкой *у-*. Внимание участников конференции привлекли и другие глагольные категории. К. ван Схонефельд (Индиана) прочитал доклад о страдательном залоге как манифестанте множественных семантических отношений в русском языке. Дж. Левин (Вирджиния) посвятил свой доклад семантической характеристике залога, используя интересный опыт градации патиенса. В докладе Дж. Галанта (Лос-Анджелес) характеризовалось использование русского постфикса *-ся*.

Наряду с глагольно-видовой проблематикой на лос-анджелесской сессии, а также на третьей сессии конференции в Мэрилендском университете близ Вашингтона обсуждались и другие грамматические проблемы. А. Е. Супрун прочитал в Лос-Анджелесе доклад «Части речи как грамматически обусловленные нежесткие множества слов русского языка», подчеркивая, что для науки и для преподавания главную ценность представляет собой поиск реально существующей и обеспечивающей функционирование языка в процессе общения грамматической классификации лексических единиц. В докладах американских участников конференции рассматривался ряд частных вопросов русской грамматики. Так, немало внимания было уделено падежной системе русского языка. К. Чвани посвятила свои доклад взаимодействию морфологических и функциональных иерархий в системе русских падежей. Развивая известные идеи Р. Якобсона об оппозициях в системе падежей (см.: R. Jakobson. Selected Writings. II. The Hague — Paris, 1971); докладчица остановилась на случаях нейтрализации некоторых оппозиций в системе падежных значений и падежных форм, отмечая неполное соответствие этих явлений, включая и нейтрализацию оппозиции «прямой — косвенный». Х. Галтон (Канзас) проанализировал некоторые функции русского творительного падежа. В докладе на мэрилендской сессии А. Е. Супрун поставил вопрос о целесообразности применения понятия размытых множеств в характеристике синтаксических и семантических свойств падежей и взаимоотношений между ними. Эту мысль поддержали выступившие в об-

суждении специалисты в области математической лингвистики — Х. Кучера и М. Заречняк (Джорджтаунский ун-т, Вашингтон). Очень содержательными были доклады Л. Бэбби (Корнельский ун-т, Итака), в которых рассматривались весьма тонкие особенности употребления количественных обозначений в русском языке: своеобразные конструкции с предлогами и числительными (*по пяти груш*, *около трех*, *под сорок* и проч.) в их синтаксическом употреблении, а также особенности употребления падежных форм числительных в русском языке. Количественные сочетания привлекли внимание также Д. Песетски (МТИ). К. Мосс (Итака) показал некоторые особенности использования сравнительной степени с приставкой *по-*.

Синтаксическая проблематика нашла отражение в ряде докладов. Так, в зачитанном на мэрилендской сессии докладе Б. Н. Головина (Горький) устанавливалось соответствие между смыслом высказывания и типами семантики предложений как собственно лингвистических единиц. Дж. Николс (Беркли) в плане идей синтаксиса текста описывала в своем докладе языковое оформление начала абзаца в современном русском литературном языке. Г. Рапапорт (Остин, Техас) интерпретировал субъект в русских инфинитивных предложениях. О. Фринк (Айова) и О. Ёкояма (Гарвард) рассмотрели отдельные вопросы порядка слов в русском языке.

На заключительном заседании конференции обсуждалась новая академическая «Русская грамматика». Б. Дарден (Чикаго) обратил внимание на несоответствие в освещении звуковой системы в фонетическом и фонологическом разделах, проиллюстрировав это трактовкой безударного вокализма. Ф. Гладни и Р. Ротстейн сделали разбор словообразовательной и категориальной проблематики «Русской грамматики». У. Браун (Корнелл) проанализировал возможности использования американскими преподавателями «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка. В докладе К. Нэйлора (Огайо) намечены весьма широкие проблемы, которыми, по мнению докладчика, могли бы заниматься американские русисты.

В части заседаний конференции приняли участие члены Исполнительного совета МАПРЯЛ, заседание которого происходило параллельно с конференцией: А. Алитан (ФРГ), К. Габка (ГДР), Й. Влчек, В. Сато, М. Сотак, В. Чара (ЧССР), А. Шмид (Австрия), М. Леонидова (НРБ), Дж. Сканлан (Великобритания) и др. Проведение советско-американских конференций по русскому языку является показателем роста международного значения русского языка, которому был посвящен большой доклад В. Г. Костомарова на открытии последней сессии конференции в Смитсоновском институте (Вашингтон). Учитывая, что через русский язык можно в наше время познакомиться со значительной частью производимой в мире полезной информации, увеличивается его значение как языка науки и технологии. Русский язык все шире используется как язык международного общения. Им стремятся овладеть хотя бы для чтения многие специалисты во всем мире. Как американские, так и советские участники конференции пришли к общему заключению о том, что проведенная конференция и состоявшиеся на ней профессиональные дискуссии были обоюдополезными.

Супрун А. Е. (Минск)

CONTENTS

Towards the 1500-th anniversary of the town of Kiev. **Articles:** Filin F. P. (Moscow). Concerning the Old Russian word-stock; **Discussions:** Abaev V. I. (Moscow). Slavo-Avestica; Andreev N. D., Sunik O. P. (Leningrad). The problem of genetic relationship of the Altaic languages and ways of its study; Panfilov V. Z. (Moscow). Negation and its role in constituting the structure of the simple sentence and judgement; Birenbaum Ja. G. (Magnitogorsk). On the theory of the complex sentence; Judakin A. P. (Moscow). Lexical-grammatical laws of the evolution of the active participle (with special reference to Indo-European and Semitic languages); Kožin A. N. (Moscow). On the subject-matter of stylistics; Asfandijarov I. U. (Tashkent). Russian lexical loans in Uzbek; **Materials and notes:** Fedorov A. I. (Novosibirsk). The Russian language in Siberia; Minaeva L. V. (Moscow). Fedenev V. B. (Petropavlovsk). Paronymy in language and speech; Sibagatov R. G. (Ufa). Attributive and predicative constructions from the point of view of their content; Solodub Ju. P. (Moscow). On the coincidence of phraseological expressions in different languages; Tatubaev S. S. (Alma-Ata). Vocalic speech as a special mode of language functioning; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

À la veille du 1500-ème anniversaire de la ville de Kiev; **Articles:** Jilin F. P. (Moscou). À propos du lexique du vieux russe; **Discussions:** Abaev V. I. (Moscou). Slavo-Avestica; Andreev N. D., Sunik O. P. (Léningrad). Problème de parenté des langues altaïques et méthodes de son investigation; Panfilov V. Z. (Moscou). Nègation et son rôle dans l'organisation de la structure de la phrase et du jugement; Birenbaum Ja. G. (Magnitogorsk). Sur la théorie de la proposition complexe; Judakin A. P. (Moscou). Lois lexico-grammaticales del'évolution du participe actif (étudiées dans les langues indo-européennes et sèmitiques); Kožin A. N. (Moscou). Surl'objet de la stylistique; Asfandijarov I. U. (Tachkent). Emprunts lexicaux russes en ouzbek; **Matériaux et notices:** Fedorov A. I. (Novosibirsk). La langue russe en Sibérie; Minaeva L. V. (Moscou), Fedenev V. B. (Petropavlovsk). Paronymie dans la langue et dans la parole; Sibagatov R. G. (Oufa). Contribution à l'étude des constructions attributives et prédicatives sur le plan du contenu; Solodub Ju. P. (Moscou). À propos de la coïncidence des expressions phraséologibues dans les langues différentes; Tatubaev S. S. (Alma-Ata). Paroles chantées en tant que fonctionnement spécifique de la langue; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.12.81 Подписано к печати 05.03.82 Т-03258 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ л. 14,0 Усл. кр.-отт. 87.2 тыс. Тираж 6152 экз. Зак. 1209
Уч.-изд. л. 17,1 Бум. л. 5 0

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10